

Вылко на войне

Когда пришла повестка идти в солдаты, он спрятался на чердаке сарая, а старый отец пошел в город подавать прошение царской власти, чтоб не брала Вылко: он, дескать, у них один, некому будет пасти волов, сеять озимое. Старуха осталась дома — выпроваживать тех, кто приходил справляться о Вылко.

— Эй, баба Вида, кликни Вылко, пускай едет в город; он ведь запасник. И чтоб ружье прихватил, — наказывал ей сельский кмет.

— Нету дома его, сынок.

— Может, он прячется, а, бабушка? — спрашивали проходившие мимо двора другие запасники.

— Нет, сынки, где я его укрою? Третий день как сквозь землю провалился... Он ведь у нас смирный, мухи не обидит, сами знаете...

Но вот идет весь увешанный оружием Иван Морисвинев, предводитель сельской дружины запасников, лиходея, каких мало, все село в страхе держит.

— Послушай, старая! Если до завтрашнего утра не явится Вылко, я ему, как найду, сто палок всыплю. Заруби себе на носу!

— Ох, голубчик, лучше меня накажите, коли его сыщете: он у нас смирный, мухи не обидит, ты же знаешь. На нем греха нет, — испуганно лепетала старуха, думая о Вылко, прячущемся на чердаке.

— Сто палок! Ни одной меньше, — повторил Иван и ушел.

А Вылко сидел над самой улицей, возле стрехи, посматривая в щель, ни жив, ни мертв. Услышав угрозы страшного Морисвини, он еще больше перепугался. Отполз подальше, вырыл в соломе нору и забился в нее по самую шею. Так и просидел до вечера.

Утром приоткрыл слуховое окошко, выглянул. Видит: на площади перед их двором толпятся призывники, все его други-приятели в сборе. В праздничной одежде, веселые; на шапках красуются осенние цветы, золотые львы сверкают на солнце; в дула винтовок воткнуты ветки самшита; груди крест-накрест перехвачены патронными лентами. На поясах фляги для воды так и сияют! Но вот все примолкли, построились лицом к вылковому двору. Из корчмы вышел Иван Морисвинев в высокой, как дымоходная труба, островерхой шапке с торчащим сверху белым пером. Встав перед призывниками, что-то сказал им, потом сделал знак, и те размеренным шагом, стройными рядами двинулись к околице. Впереди всех — Иван, а позади — толпы провожающих. Зазвенела песня — громкая, голосистая. Вылко слушал и не мог наслушаться: песня заполонила и село, и небо, и леса. Вот уже они удалились, пропали из виду; только песня порой ясно звучала в ушах, ее доносил ветер и тут же развеивал снова. А война, выходит, не такое уж плохое дело! Сердце глупого Вылко взыграло... Посмотрел он на себя: весь пыльный, волосы и одежда в соломе и паутине, на чердаке — духотища, и темень, и мыши; только кое-где в щели украдкой проглядывают лучики солнца. А там, на воле, просторные поля, небо ясно и дивно, там светит солнце и журчит в долине речка, и птички порхают привольно, а его други-товарищи шагают по зеленому полю и поют.

Не долго думая, Вылко вцепился в края лазника и повис на руках.

Спрыгнув на пол, снял со стены ружье, забежал в хлев, потрепал по шее рябого вола и чмокнул его в рыжий лоб; украдкой, чтоб не увидела мать, перемахнул через плетень и опрометью, словно за ним кто гонится, подался в поле.

Призывники шли полем и пели. Их штыки сверкали на солнце, как молнии среди бела дня; знамя реяло, похожее на машущую крыльями огромную птицу. Сам Иван Морисвиня храбро шагал впереди, время от времени он оборачивался, отдавал команду и горделиво шел дальше в своей высокой шапке.

Как только Вылко догнал их, песня умолкла, и дисциплины словно не бывало; все весело загалдели: появился Вылко и теперь было над кем потешаться.

— А, Папурчик! Добро пожаловать, Папурчик!.. Ишь, какой герой! Где это ты пропадал? — кричали одни.

— Папурчик пожаловал! — надрывались другие. — Теперь нам ничего не страшно, самого султана в плен заберем. «Марш, марш, Константинополь наш!»...

Запасники посмеивались и бросали любопытные взгляды на Вылко, с одежды которого тут и там свисали нити паутины.

Вылко заливался краской и молчал.

Иван Морисвиня тоже было усмехнулся, но тут же опять принял хмурый вид и строго заметил:

— Будет, довольно! Чего зубы скалите? И на старуху бывает поруха. Молодец, Вылко! Марш!

Колонна стройно двинулась дальше.

А на первом привале Вылко Папурчика окрестили подпоручиком.

В Пловдив прибыли к вечеру. Призывников разместили в новой казарме возле Гладно-Поле. Утром офицер сделал смотр, выслушал рапорт Ивана Морисвини и удалился. Вылко все нравилось: и скоромное варево, и новая солдатская шинель, и товарищи, и песни, и солдатские игры — одним словом, все! Он быстро свыкся с этой новой жизнью, освоил солдатские привычки, солдатский язык: это был уже не прежний Вылко.

Их выкликали по списку.

— Я! — орал Вылко во всю глотку и, выпятив грудь, ел глазами начальство.

Остальные солдаты посмеивались.

— Вылко! — рявкнул Иван Морисвиня, которого успели произвести в офицеры. — Да ты, я вижу, пришел льва на шапку вверх ногами! Вот остолоп!

— Так точно, ваше благородие! — выпалил Вылко, глядя на командира с почитанием.

Ежечасно прибывали новобранцы, которых распределяли для обучения между опытными запасниками. Вылко досталось с десятков крестьянских парней и пятеро-шестеро горожан.

Иван Морисвиня с давних пор имел зуб на одного из этих городских, ненавидел его лютой ненавистью. Теперь ему выпал случай расквитаться.

— Вылко! — позвал он однажды своего подчиненного и сделал знак отойти в сторону.

Вылко подошел.

— Ну как, идет дело? — спросил его командир и повел глазами в сторону подопечных Вылко.

— Идет, ваше благородие.

— Ты высокого видишь?

— Вижу, ваше благородие.

— Он собачий сын, ясно?.. Гляди в оба, не давай ему спуску; плохо марширует — бей по ногам; не так держит голову — двинь кулаком по морде! Никакой потачки... Смотри у меня!

— Слушаюсь.

Вылко воротился к своим новобранцам, а подпоручик отправился в город.

Вылко было непонятно, почему нужно бить того горожанина; крестьянские парни и впрямь неповоротливы будто медведи, а высокий марширует под команду лучше всех; может, господин подпоручик чего-нибудь напутал? Бедняга терялся в догадках и почему-то с того дня стал совеститься высокого.

Вечером Морисвиня вызвал его в канцелярию казармы.

— Ну, как тот осел?

— Слушаюсь, ваше благородие.

— Отделал ему морду?

— Никак нет, ваше благородие; он солдат справный.

Подпоручик помрачнел.

— Слушай, скотина. Завтра приду на учения. И чтобы ты отругал его при мне; а не то — тебе несдобровать!

Вылко ушел от командира ни жив, ни мертв. Он заметил, что Морисвинев, с тех пор как его произвели в подпоручики, стал злее; кто знает, может, так у них заведено.

Утром подпоручик явился на учения. Лоб хмурый, борода торчком.

Вылко прошибло потом.

При первой же команде: «Раз, два — приступай!» Вылко подошел к высокому, грубо дернул его за подол куртки и выкрикнул ослабевшим голосом глухо, будто из-под земли:

— Попрошу!..

Больше он ничего не сказал, только умоляюще посмотрел на высокого. Двое-трое новобранцев из городских, глядя на жалкое лицо Вылко, который совсем потерял голову, невольно заухмылялись.

Морисвиня, весь бледный, крепко сжав зубы от ярости, подбежал и ударил Вылко в лицо; у того из носа хлынула кровь.

Это еще больше разъярило офицера, он вскричал громким дребезжащим голосом:

— Скот! Сутки ареста, без хлеба!

* * *

Тяжело перенес Вылко это наказание. Ночью он долго плакал. Ему вдруг стало невыносимо тоскливо. Вспомнил мать — горемычная теперь печалится о нем; отца, которому уже не под силу управляться в поле; рябого вола, что, небось, все поглядывает, не идет ли Вылко приголубить его. Вылко все лежал и думал. Уже и третьи петухи пропели; в окошко

заструился предутренний свет; скоро казарма пробудится от сна, солдаты высыпают на плац, срок его ареста истечет, он опять пойдет на учения — и опять увидит хмурую рожу лютого подпоручика.

Нет, он убежит, убежит нынче же вечером, как смеркнется... А там — будь, что будет.

Случилось так, что Вылко расхотелось приводить в исполнение свой замысел. Ивана Морисвинева куда-то перевели, а на его место пришел другой офицер, человек отзывчивый и добрый.

И Вылко остался.

Капитан И. не преминул отметить его расторопность, воинское послушание и простоту сердца. Как-то раз он похвалил Вылко перед всем взводом за хорошо выполненное задание.

— Bravo, Вылко, ты молодец. Желаю всем быть такими солдатами.

Вылко казалось, что он вдруг вырос до самого неба. Он был готов стократно умереть, пусть только прикажет начальник. Воодушевившись, он принялся расспрашивать товарищей, скоро ли война с турками; на него напала охота проткнуть душ пять-шесть штыком, день ото дня он делался воинственнее.

— Вылко, ты и впрямь много турок перебьешь, как бои завяжутся? — с лукавством спросил его кто-то из солдат.

— Я им покажу!

— Да как же ты их перебьешь, коли сам-то и пороху не нюхал?

— Я-то? — сердито выкрикнул Вылко; он сделал шаг в сторону и, крепко вцепившись в ствол ружья, принялся изо всех сил пырять штыком воздух.

Солдаты попятились, они знали, что с Вылко шутки плохи; парень, видно, вошел в раж, его так и подмывало пустить в ход штык, острие которого сверкало на солнце. Вдруг кто-то тронул его за плечо.

Он оглянулся.

Перед ним стоял их офицер, глядя на него полу-улыбчиво, полусердито.

Вылко встал во фронт, пристыженный и онемелый.

— Хочу, чтобы ты и перед лицом живого врага держался так же геройски, — сказал капитан.

— Слушаюсь, ваше благородие!

Второго ноября их полк построили в местности Гладно-Поле; вскоре прискакал на поле полковой командир и зычным голосом провозгласил, что сербский король Милан объявил Болгарии несправедливую войну и что к вечеру их повезут на поля сражений оборонять границы отечества.

После первой нечаянной радости, навеянной мыслью, что ему придется драться с сербами (общая радость заразила и его) в голове у Вылко настала сумятица, он никак не мог уразуметь двух вещей: почему сербы не идут биться с турками — ведь турки народ дрянный, а к тому же нехристи; и страшно ли перебираться через море, если ненароком придется, когда их пошлют в Сербию... Но расспрашивать об этом было некогда: все суетились, бегали взад-вперед, собирали нехитрое имущество, чтобы идти на станцию. А к поезду привалило беда сколько

народу; матери плакали и целовали солдат, девки надевали им на шапки венки, украшали дула винтовок сосновыми ветками; одного только Вылко никто не провожал, никто не жалел. Но горевать об этом было некогда: солдаты хлынули в вагоны, заиграла музыка, толпа закричала: «Ура!» и... пых-пых, пых-пых — поезд тронулся.

* * *

Вот уже целых два дня Софийская котловина стонет от грома канонады; дрожмя дрожит высокая Витоша, окутав хмурое чело густыми облаками. Испугом охвачена старая София, болгарская столица: на улицах — суতোлка и беготня, на лицах людей — горесть, в сердцах — мука. Куда ни глянь — всюду белые флаги с красными крестами; весь город преобразился в лазарет; повозки с ранеными прибывают ежечасно, и слухи, один другого чернее, ползут с полей сражений; грохот орудий все ближе и ближе, воздух раскаляется, стекла окон дребезжат. А за Софией, в направлении Сливницы, вся дорога черным-черна от войск; они идут туда, где свищут пули и гремят пушки, где людей косит смерть. И не из ближних мест держат путь: из родопских ущелий, с берегов Черного моря и тихого Дуная идут герои-юнаки; ночи для них обернулись днями, они на ходу спят, крошки хлеба в рот не кладут, а сила от этого только прибывает! И даже поют, наперекор пальбе, поют, а сами по уши забрызганы грязью, одни только ружья блестят; на сердце у них радостно, они знают, что вся Болгария на них глядит, молится за них богу. На западе, сколько хватает глаз, дорога запружена плотными рядами пехотинцев с торчащими в небо штыками; там грохочут железные ободья колес, что тащат тяжелые литые пушки и ящики с боеприпасами; там едут вскачь и мелкой рысью усталые всадники. И что за удивительная конница! Ездоки сидят по трое, как некогда солдаты Радецкого, спешившие на подмогу ополченцам на Шипке. Нынче под Сливницей новая Шипка; одним солдатом, одной пулей больше — отечество будет спасено от гибели, наши юнаки знают это, и потому бог дал им силу железную и невидимые крылья...

Лютый бой кипит в получасе ходьбы от Сливницы, кипит по всей линии наших войск. Со вчерашнего и позавчерашнего дня непрестанно гремят пушки, свищут миллионы пуль. Густой сизый туман от порохового дыма навис над полем боя и уже не рассеивается. Высокие курганы распаханы гранатами, а на их вершинах, где чернеют изломы окопов, валяются трупы, красные лужи молодецкой крови обагрят траву. Отряды неприятеля отовсюду напирают и повсюду отступают. Позавчера их было втрое больше нас, вчера — вдвое, сегодня мы равны. Бой идет на правом фланге, бой — в центре, бой — на левом фланге, там окопалась рота, где наш Вылко бьется за десятерых и творит чудеса. Курган, с которого нынче ведут огонь болгарские солдаты, вчера был сербским. Дважды поднимались в атаку наши отряды, пока не вытеснили сербов; неприятель, отойдя на соседнюю высоту, за ночь надежно окопался... Он безостановочно палит дружными залпами, засыпая нашу позицию, которая пониже сербской, градом пуль. Самих сербов не видать. Только время от

времени сквозь пелену дыма, маячат верхи черных шапок, словно опустившиеся на землю вороны; замаячат и опять сгинут.

Проходят часы, бой продолжается. И без того страшный, огонь из сербских окопов с каждой минутой усиливается. Наша рота бережет патроны, зря не стреляет: ребята ждут, когда им скажут: «Марш!», чтобы пойти в штыки; а пока они слушают, как свищут над головами пули и с тупым, неприятным звуком вонзаются в землю; и когда бьет наша артиллерия, они следят глазами, где падают гранаты, и кричат «ура», когда видят, что угодило. Один только Вылко не перестает стрелять; он единственный регулярно отвечает неприятелю, и потому в его сторону чаще летят пули.

Это его очень злит; у него со вчерашнего утра маковой росинки во рту не было: из-за непрерывной стрельбы хлеб не мог попасть в его окоп; в пустом желудке урчит, он ругается сквозь зубы и знай бабахает. Но не зря говорят: «Голод города берет». Вылко вдруг вылез из окопа и начал обыскивать заплечные мешки своих однополчан, надеясь найти хоть ломтик хлеба. Он не обращал внимания на свист пуль, которые посыпались гуще. «Ложись, подпоручик!» — кричали ему товарищи, которые не могли глядеть на такое безрассудство. Но Вылко как ни в чем не бывало молча наклонялся и разгибался, обыскивая один мешок за другим; наконец ему попался заплесневелый сухарь, и он, на зло сербам, стал грызть его стоя. Одна пуля просвистела у самого рта и унесла сухарь невесть куда.

Это была ошибка сербов: Вылко осердился и, чтобы наказать их, стал махать руками и орать во всю глотку: «Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!» Сотни пуль пронеслись со свистом мимо такой прекрасной цели. А Вылко стоял и — ни с места. Незлобивого ангел хранит, говорит пословица. Однополчане подумали, что Вылко помешался, но не утерпели и, сидя в окопах, тоже закричали «ура!» Ротный смотрел на бесстрашие Вылко, затаив дыхание; комедия ежеминутно могла обернуться трагедией, а Вылко был добрый солдат.

— Вылко, ложись! — крикнул офицер.

Но Вылко будто оглох, знай, размахивает руками и горланит: «Ура, ура, ура!»

А остальные солдаты снизу, из окопов, повторяют за ним: «Ура, ура, ура!»

Чудеса да и только! Безумство храбрости заразительно, крик Вылко воспламенил сердца; несколько солдат приподнялось над окопами, они были готовы последовать за Вылко, он теперь был для них вожаком.

Ротный, нахмутив брови, скомандовал:

— Папурчиков, приказываю: ложись! Всем оставаться в окопах, бессмысленные жертвы ни к чему.

Вылко обернулся к нему и, ловя воздух ртом, замахал руками.

— Что такое? — спросил ротный, удивившись. — Ты ранен?

— Ваше благородие! — вырвалось наконец у Вылко. — Бегут!

— Как так — бегут? Кто бежит?

Ротный встал во весь рост и навел бинокль на позицию сербов.

Сербы и впрямь ударились в бегство, решив, что болгары идут в атаку.

Спустя двадцать минут отряды болгар заняли высоту без единого выстрела.

* * *

Вылко три месяца пролежал в лазарете из-за полученного под Царибродом ранения в левую руку, которая так и осталась увечной. Он по-прежнему пашет землю, для всех он и теперь Вылко Папурчик. Шутки ради приятели как прежде называют его «подпоручиком», хотя никто не забыл того, как он взял вражеское укрепление под Сливницей. Вылко тоже помнит это и при каждом удобном случае делится военными воспоминаниями. Поход обогатил его ум, расширил область понятий. Если казарма для солдата школа, то поход — академия. Да, Вылко теперь знает и понимает многое.

Пловдив, 1886 г.

Придет ли?

Какая мгла, какие густые туманы стлались в ту осень над Ветреном! Мокро, сыро; моросит мелкий дождь, небо растворилось в холодный пар и придавило низкие домишки села. А на слякотной улице — гомон, шум, кутерьма. Пролетки; нагруженные военными припасами, запряженные клячами телеги; воловьи упряжки, возницы, деревенский люд сплошь запрудили улицу между постоянными дворами. В этой сутолоке с трудом прокладывают себе дорогу новобранцы, одни в солдатских шинелях, другие — в нагольных полушубках, у многих вместо ямурлуков¹ наброшены на плечи старые домотканые одеяла, на ногах — размокшие царвули, все опоясаны патронными лентами, через плечо ружья, украшенные веточками самшита, а со стволов ружей свисают битком набитые сумы... Холод, мокрядь, грязища по колено, гибель да и только, а они — поют... И впрямь «веселые печенег», — так называли тогда румелийское войско.

В дверях корчмы теснятся офицеры, проезжие, крестьяне — с любопытством глазают на мокрых юнаков...

Перед одним из постоянных дворов стоят, сбившись в кучки, бабы, девки, дрожащие, посиневшие от холода оборванные дети. Они встречают и провожают в дальнюю дорогу ветренских солдат, — их полк держит путь из Харманли, куда был послан биться с турками, в Софию, а оттуда — на поле боя, воевать против сербов.

— Вот он, Георгиев Цвятко! В добрый час, Цвятко!

— О, гляди-ка, Рангел прошел мимо.

— А вот и Неделкин парень! Эй, Иван, вон стоит твоя мать!

Торопливо суют солдатам цветы и роняют слезы, не успев выговорить напутствий... Войско удаляется, уходит все дальше.

— Мама, мама! Вот он, наш бачо²! — восклицает краснощекая светловолосая девочка-подросток.

— Бачо Стоян! — кричит восьмилетний мальчонка, простирая к

1 ...вместо ямурлуков... — Ямурлук — род накидки из грубой шерстяной ткани.

2 ...Бачо или батко (болг.) — почтительное обращение к старшему брату.

солдатам руки.

— Сынок! — плачущим голосом зовет мать.

Черноокий, статный, плечистый парень, выбежав из строя, припадает к материнской руке, поспешно целует в лоб сестренку и братишку, его девушка протягивает цветы, он прикалывает цветок на грудь, другой втыкает за ухо и бежит догонять отряд и песню.

— В добрый час, сынок! — причитает мать.

— Стоян! — кричит девушка, чуть живая.

Голоса их глохнут в общем шуме. Стоян растворяется в толпе солдат, а солдаты пропадают в тумане.

Мать глядит им вослед, ничего не видя.

Девушка закрывает лицо пестрой полкой передника.

Придя домой, мать Стояна с плачем открывает старый рассохшийся сундук, приподняв ворох рубах и сукманов, достает со дна восковую свечу, ставит ее перед образами и начинает класть земные поклоны.

А в это время под Драгоманом уже гремели пушки. Был день 4-го ноября 1885 года.

* * *

Той ночью старой Цене приснился сон.

Привиделась ей огромная туча, а солдаты идут прямехонько в тучу, и Стоян с ними. Пресвятая богородица! Страх-то какой! Туча гремит, небо раскалывается, земля так и ходит ходуном — вот она какая, эта война. Стоян сгинул в туче, и нет его больше, — что тут делать, как быть!.. Цена вздрогнула, пробудилась. В доме темень. За окном ветер воет. Вот она — битва. Господи боже, Иисус Христос, защити его!.. Пресвятая богородица, помилуй моего Стоянчо!

Старая не сомкнула глаз до света.

— Дядя Петр, что предвещает туча? — спросила она утром.

— Тучи, Цена, бывают разные: из одних проливается дождь, а другие расходятся. Тебе какая туча приснилась?

Она рассказала ему свой сон. Дядя Петр задумался. Он не помнил, чтобы в соннике говорилось про такие тучи. Но, взглянув на испуганное лицо Цены, старик сжалился и сказал:

— Не тревожься, Цена, сон твой к добру. Туча означает весть: письмо придет от Стоянчо.

Лицо старой женщины прояснилось, Через шесть дней один доброволец, приятель Стоянчо, конвоировавший пленных сербских солдат, дал ей письмо. Письмо было от Стоянчо, и Цена тут же подалась к батюшке, чтобы прочел.

Вот о чем говорилось в письме:

«Мама, пишу тебе это письмо, что я жив-здоров и что мы победили сербов. Слава! Да здравствует Болгария! Я здоров, и Рангел Стойнов здоров, и дядя Димитр тоже и шлет поклон своей матери. Сербы стреляют плутонгами³, малыми залпами, но больно страшатся нашего «ура». Возьми у Цветана мой новый ремень, который я забыл у него, чтоб дети не

³ Сербы стреляют плутонгами — то есть повзводно.

попортили. Завтра одолеем Драгоманские перевалы, а как вернусь, привезу Кине гостинец из Ниша; тебе ж посылаю лев на расходы, а Радулчо покажу, как свистят гранаты. Кланяюсь тебе

Твой покорный сын

Стоян Добров.

Кланяйся деду Петру. Послал бы я ему сербское ружье, да нынче не с руки. Ружья у них дальнобойные, только не шибко меткие. И еще кланяйся Стоянке».

Отлегло у Цены от сердца, побежала старая к Стоянке — письмо показать. Радость-то какая! А больше всех доволен Радулчо — тем, что бачо научит его свистеть на новой дудке.

Выйдя на улицу, Цена увидела новую партию пленных. Позади шел болгарский солдат. Ей показалось, что это ее Стоянчо. Уж очень похож на него, Нет, не он. Цена было раскрыла рот, чтобы спросить, не несет ли он ей поклон от сына, да засмотрелась на пленных, которых видела впервые.

— Боже милостивый, — прошептала она, — неужто это и есть сербы? Добрые, видать, люди... Горемычные их матери... небось, изболелись душой. Ну-ка, ребята, погодите!

Она сбегала в дом и, вынеся склянку ракии, крикнула вдогонку сербским солдатам, чтоб подождали, хочет, мол, их угостить. Конвоир добродушно улыбнулся и остановил колонну.

— Фалим, фалим! — благодарили усталые пленные, согретые благодатным глотком ракии.

— И мне оставь, бабушка! Ну, за твое здоровье! — весело сказал болгарский солдат и опрокинул остаток ракии себе в рот.

— Тоже ведь божьи христиане... И чего воют? — дивилась Цена, глядя пленным вслед.

* * *

Наступило перемирие.

К рождеству начали возвращаться по домам солдаты. Из ветренских тоже пришло несколько. А Стояна все нет и нет — ни сам не приходит, ни весточки не шлет. Цена места себе не находит, дурные мысли в голову лезут... Дни идут за днями, а она все ждет, глаз не сводит с калитки — не стукнет ли... Вот уже и Рангел Стойнов пришел, и Петр, Динков сын, и братья Стаматовы вернулись домой. Сходила она к ним, поспрашивала — ничего они не знают. До поры до времени встречались со Стояном, потом потеряли из вида. У матери сердце кровью обливается; слоняется по дому сама не своя — все про Стояна думает.

— Мама! Дядин Димитр пришел! — кричит запыхавшаяся Кина, прибежав с улицы.

Цена тут же идет к Димитру.

— С прибытием тебя, Димитр. А где Стоян?

Но Димитр ничего не знает...

— Может, его под Видим послали, — сжалившись, добавляет солдат. — Может, идет другой дорогой, — смущенно бормочет он.

— Господи, боже мой! Где же он затерялся, мой сынок? — сокрушается Цена и плетется к Стоянке. Подходит к калитке, а сердце в груди

трепыхается — вот-вот выскочит. Ну, думает, Стоянка сейчас скажет, что Стоянчо прислал поклон, отписал, чтоб ждали на рождество. Но Стоянка — ни слова. Молчит. А у самой глаза покраснели от слез.

* * *

Все село готовилось встречать первый полк. Посреди улицы, напротив Цениного двора, вбили в землю два столба, верхние края соединили согнутой в дугу жердью. Принесли с гор пахучих сосновых веток, увенчали столбы и перекладину, прикрепили к ней привезенную из Пазарджика широкую ленту с надписью: «Добро пожаловать, храбрые воины!» Потом укрепили трехцветные национальные флаги. Вышла триумфальная арка.

Прошло через село победоносное войско,

«Может, он следом идет, хочет попасть домой вечером под самый праздник; мало радости — справлять рождество на чужом месте. Вон все еще идут по дороге солдаты — один по одному, не видно конца. До вечера еще далеко. И он придет. Он знает, что у них сердца изболелись, его дожидаясь».

Так думала горемычная мать...

* * *

Рано утром Цена пошла в церковь. Купила на присланный Стояном лев свечей, зажгла по свечке перед каждой иконой алтаря. Домой вернулась с просветленным лицом.

— Как-никак, а нынче он будет здесь, — завтра рождество... есть время, — шептала она. — Пресвятая богородица, приведи моего ангела... Иисус Христос, порадуй меня, старую...

Прибежала Кина, сказала, что воротились еще односельчане.

Цена помрачнела.

— Чем ублажать меня новостями, лучше бы шла встречать брата, как люди! — сердито прикрикнула она на дочь.

— Мама, и я хочу, и я пойду с Киной! — закричал Радулчо.

Дети припустили вверх по заснеженной улице и очутились в поле, возле шоссеной дороги.

А мать осталась ждать у ворот.

С гор дул ледяной ветер. Вершины, ущелья, равнина — все забелело снегом. Небо нахмурилось. Черные стаи ворон кружились над дорогой и садились на голые верхушки деревьев. На шоссе, что бежало к Ихтиманскому ущелью, темнели кучки людей — девушек, старух, детворы... Солдаты продолжали идти — то в одиночку, то гурьбой. Кина и Радулчо обошли первую кучку встречающих, другую, третью. Побежали дальше, им хотелось первыми увидеть, первыми встретить Стоянчо. Они узнают его сразу, ничего что поднявшаяся метель туманит глаза.

Дорога шла вверх и терялась за холмом. Из-за метели не видно было ни зги. Кина и Радулчо поднялись на самую вершину, там ветер дул сильнее, пронизывая до костей. Вот из-за поворота показалось двое солдат, с головы до ног запорошенных снегом. Нет, не он.

— Эй, идет ли еще войско? — спросила Кина у солдат.

— Не знаем, девонька, а вы кого ждете?

— Бачо! — ответил Радулчо.

Усталые путники удалились.

Кина опять всматривается вдаль. Холодно. Девочка вся дрожит, и у Радулчо зуб на зуб не попадает, но Стоянчо идет, и они дождутся его. А то мать заругается или начнет плакать, если они придут без него.

Показалась пролетка с двумя седоками в башлыках и теплых полушубках. Когда лошади поравнялись с детьми, Кина выбежала на дорогу.

— Господин, идет ли войско? — спросила она.

— Не знаем, голубушка, — ответил один из путников, приподняв край башлыка и удивленно глядя на посиневшую от холода девочку.

Пролетка покатила дальше под гору.

Двое детей, казалось, приросли к месту. Шел час за часом. Ветер все крепчал. Он жалил лицо, врывался под одежду. Метель разгулялась не на шутку, но они не двигались с места. Все стояли, не сводя глаз с поворота, не покажется ли припозднившийся путник. Вдруг у Кины екнуло сердце. Из-за поворота выехал конный отряд, стуча копытами, стал приближаться. Как много всадников! Наверное, и бачо с ними. Она ждала, затаив дыхание. Отряд поравнялся с ними и с топотом пронесся мимо. Кина махнула рукой двум офицерам, ехавшим чуть поодаль.

— Господин капитан, а бачо едет? — спросила она сквозь слезы.

Офицеры придержали коней и удивленно переглянулись.

— Кто он — твой бачо? — спросил один.

— Бачо Стоян! Наш бачо Стоян! — нетерпеливо выкрикнул Радулчо, не понимая, как может этот офицер в красивом мундире не знать, что их бачо — Стоян.

— Какой Стоян? — удивился офицер.

— Стоянчо из Ветрена! — без запинки ответила Кина.

Офицер о чем-то потолковал с товарищем и участливо осведомился;

— Ваш бачо — кавалерист?

— Он, он, — ответила бедняжка, ничего не поняв.

— Нет у нас такого, девочка.

А его товарищ сказал:

— Лучше возвращайтесь в село, замерзнете.

Офицеры пришпорили коней и поскакали догонять эскадрон.

Кина уже не сдерживала слез, Радулчо тоже заплакал. Руки и ноги у них совсем окоченели, щеки посинели. Дорога до самого села была пустынна. Народ разошелся по домам, близились сумерки, становилось все холоднее. Один только конный отряд чернел, удаляясь. Ветер донес издалека бойкую солдатскую песню. Кина и Радулчо поплелись в село.

На землю опустилась ночь. Они брели, засунув руки за пазуху, и тихонько плакали, думая о матери, ждавшей их у ворот.

Еще одна пролетка, запряженная тройкой лошадей, протарахтела мимо под гору.

— Господин, идет ли еще войско?

Пролетка пронеслась мимо и сгнула, растаяла во мраке.

А вьюга разбушевалась вовсю, словно хотела дать ответ детям. Она неслась с запада, с поля боя, оттуда, где в виноградниках под Пиротом

снег заметал могилу Стояна.

Хаджи Ахилл

Кто не слышал о знаменитом цирюльнике из города Сопот?

Каждый, там побывавший или хотя бы беседовавший на досуге, в хорошем настроении, с кем-нибудь из жителей Сопота, не мог не слышать о Хаджи Ахилле (так я буду называть его)⁴.

Всюду, где ни проходил слепой певец и артист Колчо⁵, он оставил какой-нибудь рассказ или анекдот о моем герое.

А где только не проходил Колчо?

Сколько веселых компаний занимала личность Хаджи Ахилла с ее странностями!

Сколько остроумных изречений Хаджи Ахилла передаются из уст в уста! Передаются и исчезают бесследно. Потому что Хаджи Ахилл — бедный цирюльник, своего рода полуграмотный Фигаро, ничего не читавший, кроме снотолкователя Мартына Задеки да библии, не записывающий творений своего мозга и не испытывающий особой жажды бессмертия, при всей уверенности в собственной значительности.

Нет. Он живет беспечно.

Все его честолюбие состоит в том, чтобы иметь побольше бород, требующих бритвы, да варить побольше кофе — пять пар⁶ порция. Да, он страстно любит еще свою почтенную супругу — «бабушку Еву». Но булгарию⁷ свою он любит больше, чем ее. А вино — больше, чем булгарию.

Как видите, маленькие слабости...

Но у кого нет слабостей?

Наполеон неумеренно любил нюхательный табак.

Александр Великий — крепкие напитки.

Суворов имел склонность кукарекать петухом.

Даже праотец Ной платил дань тому же увлечению, что Александр Великий и Хаджи Ахилл.

А Хаджи Ахилл, как я уже сказал и покажу в дальнейшем, — личность замечательная, необыкновенная.

Правда, среди знающих его лично в этом вопросе нет единства взглядов. Одни считают его сумасшедшим. Другие — пьяницей. Третьи — философом.

Читатели смогут составить себе собственное мнение, прочтя это повествование.

* * *

4 Настоящее имя героя — Хаджи Лилко — изменено, так как рассказ был напечатан при его жизни. (Прим. автора)

5 ...певец и артист Колчо... — слепой народный певец, трогательный образ которого запечатлен Вазовым в романе «Под игом».

6 Пара — монета достоинством в 1/40 гроша.

7 Булгария — народный музыкальный инструмент.

Итак, вот портрет героя.

В настоящее время Хаджи Ахиллу 66 лет. Ростом он довольно высок — выше среднего. Глаза у него темно-серые, пронизательные, все время в движении и нередко глядят иронически. Лицо — широкое, почти квадратное — по той причине, что обе щеки, повыше линий бороды, обрюзгли, придавая приятную симметрию всей физиономии, которая без украшающих ее подстриженных усов по форме своей очень напоминала бы физиономию Горчакова. Широкий лоб над большими черными бровями изборозжен глубокими морщинами и складками, какие можно видеть на лбу статуи, изображающей Сократа.

До войны Хаджи Ахилл носил черный фес — того фасона, который был в моде при покойном султани Махмуде⁸; фес этот, наверно, был сперва совершенно алый, но затем, в результате перенесенных им бесконечных перекрашиваний, преобразился, постепенно переменяв свою масть: из алого стал багряным, потом пунцовым, потом светло-фиолетовым, потом темно-фиолетовым, потом черноватым, потом почти черным и, наконец, совсем черным. В будни Хаджи Ахилл разгуливал в необъятных штанах-карванах с бесчисленными стереотипными и неустраняемыми складками, а по большим праздникам надевал кофейного цвета суконные шаровары, расшитые спереди, сзади, под поясом, над штанинами тонкой черной шелковой тесьмой, изображающей разные затейливые разводы, зигзаги, арабески довольно сомнительного художественного достоинства.

Но шаровары эти, хотя выглядят до сих пор совершенно новыми, — на самом деле очень давнего происхождения и сыграли важную роль в жизни нашего героя.

В них он щеголял еще юношей, покоряя представительниц прекрасного пола всюду, где ни появлялся; в них сумел завоевать сердце первой своей супруги и обвенчаться с почтенной «бабушкой Евой». В них он бродил по свету. Они совершали путешествия по Море, по Боснии, в Царьград, в Бухарест, по святым местам; восходили на гору Фавор⁹, видели нур¹⁰, побывали в дальних странах, были свидетелями дивных событий. В них таится столько милых старинных воспоминаний! Они связаны с далекой молодостью и путешествиями Хаджи Ахилла. Оттого-то и нынче, надев их и опоясавшись камчатным тарабулузом¹¹, он принимает необычайно торжественный вид; взгляд его становится важным, многозначительным, поступь — тяжелой, церемониальной. Даже у чубука его блестящее прошлое: он был подарен Хаджи Ахиллу тридцать пять лет тому назад, во время его паломничества, иерусалимским игуменом Никитой. Булгария — тоже солидного возраста. Купленная давным-давно на одной ярмарке в Македонии, она обошлась ему не дороже какого-

8 ...при покойном султани Махмуде... — Имеется в виду султан Махмуд II (1808–1839).

9 ...на гору Фавор... — гора в Палестине, на которой, согласно евангельской легенде, произошло «преображение» Иисуса Христа после его воскресения от физической смерти.

10 ...видели нур... (по-арабски нур — «свет») — свет, якобы являющийся глазам благочестивых паломников на горе Фавор.

11 Тарабулуз — турецкое название Триполитанской области; речь идет о камчатом шарфе, тканном в Триполи.

нибудь ножика, но он всегда уверял, что это — большая редкость.

— Она не звенит, а человеческим голосом разговаривает, — с гордостью говорит он.

Чтобы завершить портрет Хаджи Ахилла, прибавлю, что он всегда запинаясь, произнося букву а. Однако недостаток этот только способствовал его красноречию.

Но удивительней всего был дом Хаджи Ахилла. Говорят, Хаджи Ахилл перестраивал верхний этаж двадцать раз и успокоился, лишь увидав его таким, как ему рисовала фантазия.

В самом деле, сооружение получилось фантастическое, не подчиняющееся никаким архитектурным канонам, никакому заранее принятому плану. Горожане стали называть его башней. Лестница наверх, винтообразно и капризно извиваясь, приводила в узкий коридорчик, из которого налево был выход на полукруглый балкон с деревянной балюстрадой в виде конических заостренных столбиков, открытый и висящий над двором; а направо находилась полузастекленная-полудошатая дверь столярной работы, ведущая в единственную горницу этого этажа. Горница эта была убрана и обставлена в причудливом и странном вкусе. Возле двери находился стенной шкаф с деревянной решеткой. Сквозь нее была видна гипсовая статуя ребенка в натуральную величину, стоящего на левом колене и пишущего письмо. Это была первая и единственная гипсовая статуя во всем городе. Где только Хаджи Ахилл ее взял? Как бы то ни было, этот гипсовый ребенок представлял собой в высшей степени привлекательное зрелище. Мужчины, женщины и дети — все приходили посмотреть, полюбоваться. А Хаджи Ахилл одергивал их, не позволяя разговаривать и мешать пишущему. Посреди потолка, изукрашенного, покрытого разнообразной резьбой, расписанного синей и красной краской, блестело неизвестно зачем там прибитое большое круглое зеркало. Направо, у окошка с разноцветными стеклами, на маленьком столике стоял заколоченный ящик с панорамой, которую каждый посетитель был обязан посмотреть, как только войдет. Хаджи Ахилл важно, торжественно начинал крутить ручку, время от времени восклицая наставительным тоном:

— Севастополь!.. Бой московца с англичанином... Посмотри на московцев как следует: шапки у них вроде купола Святой Софии... Был я и там... А вот Горчаков, Менчиков! Это русские генералы... Капитан их знает... Я их видел у гроба господня... Когда? Давно дело было... Смотри хорошенько! Венеция. Она на море стоит... Видишь — лодки?.. Стамбул! Это Стамбул... Там — девяносто девять вер... Французы, англичане, московцы, итальянцы, персы, турки, арапы, греки, армяне, яхудии, то есть евреи, болгары и прочее и прочее... Видел я Дикили-таш, Святую Софию, Сарай-бурну, Ат-мег-дан, где султан Махмуд янычар перебил. Ходил и в Юскюдар и в Индию... Видал Эгейское и Черное море... Ой, мама!.. Где только не был... Старый человек... много знаю... Учитесь, дети!.. А вот Москва горит! Там московцы Бонапарта живьем сожгли... Тут церковь видишь? Это в РOME. Там Рим-папа живет. Знаешь, кто такой Рим-папа? Не знаешь?.. Не читал писания?.. А я там был... Знаю Румынию и Бухарест... Это Омер-паша¹². Плюнь на него, погляди другое... Везувий!.. Видишь,

12 Омер-паша — видный турецкий военачальник (1806–1871), венгр по происхождению, генерал-майор

видишь пламя? Видеть-то видишь, да не понимаешь, в чем дело, верно? Везувий — это гора такая на берегу Мертвого моря, возле Вифлеема, вроде нашей... Но ты представь себе: вдруг из Остро-берда огонь с дымом прямо в небо стал бы валить... а? Я эти дела знаю как свои пять пальцев... меня спроси... мне все известно. Я — человек ученый!

Все стены и простенки между окнами были покрыты изображениями разных местностей и городов, выдержанными в светлых тонах. На левой стене было намалевано нечто похожее на город с целой грудой домов, тополей, арок, минаретов, крестов, с мачтами и парусами кораблей, с мостами, перекинутыми через ярко-синюю поляну, очевидно изображавшую море. Внизу было написано косыми буквами: «Царьград, или Константинополь (Жемчужина Европы)».

На противоположной стене был изображен, примерно в том же вкусе, другой город, а под ним стояла надпись: «О город! Город! Великий Вавилон!» Между окнами чернели тополи по зеленому фону. Окна, выходящие на дорогу, сверху имели форму полукруга, в мавританском стиле. А нижняя часть их была забрана снимающейся решеткой. Снаружи под окнами, выходящими на дорогу, было нарисовано большое ветвистое дерево, а по обе стороны его стояли, высунув язык и подняв хвост, два желтых льва на цепи. Эта картина, видимо, особенно льстила честолюбию Хаджи Ахилла, и он с невыразимо приятной улыбкой на лице наблюдал, как направляющиеся на базар крестьяне останавливаются среди дороги и, раскрыв рот от удивления, рассматривают желтых чудовищ на стене.

Тут он, вынув чубук изо рта и выпустив вверх целый столб дыма, произносил покровительственно:

— Не бойтесь! Смотрите на них сколько хотите. Они на привязи.

И опять принимался сосать янтарь чубука.

Или же объяснял просто:

— Я их из Индии привез.

И лицо его принимало такое серьезное выражение, что простодушный крестьянин никак не мог решить, шутит Хаджи Ахилл или старается его обмануть.

Видя, что толпа любопытных растет, Хаджи Ахилл не мог отказать себе в особом удовольствии преподать им урок зоологии, описав свойства и повадки привезенных из Индии чудовищ; при этом он давал полную свободу своей богатой фантазии; с увлечением рассказывал, когда и за сколько их купил, как звали продавца, в каком индийском городе это происходило: скажем, в Джендем-таше.

Крестьяне глядели ему в рот.

А Хаджи Ахилл сохранял невозмутимую серьезность.

Но заметив, что его слушают, остановившись поодаль, какие-нибудь горожане, он, смущенный их нескромным смехом, прерывал свою лекцию, покидал слушателей, отходил к двери собственной лавки и, лукаво подмигнув насмешникам, стучал пальцем по своему красноватому носу, медленно и протяжно бормоча словно молитву:

— Оно хоть и не так, да для темных людей говорится. Не смейтесь, дети... Темный народ любит, чтоб его обманывали, а я — человек ученый.

турецкой службы, один из реформаторов турецкой армии; в войне 1853–1856 гг. главнокомандующий турецкими войсками на Дунае. Жестоко подавил восстания в Боснии, Герцеговине, Черногории и на Крите.

* * *

Кое-что из прошлого Хаджи Ахилла.

Единственный оставшийся в живых представитель многочисленной семьи, он прежде, во времена своих дальних странствий и построения вавилонской башни, вел довольно крупную торговлю ножами и саблями, развозя свой товар по всем ярмаркам Турции. Но когда спрос на эти изделия его родного города стал падать, он пришел в отчаяние и, собрав все свои инструменты и орудия смерти, свалил их в углу подвала, заколотил дверь наглухо и обрек свои возлюбленные клинки вечному плену и ржавлению. С того дня он перестал торговать саблями. Если кто спрашивал его, почему он закрыл свое предприятие, он философски отвечал:

— Торговля смертью не принесет счастья.

Потом на Хаджи Ахилла свалились новые беды. Как на грех он выдал единственную свою приемную дочь за одного нечестного человека, черного лицом и душой; этот человек занимался адвокатурой, выступая в турецких судилищах. Всякими правдами и неправдами зять сумел продать дом тестя, и Хаджи Ахилл оказался на улице. Новый владелец из жалости пристроил к стене дома узкое продолговатое помещение под кофейню, с одной дверью и одним окошком, с обмазанными глиной стенами, купил несколько кофейников, чашек, бритв и других мелочей и пустил туда бедного Хаджи Ахилла с женой, дав ему таким образом приют и пропитание. А самый дом, вместе с вавилонской башней, снес, чтоб построить новый.

Хаджи Ахилл плакал, как Иеремия¹³ на развалинах вавилонских.

С той поры он начал пить.

Другого утешения у него не было.

Но Хаджи Ахилл был философ. Он сказал себе: «воля божья!» — и скоро примирился со своим новым положением и с той клеткой, которая стала его обиталищем.

В несчастье он не предался отчаянию и не разможил себе голову, как Тамерлан, о железные прутья и не оборвал свою жизнь при помощи яда, как Фемистокл. У него не было ни зверства первого, ни чувствительности второго, чтобы покончить с мучительным существованием. Если бы Тамерлан умел играть на булгарии, а Фемистокл — брить головы, они, наверное, обнаружили бы, что существует еще *modus vivendi*¹⁴ на этом свете, что человек не умирает ни от печали, имея булгарию, ни от голода, имея бритву.

Наоборот. Если бы Хаджи Ахилла выгнали из его тесной клетки-кофейни, он нашел бы другой уголок на земле, где можно было бы дожидаться естественной смерти, или хоть какую-нибудь пустую бочку, чтобы жить в ней, как Диоген, радуясь солнцу.

Так или иначе, он остался жив, но в душе его возникла и утвердилась

13 ...плакал, как Иеремия... — Иеремия в библейском предании — один из ветхозаветных пророков, горестно оплакивавший разрушение Иерусалима вавилонянами.

14 Буквально — образ жизни (лат.)

неумолимая ненависть к адвокатам. По его мнению, адвокаты — это позор мироздания.

— Одну господь ошибку сделал — адвокатов создал, — говорил он со вздохом. И покорно пил свою чашу.

* * *

Хаджи Ахилл устроил кофейню на свой лад. Как он сам, как его приказавшая долго жить башня, так и кофейня его поражала взгляд своим оригинальным убранством. Так как она не была побелена, а обмазана глиной, и черные стены раздражали его своим видом, вызывая у него разлитие желчи, он решил немножко их приукрасить и приступил к делу со всей решительностью и искусством знатока... Через год посетитель, войдя в кофейню, останавливался, пораженный необычайным, ослепительным зрелищем. Все стены были заклеены разноцветной бумагой, всякими рисунками, картинками, фигурками, библейскими, историческими и комическими сценами, всевозможными чертежами, изображениями неведомых и невиданных животных. Если б не кофейники, изящно развешанные на стене, возле дымохода, да бритвы, симметрично всунутые тупой стороной в узенькую дощечку, иностранный турист, впервые сюда вошедший, подумал бы, что это — большая картинная галерея, всемирная выставка произведений живописи в восточном вкусе!

И в самом деле, это было удивительное, любопытное собрание разнообразных, странных невообразимых рисунков и картин, которые только оригинальный и художественный вкус Хаджи Ахилла сумел выискать, сгруппировать, расположить и привести к согласию. Тут не было никакой искусственной системы, никакого насильственного принципа, никакого заранее составленного плана. Все наклеивалось с какой-то философской небрежностью. Высокое и низкое, изящное и грубое, набожное и нечестивое, благородное и смешное — все противоположности и контрасты находились тут рядом, запросто, откинув предрассудки, как равные... Возле истории восседала ботаника, возле богословия смеялась карикатура. Все друг с другом соприкасалось: возле фотографии Максимильяна находилась фигура яванского тигра; возле головы Александра Македонского в фригийском шлеме простодушно красовался портрет Хаджи Ахилла с заветным султан-махмудовым фесом на голове и иерусалимским чубуком в руках; возле небольшой карты полушарий, выдранной из какого-нибудь Данова атласа¹⁵, была приклеена обложка от пачки папиросной бумаги, фирмы Жоб; в непосредственном соседстве с гравюрой, изображающей святого Пантелеймона в тот момент, когда он, изменяя закон природы, насаживает лошадиную голову ослу, находилась вырванная из иллюстрированного журнала картинка с какой-то актрисой, пляшущей канкан. Возле портрета Франца Иосифа и его августейшей супруги висел рисунок от руки, на котором Марко Королевич заносил над Мусой-Кеседжией свой шестопер; наконец, возле гравюры нового святого Георгия в моралийском фесе и арнаутской рубахе — изображение бомбардировки Севастополя.

¹⁵ ...Данова атласа... — Христо Данов (1828–1911) — крупнейший болгарский книгоиздатель; начал свою деятельность еще до освобождения Болгарии, издал большое количество учебников и учебных пособий.

Контрасты содержания еще более подчеркивались разнообразием художественных приемов, демонстрируемых этим бесконечным парадом всевозможных форм и красок!

Но изумление зрителя не кончалось на этом. Полки были полны новых сокровищ человеческого ума! Новые чудеса манили взгляд. Там были навалены, прибиты, наставлены, сложены — все в том же гармоническом беспорядке — тысячи изделий и предметов из металла, дерева, гипса, камня, картона, кости — целый музей, где были представлены во всевозможных образцах, в естественном и искусственном виде, три царства природы. Там перемешались столярные, слесарные, гончарные ремесла, литейное дело, ваяние; блистали в разных видах и формах, на разных этапах своего развития, техника, искусство, наука, изобретательство; там красовались цинковые подсвечники, старые коробочки, сломанные табакерки, разные колесики, жестяные самопрялки, точильные камни, гипсовые статуэтки, карловские горшочки, сопотские и габровские ножи в красных ножнах, троянские иглы для сшивания ковров, деревянные части женеvских часов, черные и металлические пуговицы, пловдивские позолоченные курительные трубки, обломки рогов средногорского оленя, куски слоновой кости, человеческий зубы, лошадиные подковы, фляжки из тыквы для воды, якорь, габровская деревянная солонка, Венера без руки, липованские иконы, разбитые зеркала, мундштуки, чубуки, чубучки, чубучоночки, наргиле с разорванной трубкой, пузатые скляночки с бальзамом (сопотское изделие) и пустые флакончики с этикетками парижских и лионских фабрик, чашки, блюдечки, доски для игры в нарды, фарфоровые тарелочки, патронташи, весы, клетка, копье, несколько сабель, пистолет с испорченным спуском, игральные карты, гвоздики, гирьки, старые календари, снотолкователь Найдена Иовановича, библия, утиные перья для письма, павлиньи перья из калоферского женского монастыря. Бесчисленное множество подобных мелочей, пустяков, разных разностей глядело с этих пыльных полок, свидетельствуя о великом терпении и настойчивости Хаджи Ахилла.

При всем том Хаджи Ахилл понимал, какую ценность имеют его коллекции, и с невыразимым наслаждением глядел на посетителей, имевших снисходительность интересоваться его сокровищами и внимательно их рассматривать.

Тут все лицо его озаряла самодовольная улыбка и он, выпустив целое облако дыма изо рта, принимался, как прежде крестьянам, рассказывать любопытным истории всех этих изделий: это он купил в Бухаресте, то привез из Иерусалима, то разбила кошка, опрометчиво кинувшись за мышью, это испорчено по глупости бабушки Евы и так далее, без конца... И все эти бесконечные рассказы, объяснения всегда кончались словами:

— Ума палата, язык — бритва, хитрый змей!

Тут он подразумевал самого себя.

Но заметив, что кто-нибудь язвительно улыбается или смеется над ним, не веря надлежащим образом в достоинство его сокровищ, он угрожающе хмурился и тотчас находил какую-нибудь едкую эпиграмму, какой-нибудь удачный острый ответ.

Как-то раз учившийся в России молодой студент, желая посмеяться над ним в многолюдном обществе, имел неделикатность спросить:

— Удивляюсь я, дедушка Хаджи: с какой стати ты собрал весь этот хлам?

— На удивленье дурачкам, — спокойно ответил Хаджи Ахилл.

Парень так и сел.

Общий смех.

Отношения Хаджи Ахилла к согражданам имели двойственный характер. Сопотцы были ненавистны ему своей гордостью, своим лукавством и ханжеством. Он не принимал участия в их междоусобных распрях, их вечных взаимных травлях. Не примыкал ни к одной из двух партий — молодых и чорбаджий, ожесточенно боровшихся между собой всеми видами оружия: молодые — нападками, распространением сатир, которые он находил каждое утро приклеенными к дверям своей кофейни, а чорбаджии — интригами перед турками и жандармами. Борьба идеи против насилия не увлекала его, казалась ему несвоевременной: он чуждался партий, стоял выше волнений и пыла страстей.

— С такими вот головами мы пятьсот лет тому назад упустили птичку, — печально сказал он как-то раз собравшимся у него в кофейне вождям партий. (Под «птичкой» подразумевалось болгарское царство.)

И сейчас же затянулся из чубука, довольный тем, что высказал опасную истину.

Он открыто бичевал пороки сограждан. Его страшно возмущало ханжество некоторых лиц, в душевную чистоту которых он не слишком верил. С саркастической улыбкой смотрел он на них каждое утро из окошка своей кофейни, когда они медленно, важно шли в церковь.

— Богу молятся, а дьяволу служат, — говорил Хаджи Ахилл.

Он давал им особые имена. Одного называл Лукавым рабом, другого Фарисеем, третьего Ананией, четвертого Кайафой, пятого Иродом¹⁶ и так далее.

Незнакомый с сочинениями Вольтера, Ренана или хотя бы Бюхнера, он тем не менее совершенно утратил чувство благочестия и совсем не ходил в церковь, так как считал, что чем человек набожней, тем лицемерней. И не упускал случая заявить протест против этого соблазна. Он протестовал против грубого практицизма, господствующего в наше время во всех классах и слоях общества. При виде проходящего мимо его кофейни священника он говорил:

— Умрет бедняк, священники что надо петь — читают. А умрет богатый — они и то, что надо читать, поют!

И отплевывался.

— Дедушка Хаджи! Почему ты не ходишь в церковь на пасху? — спросил его один богач.

— У кого есть деньги — тому «Христос воскрес», а у кого денег нет — «смертью смерть», — ответил философ.

Хаджи Ахилл горячо желал, чтобы сопотцев постигла какая-нибудь кара, которая помогла бы им освободиться от их губительных пороков, и когда как-то раз сильный град побил все вокруг, он зашагал прямо по воде и толстому слою градин, покрывавшему площадь, остановился посреди нее и, воздев руки к небу, страшным голосом древнего пророка воскликнул:

¹⁶ Лукавый раб... фарисей... Анания... Кайафа... Ирод... — отрицательные образы библейских и евангельских преданий, символы вероломства, лицемерия, жадности, фанатизма, жестокости.

— Господи! Вижу теперь, что ты — человек справедливый.

Подобно Иезекиилю, он предрекал городу Сопоту великие беды.

— Наступит время, — говорил он, — когда эта площадь порастет цикуттой, высотой с Голиафа, и закишит жабами, подобными Рачке Балу.

Последний был в локоть ростом и в локоть шириной.

А когда через пять лет, то есть в 1877 году, Сопот был обращен в пепел¹⁷ и груды щебня, он, посетив родные места, с горькой иронией спросил покрывающие площадь развалины:

— О Вавилон! Где сильные твои?

Но, как я уже сказал, отношение его к Сопоту было двойное.

Ропща против своих сограждан и громко избличая их греховность, он не стыдился своей принадлежности к их среде и с гордостью называл себя жителем капитанского села. Он был высокого мнения об их уме и достоинствах и старался при каждом удобном случае доказать это в ущерб соседнему городу Карлово, который он, на неизвестных исторических основаниях, считал ничтожным, безжалостно осыпая его жителей ядовитыми сарказмами.

— Что ж, для карловца неплохо сказано! — с досадой кинул он одному своему согражданину, сморозившему какую-то глупость.

А сопотцев он охотно восхвалял, не заботясь об истине.

— Сопотцы кого хочешь за пояс заткнут!.. Среди гайдуков воеводами станут, среди монахов игуменами, среди корабельщиков капитанами, среди учителей... преподавателями!

И патриотическое тщеславие его, пробужденное этими словами, выходило из берегов.

Иной раз он приносил в жертву патриотизму даже собственное самолюбие, чтобы только выразить свое удивление перед сопотцами.

— Я прирожденный оратор, а тут меня двое в тупик ставят!

Когда он в 1877 году, бежав из Сопота, подвергшегося нападению башибузуков и ими разграбленного, рассказывал нескольким торговцам в Бухаресте об уничтожении родного города, один из слушателей, бухарестский болгарин, богач и дипломат, вдруг перебил его, заметив высокомерно:

— Как? Вы отдали Сопот башибузукам?! Я знаю Сопот. У него такая стратегически выгодная позиция, что вы могли обороняться много месяцев. Надо было оседлать кисилерскую дорогу, захватить ахиевский большак... Потом... держаться, биться... Я знаю ваши позиции!

— Жаль, тебя там не было! — задетый за живое, ответил сопотский патриот Хаджи Ахилл.

«Дипломата» как ошпарило. Не знал он, кому отважился давать советы...

* * *

Кофейня Хаджи Ахилла была всегда полна посетителей, собравшихся послушать его рассказы и прибаутки. Они не сердились на него за тонкие и ядовитые насмешки, которыми он время от времени осыпал их.

¹⁷ Сопот был обращен в пепел... — Город Сопот был разрушен и сожжен турецкими войсками в первый период русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Чорбаджи, которых он больше всего язвил, которым давал всякие библейские прозвища, каждое утро ходили к нему пить кофе. Они во всю мочь весело смеялись каждому новому эпитету, каждому остроумному наименованию, которые приклеивал им изобретательный Хаджи Ахилл и которых они не простили бы никому другому. Но сам он никогда не смеялся, сохраняя невозмутимую серьезность, как будто эти люди в самом деле носили эти имена и к ним иначе нельзя обращаться.

— Лукавый раб! — говорит Хаджи Ахилл, завидев старого И. Б., который имеет привычку петь на ходу церковные песнопения, по большей части «Всякое дыхание да хвалит господа», а сам дважды объявлял себя банкротом. — Богу молишься, дьяволу служишь... А вот и Гордый Фарисей! — восклицает он по адресу Г. Х., с высокомерным видом переступающего порог кофейни, в длинной суконной шубе на меху красного соболя. — Будь я царь, повесил бы тебя на четках твоих, — добавляет он, указывая на бесконечно длинные янтарные четки посетителя... — С добрым утром, Пилат, — приветствует он следующего входящего, который каждое утро и каждый вечер ходит в церковь, а у кадии за двадцать два гроша дал ложное показание под присягой. — Ты из церкви или из суда?.. Кого я вижу? Кайфа! Анания!.. «И сотворили совет нечестивых»... книжники и фарисеи! Горе вам!.. Здравствуй, поклонник Маммоны!.. — опять восклицает он при виде еще одной шубы, владелец которой продолжает признавать греческого патриарха. — Ого, и старый Ирод тут. Правда, что ты ворует вырубку за церковные свечи? — обращается он с вопросом к необъятным шароварам, заполнившим всю кофейню. — Все в сборе... Можно начинать заседание и распять Христа!.. Буна диминяца, домнуде¹⁸ доктор Йосю! — кричит Хаджи Ахилл порумынски, почтительно открывая дверь перед щуплым человеческим существом, которому на вид можно дать самое большее лет шестнадцать. — Шея у тебя тонкая, как у нашего котенка, а ноги как у англичанина. Ты, милый, видно, питаешься акридами, как Харламбий-чудотворец.

— Как Иван-креститель, — поправляет щуплый человек.

— А вон там, поглядите — Ходжоолу! Мясо себе покупает. А рот разинул, того и гляди мясную лавку целиком проглотит! Горе тебе, чревоугодник!.. Брюхо у тебя, как большая бочка Неча Мангача. Ну как ты сквозь игольное ушко в рай пролезешь? Нет, не попасть тебе в рай, нипочем не попасть! А ты, бедный Иов! — обращается он к одному миллионеру, который сидит в углу, подогнув ноги, и громко прихлебывает кофе. — Твоего феса всем бухарестским прачкам вместе не выстирать. Ты своих детишек одной требухой кормишь, — из-за тебя никак требушки купить не могу, ты мою кошку обижаешь.

Насмешки были едки, но справедливы. Смеялись все присутствующие. Смеялись и сами осмеиваемые, с необычайным мужеством глотая вместе с кофе горькую полынь сарказмов, которыми потчевал гостей тороватый хозяин.

Но кроме богачей он принимал также гостей другого рода: они собирались у него в отсутствие первых. Их он очень любил и поощрял — за

¹⁸ Доброе утро, господин (румун.)

их добрые свойства и незлобие. Им он тоже давал библейские имена. Одного называл Нищим Лазарем. Это был тихий человек с взглядом, всегда склоненным к правому рукаву, вечно посасывающий свой чубучок, хотя в цыганской трубочке у него не было ни огня, ни табака; занимаясь почтенным ремеслом портного-штопальщика, он зимой, когда солнце припекало, выносил свой рабочий стол на открытый воздух, а в остальное время грелся у жаровни по корчмам. Алексеем человеком божьим Хаджи Ахилл называл старика в заплатанных штанах и побитой молью шапке, который никогда не пил вина, не курил табака, но, несмотря на свой почтенный возраст, всякий раз спотыкался при виде молодой женщины. Многострадальным Иовом окрестил он другого человека, чьи ввалившиеся глаза были постоянно обращены к небу, человека, ежеутренне и ежевечерне с благодарностью принимавшего по нескольку тумачков от своей супруги. Видимо, на этом основании Хаджи Ахилл и назвал его Иовом Многострадальным — в отличие от Иова Бедного, миллионера. Название «Прокаженный» он присвоил обладателю физиономии, левая сторона которой была покрыта огненным родимым пятном, а правая, вся испещренная большими черными щербинами — следами оспы, походила на прошение, к которому сотня крестьян приложила свои пальцы. Мафусаилом звал он шарообразное человеческое существо, состоявшее из одних только штанов да шапки, вмещавших все без остатка, и сидевшее безмолвно в уголке у очага, мурлыкая, как кошка. Голиафом величал другую интересную личность, которую обычно звали Ганчо-заяц или Перескочи-кочан; у этого любопытного создания голова была с кулак, а рост — аршин три рупа (Хаджи Ахилл мерил), так что, когда кофейня наполнялась народом и сесть было негде, Хаджи Ахилл устраивал его под жестяной трубой, на которой расстилал сушиться полотенца. Когда в кофейне не было других посетителей, он собирал всех перечисленных вместе и, усадив их рядом, глядел на них с отеческой лаской, бормоча себе под нос между двумя затяжками из иерусалимского чубука:

— Блаженны нищие духом... Эти люди мухи не обидят, слова сказать не умеют, рта не раскроют. Ради них одних господь грешный мир терпит. Посмотрю, посмотрю, да как-нибудь взвалю их всех в корзину на лошадь и отвезу в Царьград к султану... И скажу ему: «Царь преславный! Ну разве с таких людей налог берут?»

Эти ласковые слова приводили библейских персонажей в умиление. Нищий Лазарь радостно улыбался, словно его припекало зимнее солнце; Прокаженный почесывал себе шею чубуком; Алексей человек божий бормотал: «Прости господи»; Иов Многострадальный переводил взгляд с небес на Хаджи Ахилла и с улыбкой покачивал головой, что означало: «Так, так!» Шарообразное человеческое существо на минуту переставало мурлыкать, представляя себе, что стоит перед султаном; а Голиаф в избытке благодарности крутил свой щетинистый ус — единственный, так как другой еще не вырос.

* * *

Но в праздничный день, в подпитии, Хаджи Ахилл был прямо прелестен. Без шапки, в кафтане с засученными рукавами, держа

иерусалимский чубук в руках, он становился на улице, у дверей в кофейню, и начинал свои бесконечные филиппики и проповеди перед кучкой любопытных, которая с каждой минутой росла. Голос его разносился по всей площади, зычный, могучий, неиссякаемый. Слушатели напрягали слух, стараясь вникнуть в смысл произносимых им слов и фраз, следовавших друг за другом в ускоряющемся темпе, сливаясь, рассеиваясь во все стороны, теряясь в пространстве! Он изобличал, судил, возмущался, осыпал разных лиц сарказмами, отпускал многозначительные шуточки, делал тонкие намеки, метал налево и направо ловко нацеленные эпиграммы. Все вокруг обливал он ядом насмешки. Для каждого у него находилось меткое словечко; ему были известны все прошлое, все слабости и смешные стороны любого из присутствующих. Кто бы ни проходил мимо — будь то священник, женщина, старик, турок, — каждому приклеивал он подходящий эпитет, никого не обделял язвительным замечанием. Он сыпал всякими остротами и *bons mots*¹⁹, импровизировал стихи, произносил философские афоризмы, конечно, соответствовавшие его устарелым понятиям и простонародной речи, но нередко поражавшие вас своей верностью, — так что, вложенные в уста Вольтеру или какой-нибудь другой знаменитости, они затверживались бы наизусть решительно всеми. Потом он хватал свою заветную болгарку и с неподражаемым искусством брэнчал на ней и пел; потом оставлял ее и начинал опять говорить; потом брал ее опять в руки и брэнчал — так что, когда он отдыхал, говорила болгарка, а когда отдыхала она, говорил он, — и звон, шум стоял нескончаемый.

— Дети... слушайте! Я — старый человек, скоро помру! Эти золотые руки в земле сгниют... Запомните слова мои: вы — корабль, а я капитан — выдавший виды командир корабля... Этому не правда дорога, а тяжба... Дурак, когда молчит, словно запертый сундук, где пусто... Райка, ешь, пока живот свеж!.. Дом без жены да муж без монет — хуже нет!.. Одни говорят, как думают, а другие думают, как говорят. Ветер сосну с корнем выворачивает, а паутины прорвать не может... Красота грузинская, ум еврейский, язык армянский, высокомерие греческое, свирепость турецкая, мука болгарская!.. Все живое других кормит: навоз землю, земля желудь, желудь свинью, свинья нас, мы турок, турки султана, султан блох, а блохи, может, других блох... Дивлюсь я уму Х. Г., богатству И. П., хитрости П. Р., учености А. Л. и походке Н. И... Когда в Царьграде пожар будет, трех сортов люди туда кинутся: одни гасить, другие жариться, третьи воровать!.. Армия прусская, сила русская... Московское войско ест хлеб черствый, как кость, черный, как деготь, кислый, как уксус, горький, как яд!.. Царь турецкий — разбойник дерзкий... Коли деньги есть — Христос воскрес, а коли нету — смертью смерть... Недойную корову режь, бесплодное дерево руби, кто за кофе не платит — того вон гони... Помрет бедняк, попы: м-м-м! Помрет богач, попы: о-о-о!.. В Индии один камешек пять тысяч грошей стоит, в Сопоте за целый воз камней один грош дают... Московцы дьявола чертом кличут... Дружные овцы гору переходят; несогласные волки порознь бродят... Жениться задумал — смотри, чтоб у невесты печная труба не плетенкой обмазанной была, а цепь для котла —

19 Остроты, острые словечки (франц.)

не деревянный крюк.

Ганчо-зайцу он говорил:

— Люди ловят зайцев в лесу, а ты в село прибежал.

Троянцев дразнил:

— Голова брита — ну и уши торчком.

Прибауткам его не было конца, эпиграммы невозможно перечислить!

Но в конце концов Хаджи Ахилл, вдруг прерывая свои разглагольствования, уходил в кофейню, объявив развесившей уши толпе:

— Будет с вас. Ежели я вам все перескажу, что ж у меня в голове останется?

Как-то раз мастера Христоско и Митко договаривались у него в кофейне с родными одного умершего богача, отличавшегося весьма ограниченными умственными способностями, насчет надписи, которую надо было высечь на мраморной могильной плите.

— Да напишите: скотиной родился, скотиной помер. Вот и все, — проворчал Хаджи Ахилл.

Накануне восстания общее возбуждение захватило и Хаджи Ахилла; он достал и начистил свое копье. Нередко в присутствии посетителей он подбрасывал, ловил и снова подбрасывал его, упражняясь в разнообразных приемах копьеметания. С помощью этого оружия, сохранившегося от эпохи троянской войны, он рассчитывал поддержать повстанцев. При этом он делал проходившим мимо кофейни или заходившим к нему побриться туркам разные тонкие намеки, с необычным искусством трунил над ними и запугивал их, в то же время не давая им возможности догадаться об ожидающей их беде.

Как-то раз, брея голову одному турецкому крестьянину, он произнес вполголоса, нараспев:

— В писании сказано, что ежели тыква не дает плода, надо ее срубить и собакам выкинуть... И нынче бы можно... но погожу... потому — ученый человек... да, да!

В другой раз онбаши, сердитый турок, застав его в нетрезвом виде и заметив, что он что-то слишком громко покрикивает на прохожих, приказал жандарму:

— Алын шуку! (Забери его!)

— «Забери» — плохое слово, онбаши, — возразил Хаджи Ахилл, трогаясь под конвоем в конак, и запел на церковный лад: — Покайся, грешный агарянин! «Забери» — плохое слово! Я тебе скоро тоже два словечка скажу... Это — промысел божий!

Вскоре после этого он был арестован за неуплату налога. Бимбашия²⁰ расхаживал по конаку. Хаджи Ахилл наблюдал из своей норы за любовными сценками из домашнего быта петуха и кур. В результате неизвестно какого психологического процесса, протекавшего в голове его, он вдруг воскликнул:

— Отпусти меня, эфенди, а то плохо будет... Дорого за это заплатите... Ей-богу, плохо будет... Трех месяцев не пройдет, духу вашего здесь не останется. Всего лишитесь... Так у Мартына Задеки сказано!

— Что там блеет этот козел? — громко осведомился бимбашия.

²⁰ Бумбашия (рум.) — судебный исполнитель.

— Это пьяница, эфенди... Говорит, деньги, мол, у него были, — испуганно забормотали стражники-болгары.

Когда, наконец, появились в Сопоте первые казаки генерала Гурко²¹, Хаджи Ахилл, не помня себя от радости, бросился на одного бывшего чорбаджию и стал душить его. Председатель временного городского совета приказал стражнику Михалю:

— Михаль, отведи Хаджи в тюрьму.

Хаджи Ахилл, устремив на председателя отчаянный взгляд, воскликнул:

— Пятьсот лет в тюрьме — и опять тюрьма?

Хаджи Ахилл видел когда-то, как на Пере²² европейские купцы в два счета заключали сделки у себя в конторах, не сбавив ни аспры с заранее объявленной покупателю цены. Он следовал их примеру.

— Сколько возьмешь за бритье, дедушка Хаджи? — спросит какой-нибудь крестьянин.

— Грош.

— А за двадцать пар нельзя?

— Пятьдесят не возьму...

А иной раз, желая подшутить над упорно торгующимся клиентом, говорил:

— Можно, можно. Садись!

Тот садился. Хаджи Ахилл обвязывал ему шею полотняной тряпкой, обривал полголовы, обтирал выбритое место и подносил клиенту зеркало.

— Готово!

Крестьянин с изумлением обнаруживал, что обрит только наполовину.

— Как? Почему же ты не обрил мне всю голову? — огорченно восклицал он.

— За полцены — полработы, — спокойно отвечал Хаджи Ахилл, набивая себе трубку.

В другой раз сцена несколько изменялась.

— Дедушка Хаджи, сколько возьмешь бороду побрить? — спрашивал посетитель.

— Грош.

— А за тридцать пар не пойдет?

— Можно, но с условием: ты сам себе бороду намылишь вон в той луже. Вот тебе мыло.

Как в первом, так и в данном случае клиент тотчас соглашался уплатить грош.

А однажды Хаджи Ахилл устроил совсем оригинальную проделку.

— Дедушка Хаджи, сколько с меня возьмешь, чтоб побрить и умыть?

— С тебя шестьдесят пар.

— Шестьдесят пар? Да ты с ума сошел! Этой работе красная цена грош... Бери грош.

— Лошадиная башка, — проворчал Хаджи. — Ладно, садись.

21 ...казаки генерала Гурко... — Передовой отряд русской армии под командованием генерала Гурко, в состав которого входили казачьи части, в июне-июле 1877 г. форсировал Балканский хребет, освободил ряд населенных пунктов и достиг г. Стара-Загора.

22 Пера — часть г. Стамбула, населенная европейцами.

Обвязал шею клиента тряпкой, засучил рукава, подал ему таз, дернул цепочку у него над головой, повесил котелок, повернул деревянный кран бочонка с водой и принялся старательно намыливать «лошадиную» голову. Когда эта голова стала похожа на большой снежный ком, вроде тех, какие ребята катают зимой по снегу, Хаджи Ахилл перестал намыливать, вытер себе руки, тихонько вышел на улицу и отправился навестить две-три корчмы по соседству. Долго пришлось ждать его возвращения клиенту с головой, покрытой толстым слоем густой и едкой пены, не позволявшей ему ни раскрыть рот, ни поглядеть вокруг, ни хотя бы оставить полный мыльной воды таз, от тяжести которого руки у него дрожали как лист. Через солидный промежуток времени почтенный Фигаро вернулся в веселом настроении, схватил болгарию, сел против бедного мученика и запел:

Русая красавица Димитра,
Ты скажи, Димитра, своей маме,
Чтоб другой такой же дочки не рожала!

Обнаружив присутствие Хаджи Ахилла, снежный ком сделал отчаянное усилие и пробормотал глухим, сдавленным голосом:

— Хаджи, Хаджи, скорей!

Но Хаджи брэнчал, напевая:

Да богата ты, моя голубка.

Обо мне слыхала ль ты, голубка?

— Хаджи! Хаджи! — взмолилась намыленная голова. — Полей на меня.

Хаджи Ахилл прервал пение.

— Подожди, когда песня кончится. Это недолго.

— Поливай! Поливай! Умираю!

— Сколько дашь?

— Сколько хочешь! Грош и пять. Нет, пятьдесят... Шестьдесят возьми!

Только скорее.

Это были истинные *quart d'heure* Рабле²³.

Хаджи Ахилл, опять преспокойно засучив рукава, освободил голову и руки страдальца, который целых пять минут тяжело дышал и отдувался, словно после восхождения на вершину Стара-планины с грузом в сто ок на спине.

При всем том подобные проказы старого героя не сердили тех, кто оказывался их жертвой: наоборот, приятельские отношения от этого только укреплялись.

Но по четвергам, когда в Сопоте был базар и туда приезжали карловцы, Хаджи Ахилл не мог удержаться, чтобы не выявить свое крайне отрицательное отношение к ним.

Приходит к нему кто-нибудь из них побриться и вымыть голову.

— Дедушка Хаджи, побрей меня и умой. Сколько возьмешь?

Хаджи Ахилл внимательно глядел на его голову, некоторое время что-то обдумывал, словно решая какую-нибудь математическую задачу, наконец, после многозначительного покашливания, объявлял:

— Не могу тебе сказать, сколько твоя голова стоит...

23 «...четверть часа Рабле» (франц.). — Имеется в виду анекдотическая черта из жизни великого французского писателя Франсуа Рабле (ок. 1494–1553), успевавшего в короткий промежуток времени между делами, сменой блюд за обедом и т. д. писать свой роман «Гаргантюа и Пантагрюэль».

— Как не можешь?
— Ей-богу, сразу не могу...
— Почему же? Сколько ты с других берешь?
— Это дело иного рода... Ты что — из Карлова?
— Как? Разве ты меня не знаешь? Я — Тинко Курте.
— Как бы не ошибиться, как бы не ошибиться, — задумчиво говорил Хаджи Ахилл.

— Хватит дуровать... Побрей мне голову и получи с меня. Мне некогда... Сколько надо?

— погоди, сейчас скажу! — восклицал Хаджи Ахилл; потом, словно озаренный неожиданной идеей, подбегал к топчану и начинал рыться под подушкой.

Карловец глядел с удивлением. Вскоре Хаджи Ахилл возвращался к ошеломленному клиенту, держа в руке свернутый метр.

— Дай сперва голову смерить...

И, сняв с посетителя шапку, он обвивал частью этого метра, длиной примерно в локоть, его голову — вдоль складки, окружавшей последнюю, как экватор окружает земной шар.

— Тридцать пар! — громко объявлял Хаджи Ахилл.

У карловца глаза лезли на лоб.

— С сопотца и калоферца я взял бы грош. А твоя голова сорок восемь сантиметров в ширину: мала. Ну и работы меньше. А я никого обижать не хочу, — объяснил Хаджи Ахилл несообразительному клиенту, постукивая себя пальцем по переносице.

Такие же шутки проделывал он и с теми, кто приходил к нему рвать зубы.

Дело в том, что Хаджи Ахилл — знаменитый зубодер. Это тонкое искусство он унаследовал от прадедов, вместе с целым арсеналом клещей и всяких инструментов, созданных в середине XIII столетия первым кузнецом, ударившим по наковальне в Сопоте. С тех пор и донине первобытные клещи эти вторгались в тысячи ртов и вытаскивали тысячи зубов — резцов, клыков, коренных... Новейшие усовершенствования, имевшие место в этой области, не дошли до сведения Хаджи Ахилла, что, впрочем, не мешает ему и в настоящее время слыть искуснейшим зубным врачом.

Приходит к нему какой-нибудь крестьянин с раздувшейся щекой.

— Я к тебе, дедушка Хаджи. Вырви мне коренной... Три ночи глаз не смыкал.

— Ладно. Давай пять грошей, — объявляет Хаджи Ахилл, с торжественным видом посасывая чубук.

— Пять грошей? Больно дорого...

— Что ж, ладно. Давай грош: все вырву, — соглашается Хаджи Ахилл, глядя прямо в глаза крестьянину.

Рассказывают еще об одной странной выдумке этого неутомимого шутника.

Как-то раз привезли к нему из Одрина молодую турчанку, принадлежавшую к гарему какого-то паши, чтоб он вырвал ей зуб: растущая слава Хаджи Ахилла дошла уже и туда. Эта турчанка страшно мучилась и никому не решалась доверить эту операцию. Наконец, она

нарочно приехала в Сопот — к знаменитому зубодеру.

Хаджи Ахилл подробно расспросил ее о больном зубе, зачем-то потрогал ей щеку, несмотря на присутствие ревнивой бабушки Евы, и, наконец, объявил, что вырвет зуб без всякой боли. Потом достал из-под кровати деревянное корытце, полное вырванных зубов — с одним, двумя, тремя корнями, одни целые, другие сломанные, некоторые с кусками почерневшего и высохшего мяса, иные с косточкой челюсти, — и выложил все это перед ошеломленной молодой женщиной. Потом он поставил перед ней другую миску, полную разных инструментов: клещей — маленьких, какими портные гнут пуговицы, и больших, с толстыми головками, с зубцами, как те, которыми вытаскивают длинные цыганские гвозди; щипцов, какими кузнецы держат раскаленное железо под ударами молота на наковальне; крючков, игл, тисков с винтами, даже ножей!.. Это была целая коллекция орудий истязания и пытки, которые одна только инквизиция решилась бы применить к человеческому телу. При виде этого страшного зрелища несчастную пациентку охватил ужас.

Хаджи Ахилл как ни в чем не бывало стал выбирать среди этих чудовищных орудий, какое бы лучше запустить в ее розовый ротик.

— Аман!.. Аман!..²⁴ Не надо, не надо! Пустите меня отсюда!

И она вихрем вылетела вон, бросилась в повозку и покатила прямо в Одрин, к паше.

Через месяц к Хаджи Ахиллу явился жандарм и вызвал его к аге в конак.

Хаджи Ахилл пошел. Входит и видит: в бассейне фонтана мокнет пук кизилowych прутьев. Тут он вспомнил о жене паши: мороз подернул его по коже.

Представ перед агой, он задал себе вопрос: сто или пятьдесят? Сомнений быть не могло: на этот раз зад его дорого заплатит за все сумасбродства головы... В эту минуту в мозгу его молнией пронеслись тысячи мыслей и соображений, возникали тысячи способов и уловок, с помощью которых можно было бы избежать кизилowych палок или хоть отодвинуть знакомство с ними на неопределенный срок... Нет, ничто не спасало... При любой комбинации, любом плане результат получался только один: пук кизилowych прутьев, вымоченных в воде!.. Никогда не думал он, чтоб этот невинный цветущий представитель растительного мира — кизил — представлял такую опасность для известной части человеческого тела... Случай единственный в полной приключений жизни Хаджи Ахилла. Он перебирал в памяти все свое прошлое. На неврокопской ярмарке, например, у него украли кафтан с планом вавилонской башни в кармане; в Море²⁵ один буян дал ему по морде в корчме, на что Хаджи Ахилл, со своей стороны, ответил словами: «Божья воля!»; на горе Фавор он обнаружил, что вместо его вороного коня, купленного у одного арапа за 3000 грошей, привязан слепой бедуинский осел; в Царьграде его спустили с лестницы в Святой Софии, так как любопытство завело его в такое место, куда надо было иметь разрешение, а он ни у кого не просил, и он потерял при этом два передних зуба; в Бухаресте ему случилось даже выступить

²⁴ Пошады! (турец.)

²⁵ Мора — Морея, южная часть Греции.

настоящим театральным героем: увидев, что на сцене кто-то упал, пронзенный ножом, и убийца вытаскивает этот нож, окровавленный, из тела своей жертвы (как полагалось по ходу действия), Хаджи Ахилл издал вопль и бросился бежать прямо по стульям, измяв при этом два цилиндра и несколько кринолинов. Этот случай, впрочем, обошелся ему всего в пять золотых в виде штрафа, не считая десятидневного ареста, во время которого были подвергнуты медицинскому обследованию его умственные способности... Да и в Сопоте его сажали не раз... Но нынешний случай — совершенно неожиданный, недопустимый! Ну, украли у тебя кафтан с планом башни. Ну, переменили коня на осла. Ну, дали по морде: от этого ничего ведь не делается — только румяней становишься. Ну, столкнули невежливо с лестницы Святой Софии. Все это дела житейские; чего не бывает, раз-другой стерпеть можно. Но целый пук кизиловых прутьев, да еще вымоченных! Это было выше его понимания! В апокалипсисе о таких происшествиях ничего не сказано, и Мартын Задека, несмотря на всю свою ученость, их не предусмотрел.

Правда, Хаджи Ахилл, как уже было сказано, любил страдать, подобно всем великим людям, к которым он себя причислял. Но он считал, и вполне справедливо, что ни один великий человек не согласился бы принять сто или хотя бы только пятьдесят ударов кизиловыми палками, предварительно вымоченными в воде! Это просто что-то невозможное. Воображение Хаджи Ахилла, столь неожиданно нарисовавшее эту ужасную перспективу, не могло больше мириться с мыслью о возможности такого чудовищного события.

Виктор Гюго в своих «Châtiments»²⁶ рассказывает, что Наполеон впервые вздрогнул, увидев свои полки погребенными или замерзшими стоя в русских снегах.

Хаджи Ахилл, капитан, ученый человек, обличитель пороков современного общества, философ, вырвавший за свою жизнь тысячи зубов и обривший бесчисленное количество бород, ни перед кем не унижавшийся до лести, не боявшийся ни одного человеческого существа, кроме собаки Фачки Гуштеры, и то лишь когда ее спускали с цепи, да сумасшедшего Христки, который кидал в него камни; Хаджи Ахилл, говорю я, не пугавшийся ничего на свете, — да, кроме убийства в бухарестском театре! — теперь, перед этим простым агой, перед пучком кизиловых прутьев — о, ужас! — задрожал, испугался! И великим людям суждено иногда испытывать перед лицом грозных катастроф чувство страха!

Но посмотрим, чем кончилась эта критическая минута.

Итак, Хаджи Ахилл задрожал.

Ага поглядел на него с улыбкой.

Хаджи Ахилл вытаращил глаза.

Ага протянул ему открытую табакерку.

Хаджи Ахилл двумя пальцами взял из нее понюшку.

Ага кивком пригласил его сесть и чихнул.

Хаджи Ахилл чихнул и сел.

Ага сказал ему:

— Кузум²⁷ Хаджи!

Хаджи ответил:

— Буюр, беим?²⁸

Ага открыл зеленый ларчик, вынул лиру и протянул ее Хаджи Ахиллу.

— Вот одринский паша прислал тебе... бакшиш...

— Бакшиш?!

Хаджи Ахиллу показалось, что это сон.

— Бакшиш за то, что ты вылечил зуб его «деткам», — пояснил снова с улыбкой почтенный блюститель власти.

— Я?

— Он еще пишет, чтоб ты прислал ему этого лекарства: пускай будет под рукой.

— Не могу, эфенди...

— Неужели кончилось?

— У меня его целый воз, но...

— В чем же дело?

— Эфенди, мое лекарство — это страх!

И он рассказал все как было... Ага смеялся до слез.

Благополучное окончание страшных душевных тревог и невыразимых мучений, в которые вверх Хаджи Ахилла вид злосчастных кизилловых веток, давало право философу со спокойной совестью повеселиться. К вечеру он успел уничтожить в результате прогулки по корчмам половину полученной им лиры, — причем, как человек, знающий цену благородному чувству признательности, не забыл выпить несколько раз за великодушный зуб... Вечер этот, полный других приключений, ознаменовался также трепкой, которую Хаджи Ахилл задал почтенной бабушке Еве.

* * *

Несколько слов о подруге нашего героя.

У нее было другое имя, и она не была еще бабушка. Хаджи Ахилл присвоил ей эти титулы, видимо, на основании библейских воспоминаний, поэтому и я буду называть ее так... Несмотря на колотушки, которыми Хаджи Ахилл время от времени наделял ее, они жили душа в душу. Хаджи Ахилл бил бабушку Еву не потому, что она этого заслуживала или он не любил ее, а единственно для того, чтобы она не забывала: он муж, а она жена... Но бабушка Ева считала еще преждевременным ставить на повестку дня женский вопрос и поднимать знамя женской эмансипации.

Прекрасная женщина! Она никогда не отвечала ему грубым словом. Если он возвращался пьяный, что, впрочем, — к чести Хаджи Ахилла должно признать, — бывало только по понедельникам и средам, а также по воскресным дням, она предусмотрительно занимала удобную для обороны и даже вовсе недоступную позицию, следя за тем, чтобы между ними обоими находилась толстая стена, отделяющая кофейню от соседнего двора. Там она укрывалась до тех пор, пока у него не пройдет желание предъявлять ей свои привилегии мужа. Но если она не успевала это

²⁷ Дорогой (турец.)

²⁸ Что прикажешь, бей? (турец.)

сделать, то покорно переносила грубую ругань и еще более грубые кулаки Хаджи Ахилла. Как и у него, у нее тоже была своя философия отношений между мужем и женой в общественной жизни и домашнем быту. У нее имелся достаточный опыт в супружеской области (я забыл сказать, что бабушка Ева была за Хаджи Ахиллом уже вторым браком). Покойный Митрофан, царство ему небесное, уже приучил ее безропотно переносить господство и кулаки мужа... У нее не было причин особенно горевать о своем Митрофане: он не был с нею ни особенно разговорчив — за исключением тех случаев, когда ее ругал, ни слишком щедр — кроме как на кулаки. Ей не было никаких оснований предпочитать его. Оба были хороши. Теперешний хоть бил ее не просто так, здорово живешь, и не из подлости, а ради принципа, в подкрепление евангельской истины.

— Эх, будь они неладны... Все одинаковые, — философски рассуждала почтенная бабушка Ева.

Но она любила мужа. Была ему предана. Помогала ему в кофейне, подавала огонь для трубок, варила кофе, пока он был занят бритьем, иногда вмешивалась в разговор гостей, — например, высказывая свое мнение по поводу какой-нибудь политической злобы дня.

— Пулион да Пулион...²⁹ а глядишь, тоже царства лишился... Царем ли, кем хочешь будь, — у всех один конец... Произволение господне, — замечала глубокомысленно драгоценная половина Хаджи Ахилла.

Это было во время франко-прусской войны.

Или вдруг спрашивала:

— А дедушка Милхэм³⁰ этот — папист или болгарин?

Тут Хаджи Ахилл поворачивался, нахмурившись, к своей любознательной супруге и ворчал вполголоса:

— Упаси боже от плохой бритвы и неученой жены.

После этого внушительного замечания бабушка Ева сконфуженно отходила в сторону, мирясь с тем, что вопрос о национальности прусского короля остался невыясненным.

Единственно, чем Хаджи Ахилл мог обидеть, глубоко оскорбить свою чувствительную супругу, это — назвав ее не библейским именем, а второмужаткой (я забыл сказать, что сам он был женат на бабушке Еве вторым браком). Тут она вспыхивала от негодования, неожиданно раненое самолюбие вызывало яркую краску на ее лице, и она сердито кричала:

— Ишь спохватился: второмужатка... сам-то холостым пареньком под венец шел, что ли?.. Выдумал слово дурацкое — откуда взял только? Ошалелый,

Но Хаджи Ахилл взирал на поднявшуюся бурю со стоическим спокойствием, совершенно не собираясь выбрасывать это слово из своего словаря. Наоборот, он объяснял ей филологическое его значение, доказывая, что изобрести такое слово мог только тот, кто читал Писание.

— Ты, бабушка Ева, глупая женщина, Писания не читала... А я в Море и в Бухаресте был, девяносто девять народов видел... Видел храм Соломонов... Соломон был тоже ученый человек. Он семьсот второбрачных имел... А у меня только одна, да я бы и ту ему отдал.

²⁹ Пулион — искаженное «Наполеон».

³⁰ Милхэм... — искаженное «Вильгельм».

— Ты готов последние штаны этому проклятому Соломону отдать... чтоб ему пусто было. Когда ни придет, никогда за кофе не платит, — сердится бабушка Ева.

— Неученая женщина — что дерево неотесанное, — богословским тоном обличает Хаджи Ахилл свою гневную супругу, предоставляя ей и дальше погрязать в глубоком невежестве относительно Писания.

Хаджи Ахилл был очень дурного мнения о женщинах. Оттого ли, что он не слишком блаженствовал с первой своей супругой, или же оттого, что, как сын своего века, разделял общие предрассудки против женщин, он никогда не говорил доброго слова о прекрасном поле и самые едкие укоризны его всегда относились к последнему.

Нередко восклицал он, намекая на жену:

— Враги человеку домашние его!

Как-то раз один юноша спросил его:

— Дедушка Хаджи, ты умный, бывалый человек. Скажи, как надо выбирать жену.

Хаджи Ахилл кинул насмешливый взгляд на бабушку Еву, которая была при этом, и, посильней затянувшись своим чубуком, пустил в нее целый столб дыма, после чего ответил желающему жениться:

— Возьми ведро воды, напусти туда змей, скорпионов и всяких гадов, у которых язык ядовит... Потом зажмурь глаза, сунь туда руку и хватай что попадется... Непременно на змею нарвешься, но моли бога, чтоб не гадюка была.

Услыхав это, бабушка Ева перекрестилась и промолвила:

— Совсем ошалел.

Но Хаджи Ахилл не рассердился на это замечание... Напротив, оно доставило ему большое удовольствие. Он понял, что сильно задел бабушку Еву, и самодовольно прошептал, не выпуская чубука изо рта:

— Ума палата, язык — бритва, хитрый змей!

Но Хаджи Ахилл искренно любил жену.

Несмотря на все насмешки, подшучивания и кулачные расправы, он знал, какую благотворную роль играет в жизни человека жена, какое огромное значение имеет она для его счастья, и, в противовес вышеприведенному оскорбительному сравнению, говорил иногда:

— Дом без жены да муж без монет — хуже нет!

Тут бабушка Ева приятно улыбалась и ласково заглядывала в глаза супругу, словно кошка, которую гладят по шелковой спинке.

Хаджи Ахилл обожал свою подругу и в критическую минуту доказал это.

Когда в 1877 году полчища башибузуков, ободренные близостью сулеймановых войск, напали на Сопот, Хаджи Ахиллу, как всем, пришлось бежать за Балканский хребет. Он бросил все: дом, бритвы, кофейники, картинную галерею, бесценный музей свой, даже болгарию, даже иерусалимский чубук! Только два предмета сохранил и унес он с собой за Балканские горы: свое копье и бабушку Еву!

Последние великие события — война, опустошения, освобождение — не застали Хаджи Ахилла врасплох. Они были им предвидены и не исторгли из уст его удивленных восклицаний, кроме философского «Божья воля!», которым он встречал безразлично все замечательные явления в

своей жизни, как, например: спуск с лестницы в славном храме Святой Софии, получение пресловутой оплеухи в Море, приобретение в Сопоте сотни золотых грошей вместо сотни ударов кизиловыми прутьями и, наконец, освобождение Болгарии.

Впрочем, нет: появление и пребывание русских в Болгарии оказали на него бесспорное влияние.

Сближение с русскими побудило его сделать большой шаг вперед в области языковедения: он изучил русский язык. Да!

Проезжая недавно через Карлово, я почел неременным долгом посетить бывшего своего соседа и знакомого Хаджи Ахилла, который переехал в этот город. Я нашел его в новой кофейне.

Единственным, украшением последней были окна, оклеенные (удивительное совпадение) номерами покойных газет «Витоша» и «Басарет». Но посередине бумагу заменяли куски стекла — треугольные, круглые, полукруглые, многоугольные — словом, той формы, какую придал им каприз случая, и поддерживаемые искусно вырезанными краями бумаги, к которым они были приклеены. В углу стояло, вытянувшись, уцелевшее от кораблекрушения копьё. Хаджи Ахилл опять был бедняк. Бабушка Ева разделяла с ним судьбу его. Достойная женщина! Когда я вошел, он, находясь в веселом настроении, удивлял кучку любопытных своими познаниями в русском языке.

— Ума палата, язык — бритва, хитрый змей!.. Я — человек ученый, дети... Читаю Писание, знаю русский язык... Русские называют женщину — марушкой, ракию — водкой, вместо «садитесь» говорят «наседайте», вместо «дай» — «давай», вместо «поедим» — «покушаем».

— Дедушка Хаджи, — прервал кто-то. — А как по-ихнему отравя?

— Зехир!³¹ — с невозмутимой серьезностью ответил Хаджи Ахилл.

Пловдив, 1881 г

Кандидат в «хамам»

I

— Ты меня ждешь?

— Я готов.

— Выпьем хоть по кружке пива...

— Ладно!

И приятели вошли в пивную Венети...

Старший из двух, господин Хрисантов, по рассеянности, нападавшей на него всякий раз, как он был чем-нибудь сильно озабочен, увидев перед собою благодушную, пухлую физиономию хозяина пивной, громко воскликнул:

— Гарсон!

Тот с удивлением посмотрел на посетителя, так нелюбезно к нему обратившегося, лениво перевел взгляд на слугу и промолвил:

— Спроси, чего нужно господам...

Скоро два друга, люди еще молодые, подняли пенящиеся кружки и

³¹ Зехир — яд (турец.)

чокнулись:

— В добрый час!

— За успех предприятия!

У крыльца их ждал извозчик.

Хрисантов с Ивановым вскочили в пролетку.

— На станцию!

Извозчик тронул, пролетка задребезжала по мостовой. Приятели спокойно, рассеянно глядели на лавчонки и магазины привокзальной улицы, вежливо кланяясь знакомым.

Когда они выехали в поле, в бледные лица их пахнуло прохладным ветерком. Природа раскрылась перед ними во всей своей красе и свежести. Широкая равнина, расстилающаяся до разветвленных предгорий Родоп, зеленела, радуя глаз своим нарядным убором. Миром, тихой радостью веяло от ясного простора, и друзья, упоенные ласковым дыханием весны, кажется, должны были забыть шумный и пыльный Пловдив с его интересами, тревожностями к политическими интригами, его полные гама площади и торговые ряды, лабиринт его улиц, более грязных и смрадных, чем пасквили господина К.

Увы! Эта дивная природа, это животворное и лучезарное апрельское солнце, эта чарующая панорама бескрайного пловдивского горизонта могли взволновать и растрогать кого угодно, только не наших двух путников. Все живое могло порадоваться, хоть мимолетно, красоте божьего мира; только кандидат в депутаты не был способен на это.

А Хрисантов как раз и был им. Спутник его, уже депутат, провожал его в Дермендере — село, где он пользовался влиянием. Там он должен был рекомендовать Хрисантова в кандидаты. Из Пловдива они выехали с таким видом, будто им просто вздумалось прокатиться до станции: в горячую пору предвыборной борьбы нельзя было выдавать истинную цель поездки. Теперь оба предавались важным размышлениям.

Пролетка спокойно и ровно катилась с холма на холм по сухой дороге, ведущей к Дермендере.

Внимание Хрисантова было устремлено к той возвышенности Родоп, где притаилось село. С сердечным трепетом смотрел он на белесый дымок, плывущий над селом, скрывавшим часть его будущей судьбы. Никогда еще не испытывал он такого рода волнений, и эти скромные, мирные деревушки, так приветливо маячащие на склонах Родоп, вызывали в нем тысячи мыслей и страхов. В его воображении мелькал то какой-нибудь кмет³² с хитрой, угрюмой физиономией и щетинистыми усами; то какой-нибудь одичалый поп в потертой камилавке, с нечесаной грязной бородой; то какой-нибудь сельский учительшка в грубошерстной пиджачной паре, вся библиотека которого состоит из нескольких засаленных конторских книг, нескольких пыльных номеров царьградского «Века» да прошлогоднего номера пловдивской газеты... Мысль об этих важных сейчас для него персонах приводила его в смущение, и он ломал себе голову, как ему с ними держаться, чтобы снискать их симпатию и — увы — благоволение! Прошлую ночь ему приснилось, что он борется со священником из села М., куда они тоже должны заглянуть; священника

32 Кмет — городской голова; председатель сельского общинного совета.

этого он ни разу в жизни не видал; он проснулся весь в поту: ему привиделось, будто этот поп — свирепый американец в камиллавке, обитой спереди желтой жостью, на которой вырезаны слова: «Изыди от меня, сатана!» И Хрисантов прямо с содроганием представил себе, как ему в силу горькой необходимости придется ласково пожать руку этого американца и говорить ему любезности.

Он невольно поморщился.

Вдруг на порядочном расстоянии от них показался всадник.

Иванов привстал, взгляделся и промолвил:

— Это, должно быть, кмет из Дермендере. Надо расспросить, как там дела.

Хрисантов в волнении тоже посмотрел на встречного. В невыразимой душевной тревоге он поправил свой галстук, положил правую ногу на левую и стал ждать.

Всадник приближался.

Хрисантов не сводил с него глаз.

Когда крестьянин подъехал ближе, Иванов сказал:

— Это не кмет!

Хрисантов вздохнул с облегчением.

Всадник оказался молодым парнем — почти совсем мальчишкой — с белесыми волосами и бровями и еле пробивающимися усиками; выражение лица у него было кроткое, веселое, и это расположило к нему Хрисантова.

— Порядочный малый, по-видимому, — промолвил он, готовясь приветливо поздороваться.

— Побеседуем, — сказал Иванов и, остановив извозчика, обратился к симпатичному избирателю:

— Добрый день, приятель!

— Пошли боже, господин, — ответил крестьянин, осаживая коня.

— Что у вас новенького? — продолжал Иванов, окинув его взглядом.

— Все как надо. Вот в город еду. А ваша милость?

— А мы к вам в село.

— Славно, славно.

— Что там у вас новенького? — повторил свой вопрос Иванов.

— Все по-хорошему; чему же быть?

Иванов глубокомысленно потрогал свою бороду. Он соображал, как бы свернуть разговор на выборы, выведать настроения крестьян. Дело довольно тонкое. Чтобы внушить крестьянину доверие, нужно прикинуться незаинтересованным, доброжелательно-безразличным. Вечно обманываемый крестьянин привык во всем сомневаться; беспощадно околпачиваемый всякими политическими аферистами, которых так много напоследок развелось в нашем обществе, он предпочитает скрывать свои мысли. А в случае нужды и соврать. Вот почему Иванов только после долгих подходов и расспросов о посевах, о дороговизне, о погоде, о том о сем, сказал ему:

— А кого надумали в депутаты?

Лицо крестьянина, до тех пор веселое и благодушное, сразу стало серьезным. Он поглядел на Иванова, на Хрисантова, у которого сильно забилось сердце, потом сплюнул и погладил лошадь по гриве. Он как будто хорошенько не понял, что сказал Иванов. Именно так и подумали оба

путника; Иванов уже собирался пояснить свой вопрос, как молодой крестьянин заговорил:

— Депутатом... не сталкивались еще, кого выбирать будем.

— А все-таки — как думаете? Есть ведь небось кто-нибудь на примете... А?

— Думать-то думаем... известное дело... да как тебе сказать? Сами не знаем... Один приедет: выбирайте, говорит, того, другой — другого, третий — третьего... Думаем, конечно, как не думать... Да все никак в толк не возьмем!

Было ясно: крестьянин говорить опасается.

— Кмет ваш на селе сейчас?

— На селе; я помощник его.

— А, тем лучше! Я хотел с вами поговорить... Ты ведь скоро вернешься? Так вот, как вернешься, потолкуйте с кметом, с батюшкой и с учителем, — решите, кого вам выбирать. Я вам как друг советую — ведь ты меня знаешь?.. — смотрите в оба, выбирайте своим депутатом человека, который блюдет ваши интересы и знает ваши нужды, а не такого, что норовит на депутатстве нажиться, увеличить свои доходы. Вам нужен человек почтенный: и я нарочно приехал, чтобы рекомендовать вам такого...

Тут Иванов невольно запнулся, так как Хрисантов сильно ущипнул его за локоть, поняв, что он его сейчас назовет. Вняв предупреждению, он продолжал:

— ...нарочно, чтоб рекомендовать вам в кандидаты... человека почтенного, такого, чье имя сделает вам честь...

— Это как есть: нам нужен человек почтенный... — ответил крестьянин, вскидывая свои серые глазки на Хрисантова. Видно, догадался, черт...

Хрисантов покраснел и с величайшим смирением потупил взор...

— Ну, пока. В час добрый! Помни, что я тебе сказал...

— С богом, — ответил крестьянин и резко тронул коня, не заметив грациозного приветствия Хрисантова, махавшего ему шляпой.

II

Экипаж опять покатил меж зеленых всходов ячменя.

— Эти деревенские — прекрасный народ, — заговорил Хрисантов. — Особенно нравится мне их простодушие... Да, за исключением некоторых деревенских попов, — прибавил он, вспомнив приснившегося американца.

— Прекрасные люди, но с ними нужно обращаться умело и решительно. Прежде всего нужно завоевать их симпатии, объяснить им, чего они могут от тебя ждать и как ты будешь действовать...

— Разумеется, все это надо им рассказать, Я изложу им свои политические взгляды и линию поведения в палате; скажу, что буду считать своей священной обязанностью во всех случаях защищать интересы страны и стремиться к осуществлению народного идеала...

Иванов с улыбкой перебил его:

— Вкратце... Но продолжай!.. Чем еще рассчитываешь ты зарекомендовать себя населению?

— Больше ничем. В том, что я сказал, содержатся все остальные задачи порядочного депутата. По-моему, этого довольно...

Иванов громко расхохотался.

— Этим способом, братец, ты не соберешь пяти голосов: никто не поймет твоей песни!

Хрисантов вытаращил глаза.

— Поступай, как все практичные люди: обещай, обещай населению, но не осуществление политических идеалов, не защиту интересов страны и ее либеральных учреждений — это вещи, которыми сыт не будешь, — а устройство дорог, уменьшение налогов, устранение какого-нибудь ненавистного чиновника; обещай поддержку школам и охрану интересов крестьянина, если у него есть дело в суде. Это самые чувствительные струнки, и на них-то тебе и надо играть, если ты хочешь попасть в «Хамам» наверняка. Может быть, ты не выполнишь ни одного своего обещания, но довольно того, что ты их дал! Этим ты показал крестьянину, что входишь в его положение, интересуешься им. А там уж от случая будет зависеть, как слегка варьировать тему. Понимаешь? Например, если ты хочешь воздействовать на какого-нибудь мелкого чиновника, скажи ему только, что выхлопочешь ему повышение; если говоришь со священником — обещай, что устроишь ему ссуду или по крайней мере поручишься за него при ее выдаче, чтобы он мог выплатить свой долг за землю, купленную в прошлом году; ежели с кметом — разбрани хорошенько его предшественника, скажи, что ты приносишь себя в жертву народу, вообще говори все что вздумается; зайдет у тебя разговор с учителем, который не дрожит перед инспектором и не сочувствует враждебной нам партии, покажи ему газету «Объединение»³³ и скажи ему конфиденциально, что если тебя выберут депутатом, через двадцать четыре часа объединение Восточной Румелии с Болгарией станет фактом. А если при этом случится быть крестьянам, прибавь, что тогда и налог придется платить совсем маленький: четверть нынешнего; тут ты можешь дать волю своему языку и насолить противнику. В селах со смешанным населением заявляй туркам, что, если они подадут свои голоса за тебя, ты будешь ходатайствовать перед правительством о назначении их префектами и капитанами, а твой противник задумал построить в турецком квартале большую церковь, для которой уже заказал в России три больших колокола, чтоб они гудели у турок над головой с утра до вечера и этим заставили их выселиться...

Хрисантов засмеялся.

— Этого я не могу.

— Как же другие делают?

— Пускай их! Я — честный человек и не могу ни лгать, ни клеветать. У меня есть принципы.

— Тогда поедем обратно.

— Почему?

— Потому что честность — монета, имеющая хождение не на всяком рынке, а принципы годятся только на то, чтобы заполнять столбцы газет, которых в деревне никто не читает. Не поймут! Вот, например, видишь ту корчму? Мы в ней остановимся. Попробуй, поговори с корчмарем Кости о принципах... Небось, твои друзья, приезжавшие сюда по твоему делу, когда рекомендовали тебя, не заикались о принципах. Постарайся не впасть с

³³ «Объединение» — газета, издававшаяся в Пловдиве в 1882–1886 гг. сторонниками воссоединения Восточной Румелии с Болгарским княжеством.

ними в противоречие.

Пока шел этот довольно прозаический разговор, пролетка подъехала к корчме, стоящей у шоссе, на краю села К.

Приятеля слезли, вошли.

Их встретил мужчина в турецкой одежде, в барашковой шапке и с засученными рукавами. Это был корчмарь Кости.

Сама корчма не представляла ничего особенного по сравнению с другими деревенскими корчмами. Те же лавки и полки, на которых стояли невымытые стаканы и бутылки; те же стены, на одной из которых висели безмен, несколько высохших заячьих шкурок, две-три провонявшие и заплесневелые колбасы и еще какая-то дрянь; тот же прилавок, на котором в иерархическом порядке были расставлены графинчики для вина и водки, предводимые огромным грязным кувшином с крышкой, в котором по нескольку суток отдыхало вино в ожидании тех, кто пожелал бы почтить его своим вниманием. У прилавка на полуразвалившемся очаге стоял в горячей золе кофейник, чтоб всегда была горячая вода для кофе проезжающим. Над прилавком, на стене, красовались чем-то забрызганные картины с изображением боев при Плевне³⁴ и на Шипке, портреты русского императора, императрицы и болгарского князя Александра³⁵, рядом в виде украшения висел кусок сухих дрожжей.

Пока Хрисантов знакомился с достопримечательностями корчмы, Иванов успел завязать разговор с Кости.

— Ну, бай Кости, — начал он, задумчиво покручивая свои тонкие усики и усаживаясь поудобней на лавке. — Как живешь? Все благополучно? Как торгуешь?..

— Слава богу, чорбаджи.

Хрисантов сразу заметил, что его товарищ пользуется авторитетом у корчмаря. Он отвел свой рассеянный взор от стен и стал внимательно слушать их беседу.

— А что, крестьяне, которые сюда заходят, говорят, за кого голосовать будут?

— Как?

— Ну, поговаривают, кого депутатом выбрать?

Корчмарь быстро вынул щипцы из огня и пристально посмотрел на Иванова.

— В депутаты? Да, поговаривают.

— Кого же собираются?

— Да кого вы, чорбаджи, укажете... Может, назовете кого... Известно, мы люди темные...

— Это другой вопрос. Я спрашиваю: о ком крестьяне поговаривают?

Кости подозрительно поглядел на Хрисантова. Тот весь обратился в слух.

34 ...картины сражений при Плевне... — Плевна (болг. Плевен) — сильно укрепленный город в Северной Болгарии, взятый русскими и румынскими войсками в ходе освободительной войны 1877–1878 гг. после почти полугодовой осады.

35 ...болгарского князя Александра... — Александр Баттенберг (Баттенбергский) — немецкий принц, офицер прусской службы, родственник Александра II и английской королевы Виктории; был избран в 1879 г. на болгарский престол; в 1886 г. вынужден отречься от престола в результате своей реакционной и антирусской, противоречащей национальным интересам Болгарии, политике.

— Выберут, говорят... Приезжал тут позавчера Недю Клисурец; так он сказал им, чтоб выбирали... как бишь его... — Иванов назвал одного из кандидатов.

— Нет, нет! Этого я знаю... Три года у отца его вино покупал.

Иванов назвал другую фамилию.

— Э, нет.

— Так кого же?

— Больно имя чудное...

— Может, Хрисантов?

— Эге, эге! Христианов. О нем толковали.

— Хрисантов, — поправил Иванов. — Ну, и как? Порешили на нем?

— За него бюллетени будут подавать.

Хрисантов густо покраснел. Товарищ его самодовольно кивнул ему, словно хотел сказать: «дело в шляпе»; потом, обращаясь к Кости, добавил:

— Его, Хрисантова, выбирайте. Я тоже его одобряю... Слышишь, Кости?

Потом с решительным видом указал на товарища и объявил:

— Вот господин Хрисантов!

Корчмарь, в это время подносивший им кофе, так растерялся от неожиданности, что уронил чашки на пол.

— Господин Хрисантов! Милости просим, милости просим, — сказал он с улыбкой, подбирая их, уже пустые.

— Свари новый кофе. И слышишь? Говори всем, чтоб выбирали господина Хрисантова.

— Да я уж и так говорил доброй сотне о господине.

Корчмарь соврал; у него при этом зарделись уши, Это не ускользнуло от внимания Хрисантова. Иванов бросил на лавку серебряный рубль.

— Возьми вот, Кости... на сдачу крестьян угости... понимаешь?

— Я знаю, знаю свое дело, чорбаджи, — лукаво подмигнув, ответил корчмарь.

— А в случае чего... моя забота, понял? Вот и все...

— Будь покоен. Насчет господина положишь на меня! Наш батюшка где-то читал про него... Хороший человек, по фамилии видать!

Когда пролетка опять тронулась в путь, Иванов приветливо обратился к товарищу:

— Как видишь, начало хорошее... Этот Кости сделает свое дело. Он мне предан!

Хрисантов ничего не ответил. Он только уныло покачал головой, вспомнив, как у корчмаря зарделись уши.

Пролетка продолжала свой путь к Дермендере, которое было уже недалеко. Хрисантов почувствовал, как у него колотится сердце. Смешанное чувство страха, ожидания, неизвестности заставило его на минуту пожалеть, что он решил выставить свою кандидатуру. Он снова представил себе кметов с хмурыми лицами, в которых надо будет ловить признаки благосклонного отношения и приветливо улыбаться в ответ; представил, как ему придется жертвовать своим самолюбием, пожалуй, даже своим человеческим достоинством; нарисовал в воображении фигуру свирепого американца, с которым рано или поздно надо будет встретиться.

— Ты знаешь С-ского священника? — вдруг спросил он,

— Отца Андона? Знаю... А что?

— Представь себе, он мне приснился сегодня ночью! — с усмешкой произнес Хрисантов. — Что он за птица, этот поп?

— Виляет, дьявол... и сброд за собой тащит... Ну да посмотрим! — ответил Иванов.

Хрисантов нахмурился.

Вдруг Иванов тронул возницу за плечо: он заметил на тянувшейся поперек поля тропинке человека в серых домотканых штанах с широким красным кушаком и в шапке с красным верхом.

— Стой. Это Иван Катра. Очень кстати, — сказал Иванов, останавливая пролетку. — Добрый день, Катра!

Бай Иван, улыбнувшись, отдал честь по-военному.

— Ты куда? Агитировать? — спросил он.

— Вроде того, — пробормотал Иванов. Потом, нагнувшись и схватив Катру за руку, шепнул ему на ухо — так, чтоб не слышал извозчик:

— Иван, ты мне нужен...

— Знаю, знаю, — ответил тот, бросив многозначительный взгляд сперва на Иванова, потом на Хрисантова, который внимательно его рассматривал.

— Обойдешь все три села, понял? — чуть слышно шепнул Иванов.

Потом, обратившись к товарищу, пробормотал ему что-то по-французски. Хрисантов сердечко пожал Катре руку.

— Знаю, знаю, — произнес Катра, снова бросая многозначительный взгляд на обоих.

Иванов подумал и опять зашептал Катре на ухо:

— Господин Хрисантов. Понял? Я отблагодарю тебя как следует. Только действуй смелей.

— Знаю, знаю, — ответил Иван, на этот раз окидывая многозначительным взглядом одного только Хрисантова.

— На, возьми на расходы, — конфузливо сказал Ивану Хрисантов, порывшись у себя в кармане.

— О, не надо, не надо! — возразил Иван, опуская в карман полученное. — Я для вашей милости и так потружусь... Не надо, не надо...

Такая скромность пленила Хрисантова. Когда Катра остался на значительном расстоянии позади, Иванов, оглянувшись на неторопливо шагающего за ними крестьянина, сказал Хрисантову:

— Славный малый этот Катра! Агитатор по призванию... Прямо для того и родился... В прошлом году, когда меня выбирали, он был просто великолепен... Большое счастье, что мы его встретили. Жаль, не сообразили — посадить бы его на козлы к извозчику, подвезти до села,

— В самом деле, жаль. Прекрасный человек, — подтвердил Хрисантов, тоже взглянув назад.

А в это время Катра говорил себе:

— Теперь ошпилю обоих. Выгодное дельце, черт возьми!

Он уже был агентом противника Хрисантова. Увы!

Наконец, путники подъехали к селу.

— Теперь первым долгом к деду Стоилу. Он мой знакомый и очень influential на селе. У него сын — кмет, — сказал Иванов, когда пролетка въехала в Дермендере.

III

Хрисантов с любопытством разглядывал все вокруг: огороды, дворы, деревья, копны сена во дворах — обычную картину любого села. Несколько попавшихся навстречу крестьян ответили на его приветствия: Хрисантов с самого отъезда из Пловдива не упускал приятного случая поздороваться с каждым встречным крестьянином. Это вежливо и полезно! Кто знает, не решит ли один из этих крестьян своим голосом его участь! Здоровался он и со старухами, любопытно озиравшими приезжих с порогов своих домов. И даже грациозно раскланялся с группой девушек, толпившихся у колодца. Те в ответ громко захохотали. Посреди села путники остановили извозчика и зашли в бакалейную лавку.

— Добрый день, дед Стоил!

— Добро пожаловать, милости просим, — отвечал старик, подавая приезжим свою черную, потрескавшуюся и грязную руку.

Потом достал с полки старую, потертую меховую шапку, в которой было немножко нарезанного табаку пополам с мелким листом и стеблями, и протянул Иванову.

Приведя в движение свои усы, мускулы правой щеки и обе губы, Иванов скорчил в сторону Хрисантова довольно выразительную кислую гримасу.

— Спасибо, дед Стоил, — сказал он. — А где твой сын? Мне бы надо повидать его.

— Вчера на мельнице был, только вернулся.

— Позволь познакомить тебя с господином Хрисантовым.

— О-о, добро пожаловать, сударь! — воскликнул дед Стоил, крепко пожимая руку покрасневшему до ушей Хрисантову. — Просим покорно... Мне и сын о вашей милости рассказывал — господин Хрисантов, так ведь? Да и разговор был у нас: хоть приехал бы, дескать, чтоб нам на него поглядеть, познакомиться... Фамилию его сколько раз слышали, а самого не видали...

Дед Стоил смотрел на Хрисантова с ласковой улыбкой.

— Он ваш депутат, он будет вам по нраву, а о других и не слушайте. Я нарочно приехал вам его рекомендовать... Как вы ко мне относитесь, так и к нему относиться должны... — не терпящим возражения тоном объявил Иванов, которому, помимо дружбы, дед Стоил вверил семьдесят лир под проценты.

Потом, прикинув к уху старика, стал что-то шептать ему, косясь одним глазом на Хрисантова.

Хрисантов потихоньку выбрался из лавки, чтобы товарищу было удобней рекомендовать его; ему было неловко при этом присутствовать. Хрисантов походил на застенчивого парня, который собирается посвататься к понравившейся ему девушке, но предпочитает, чтобы его достоинства расписывали не при нем и даже, если возможно, чтобы кто-то другой поухаживал за нею в его интересах. Но застенчивость — совсем не тот посредник, который способен открыть человеку доступ к сердцу женщины, а еще того меньше — двери в болгарскую палату депутатов.

Вдруг к нему поспешно подошел какой-то незнакомец. Громко воскликнув: «Добро пожаловать, господин!», он крепко сжал руку Хрисантова и впился в него взглядом.

Хрисантов самым учтивым образом ответил на приветствие незнакомца, полугородская одежда которого говорила о том, что это один из местных тузов, и со своей стороны горячо пожал ему руку.

— Как поживаете? — спросил Хрисантов.

— Слава богу.

— Все ли в порядке? Как здоровье?

— Благодарение богу. Милости просим в дом.

— Спасибо, но со мной товарищ, — ответил Хрисантов, оглядываясь и ища глазами Иванова.

Однако, подумав, что будет полезно выказать себя более общительным, он продолжал разговор.

— Какое красивое ваше село, — промолвил он, не зная, что сказать незнакомцу.

Тот, не выпуская руки Хрисантова и неотрывно глядя ему в глаза, ничего не ответил. Он только как-то чудно улыбался.

Хрисантов потянул свою руку, давая понять, что хочет кончить бессловесный диалог.

Незнакомец не выпустил ее, продолжая все так же глядеть и улыбаться.

Хрисантов, удивленный, растерянно посмотрел на него. Он не знал, как отделаться от странной любезности почтенного избирателя. Он боялся обидеть избирателя, кто бы тот ни был.

Подумав, что избиратель держит его руку, чтоб обязательно заполучить его к себе домой, он сказал, бессознательно стараясь вырваться:

— Спасибо, спасибо, я зайду...

Избиратель ничего не ответил, а продолжал улыбаться и тискать руку Хрисантова.

Вокруг собралась кучка зрителей, с удовольствием любующихся Хрисантовым и его избирателем. Лица у всех были веселые, слышались даже смешки. Положение становилось неловким. Хрисантов начал терять терпение.

При мысли о том, как бы все избиратели не вздумали выразить свои чувства таким способом, его охватил страх.

— Господин Хрисантов! — позвал Иванов.

Воспользовавшись удобным случаем, Хрисантов освободился от не в меру любезного избирателя.

— О господин, о господин! — воскликнул тот, кидаясь жать руку Иванову.

Но Иванов, быстро попятившись, уклонился. Отведя Хрисантова в сторону, он шепотом спросил:

— Что вы тут делали с его милостью?

— Жали друг другу руки. Он звал меня к себе «гости. Черт бы его побрал! Как он руку мне тискал, как смотрел на меня!

Иванов с печальной улыбкой промолвил:

— Хороший был человек. А теперь помешанный. Две недели тому назад сошел с ума!

Хрисантов прибавил шагу, чувствуя, что сумасшедший идет за ними.

В это время показался человек в грубошерстных брюках, с маленьким

лицом и черными глазами, очень высокий, очень тонкий, очень сухопарый. Он благоговейно приблизился к Иванову, поклонился ему с удивленной улыбкой и подал руку.

Покровительственно поздоровавшись с ним, Иванов представил его Хрисантову как деревенского псаломщика и в то же время помощника учителя. При этом он громко назвал его фамилию, а затем, понизив голос, пояснил:

— Самый верный из моих людей здесь...

Псаломщик снял шляпу, поклонился еще ниже и с блаженной улыбкой обратился к Хрисантову:

— О, ваше благородие, я вас знаю, знаю. Сколько раз слышал о вашем благородии, что вы трудитесь для блага нашего болгарского народа и всей Болгарии!

Хрисантов посмотрел на него с изумлением. «Уж не налетел ли я теперь на такого, который вот-вот сойдет с ума?» — подумал он.

А псаломщик чрезвычайно любезно улыбался, продолжая отвешивать учтивые поклоны.

— Как поживаете, господин псаломщик? Как вам здесь нравится? — спросил Хрисантов.

Музыкословесный улыбнулся еще любезней.

— Слава богу... Я вас знаю, ваше благородие. И в газетах и в «Марице»³⁶ — мы ее аккуратно получаем — о вашем благородии читал... о том, что вы трудитесь для нашего отечества, Болгарии, с усердием и просвещением, как надлежит, — бормотал музыкословесный, стараясь выразить свое восхищение Хрисантовым, фамилию которого он встречал в газете «Марица».

Хрисантов — видный писатель, чье имя часто мелькало в печати, — понял, что в лице псаломщика он имеет горячего поклонника. В другое время он посмеялся бы над подобным благоговением, но тут принял его благодушно, серьезно и с удовлетворением.

— Как дела у вас в школе? — спросил он.

— Радуюсь, радуюсь, ваше благородие, что удостоился видеть ваше благородие... Сделайте милость, зайдите в школу; побеседуем там с вашим благородием о народных делах, как надлежит по качеству вашему как депутата нашей деревни...

Хрисантов поглядел на него растерянно.

— Как это — депутата?

Музыкословесный многозначительно взглянул на Хрисантова и, подмигнув раза два, промолвил:

— Я знаю, знаю... ваше благородие. Дело сделано... Прошу покорно извинения, ваше благородие, но для вашей милости... да, да, все сделано: вас выберут!

Тут подошел Иванов, окончивший разговор с кем-то из присутствующих.

Псаломщик обратился к нему:

— Ваше благородие, ведь для их благородия дело сделано, правда?

— Все зависит от вас, от ваших хлопот.

³⁶ «Марица» — авторитетная консервативная газета, выходившая в Пловдиве в 1878–1886 гг., отражала взгляды сторонников воссоединения Восточной Румелии и Болгарского княжества.

— Да, да. Я говорил с батюшкой; он такой патриот, к тому же земляк ваш, он очень желает видеть ваше благородие, и тоже иногда читает «Марицу». Пойдемте, если угодно, — сказал псаломщик Хрисантову.

— Пойдем в школу, — сказал Иванов. — И позовем туда батюшку, кмета — он, наверно, теперь дома — и других, кто поименитей.

В это время опять появился откуда-то умалишенный избиратель, порывисто схватил Хрисантова за руку и впился в него взглядом. Хрисантов выдернул свою руку с содроганием, какое бывает, когда наступишь на лягушку.

Но учтивый псаломщик решил познакомить их:

— Это Стоян Марчов, ваше благородие, наш почтенный собрат, из нашей деревни, но теперь блаженный... Он очень рад вам.

— Ладно, ладно, идем в школу, — с досадой перебил Иванов и потащил Хрисантова дальше, во избежание более близкого знакомства с блаженным.

— Прощайте, прощайте, прощайте! Эх, прощайте, братцы! — громко напутствовал их любезный помешанный.

Видя, что гости направляются в школу, музыкословесный побежал вперед, потом остановился, вернулся к Хрисантову и шепнул ему:

— На мой счет будьте уверены: я все сделаю. Оставьте мне бюллетени, я их заполню. Кмет хороший человек, а батюшка — ваш земляк... Прошу покорно.

И опять побежал вперед.

Тут навстречу им вышел священник. Это был человек лет сорока, черноглазый, сухощавый, с желтым лицом и желтыми белками, будто он страдал желтухой. Левое ухо его было заткнуто большим куском ваты, высовывающимся наружу, словно любопытствуя посмотреть, что делается на дворе...

Музыкословесный подбежал, схватил его за руку и подвел к Иванову и Хрисантову:

— Батюшка, имею честь: его высокоблагородие болгарский просветитель и жертвователь народу своему, господин Хрисантов, ваш земляк.

Это означало: честь имею познакомить вас с господином Хрисантовым.

Священник несколько раз усердно кивнул головой и подал руку.

— Как поживаете, батюшка? В добром ли здоровье? — осведомился Хрисантов, мельком взглянув на что-то огромное, белое, украшающее левое ухо славного священнослужителя.

Тот улыбнулся.

— Благодарю, благодарю, ваше превосходительство! — И он вытаращил свои желтые глаза, в которых застыло какое-то испуганное выражение.

— Господин псаломщик сказал мне, что мы земляки. Это правда?

— Да, ваше благородие, — вмешался псаломщик, — они тут два года без трех месяцев и любят вас, ваше благородие!

Хрисантов, ожидая другого ответа, продолжал вопросительно смотреть на священника.

Но тот только кивнул головой.

— Вы из какого семейства в нашем селе? — спросил Хрисантов

интересного собеседника.

Тот опять кивнул и промолвил:

— Да, да, здесь, здесь.

И засунул вату поглубже в ухо.

— У него ухо болит, ваше благородие... оттого и вату носит, — объяснил псаломщик и прибавил, понизив голос: — Весьма достойный священнослужитель.

— Mon cher, mais qu'est ce que vous parlez avec ce bonhomme le prêtre,³⁷ — со смехом спросил Иванов.

— Mois je n'en sais rien, — пожал плечами, ответил Хрисантов. — Il me sembl très bête.³⁸

— Туговат на ухо, — шепнул ему Иванов.

— Что?

— Глухой, — прибавил Иванов вслух. — Говори ему громче.

Хрисантов поморщился.

— Только что — тот, сумасшедший... Теперь глухой... А этот льстивый псаломщик! — сказал он с горькой усмешкой и шепотом прибавил: — Да тут с одними идиотами приходится иметь дело!

— Это — интеллигенция Дермендере, — многозначительно шепнул Иванов в ответ.

IV

Войдя со священником и псаломщиком в школу, приезжие нашли в классной комнате несколько крестьян, которые, увидев господ из Пловдива, сняли шапки и протянули руки — здороваться.

Псаломщик представил их.

Один был кмет — белокурый парень с довольно умным лицом; другой — учитель, с длинными, нестриженными волосами; остальные — люди не должностные, но именитые. Комната была совершенно пустая, с разбитыми стеклами и одним-единственным украшением — портретом Алеко Богориди³⁹. Атмосферу наполнял запах чеснока.

Разговор сразу пошел о выборах. Иванов как лицо, непосредственно не заинтересованное, после нескольких патриотических фраз авторитетным тоном рекомендовал избрать в депутаты господина Хрисантова — кандидата, которым они будут гордиться, и т. д.

Все обнаружили полное единодушие, заулыбались Хрисантову многозначительно, дружелюбно, сочувственно.

— Знаю, знаю, — сказал учитель. — Кто же не знает господина Хрисантова?

— Наш, наш он — господин Хрисантов, — пробормотал один крестьянин и громко высморкался.

Кмет тоже дал одобрительный отзыв.

— Его благородие — человек, известный всей Болгарии как просветитель и доброжелатель болгарский. Мы его выберем, потому — его

37 О чем ты разговариваешь с этим чудаком священником, милый? (франц.)

38 Сам не знаю... он, кажется, очень глуп (франц.)

39 Алеко Богориди (Алеко-паша) — огречившийся болгарин, турецкий дипломат и крупный чиновник; был генерал-губернатором Восточной Румелии с 1879 по 1884 г.

благородие... да! — сказал музыкословесный, ослабившись.

Священник взглянул на Хрисантова своими желтыми глазами и грациозно покачал головой. Это означало, что он согласен со всеми.

Все эти знаки сочувствия ободрили Хрисантова. Он понял, что для него тут уже энергично поработали. И, обратившись к избирателям, сказал:

— Господа, благодарю вас за сочувствие и доверие, с которыми вы меня встречаете. Мне нет надобности сулить вам золотые горы: я буду работать, сколько хватит сил, в интересах страны и, в частности, в ваших. Поведение мое покажет, достоин ли я вашего доверия.

Хрисантов забыл урок Иванова.

Это заставило Иванова недовольно нахмуриться и подтолкнуть товарища локтем, чтобы тот прервал речь, грозившую обеспечить ему верный провал на выборах.

И тотчас же сам взял слово:

— А как ваша тяжба с селом Марковым из-за выгона? Эти черти марковцы воображают, что это их вотчина... Когда мы приедем в Пловдив, понимаете?.. Можете на нас положиться... Ваше вашим и останется!

И он подмигнул кмету.

Тот просиял.

Священник три раза кивнул: он ничего не слышал.

— Премного вам благодарны... Только мы просили бы вас поскорей замолвить слово в суде, а то на следующее воскресенье нас туда вызывают: просим заступиться за нас, сказать председателю, что мы правы.

— Говорю вам; можете на нас положиться.

— Докажите в суде, — продолжал кмет, — потому ведь на этом выгоне — на нем наша скотина пасется; а кругом камень один, и нет у нас другого пастбища.

Такое же пожелание высказали и остальные крестьяне.

— Считайте, что вы выиграли! — повторил Иванов.

Кмет удовлетворенно кивнул головой и, бросив на Хрисантова дружеский взгляд, промолвил:

— А насчет господина Христианова не беспокойтесь... (Хрисантов с удивлением отметил, что большинство крестьян называет его так.) Господин Христианов — наш, мы его выберем... Это наше дело. Кто может нам приказывать, сказать нам: выбирайте того или этого?

— Никто!

— Кого мы выберем, тот и будет выборный наш. О господине Христианове не беспокойтесь...

Священник, видимо, понял, о чем идет речь. Он улыбнулся Хрисантову и открыл рот, чтобы что-то сказать, однако ничего не сказал. Но улыбка не сошла с его губ.

— Вот и учитель. Пускай скажет: не встречал ли он в «Марице» фамилию его благородия? — произнес псаломщик, указывая на учителя.

Учитель утвердительно кивнул.

— Кто же не знает господина Хрисантова?

— И вы, господин учитель, действуйте в пользу господина Хрисантова. Вы имеете большое влияние. Какое жалованье получаете вы здесь?

— Маленькое; в прошлом году получал пятьдесят две лиры, а в нынешнем убавили до сорока восьми.

— Мы бедные, — скромно промолвил кмет, сложивши вместе руки.

Иванов, после небольшого раздумья, сказал:

— Мы поговорим о вас с директором народного просвещения. Ваши труды и достоинства, которые мне хорошо известны, заслуживают большего... Будьте покойны... Сами вы откуда?

— Из села Н., — краснея, ответил учитель.

— Отлично... Но и вы со своей стороны потрудитесь!

— Это наша обязанность, — промолвил учитель.

Хрисантов отвел глаза от окна, в которое смотрел некоторое время, и сказал:

— Тут у вас кругом голые бугры. Правительство до сих пор еще ничего не сделало для лесоводства в стране... Первый мой долг в Областном собрании, господин кмет, громко настаивать на облесении этих пустынных и голых косогоров... Земля, лишенная леса, рано или поздно обречена на гибель.

Неожиданно напав на столь счастливую мысль, Хрисантов самодовольно и не без гордости взглянул на Иванова, словно хотел этим взглядом сказать ему:

— Вот видишь, и я умею становиться на практическую почву!

В самом деле, Хрисантов говорил вполне искренно.

Кмет и другие именитые люди села стали перешептываться. Видимо, вопрос, поднятый их кандидатом, живо интересовал и их.

— Хорошо, что напомнили, господин Хрисантов, — сказал кмет. — Об этом тоже будем просить вас. Ваша милость сами видите: лесу у нас поблизости нету... Турки, как были здесь, все повырубили.

— Я сам напомнил вам об этом, и первой моей заботой будут леса... Леса, леса нужны нам как воздух! — пылко воскликнул Хрисантов.

— Дай тебе бог здоровья, коли ты так понимаешь... А ежели вы спросите, где мы дрова берем, — так мы их теперь в Парговском лесу рубим... До сих пор кое-как сходило с рук, но скоро не миновать беды.

— Расскажите! — живо заинтересовался Хрисантов.

Кмет длинно и обстоятельно рассказал в чем дело. Парговский лес был казенным, но после Освобождения⁴⁰ село стало снабжаться дровами из этого леса. Первый лесник не решался трогать дермендеревцев, но, к сожалению, не мог он отгонять и крестьян села Ж., которые хозяйничали в лесу, как у себя дома, считая его своей собственностью... Так что Парговский лес усиленно вырубался, и от трехсот увратов первоначальной его площади осталось едва полсотни. Но хуже всего то, что назначили нового сторожа, страшно злого, который дермендеревцам всячески мешает, а крестьянам села Ж. позволяет поступать как им вздумается, и те так усердно взялись за дело, что скоро весь лес вырубят! Тогда дермендеревцам придется ходить за дровами в горы, тратя на это три-четыре часа в один конец. Поэтому кмет просил Хрисантова содействовать тому, чтобы селу Ж. впредь было воспрещено самоуправно рубить лес, столь необходимый жителям Дермендере.

⁴⁰ ...после Освобождения — то есть после русско-турецкой войны 1877–1878 гг., уничтожившей турецкое владычество в Болгарии.

Хрисантов выслушал все это с величайшим недоумением. Вместо ответа на просьбу он спросил кмета:

— Вы говорите, это — казенный лес?

— Да, государственный, — в один голос ответили несколько крестьян. — Но раньше нам, слава богу, никто ни слова не говорил.

— Прежний сторож только раз ездил в Пловдив на нас жаловаться, да вернулся несолоно хлебавши и с тех пор больше нам не препятствовал, — прибавил один.

— Потому бывший наш депутат уgomонил его, — пояснил кмет.

Хрисантов помолчал, нахмурившись.

— А по какому праву крестьяне села Ж. рубят казенный лес? — спросил он.

— Им ихний депутат дал волю — так они знать ничего не хотят.

— А мы на вашу милость надеемся, господин Хрисантов, — степенно заключил кмет. — Нам без того лесу остаться — лучше совсем выселиться!

— Какой же собственно помощи ждете вы от меня?

— А вот, как приедешь в Пловдив, устрой, чтобы нынешний лютый лесник убрался подобру-поздорову, чтобы он нам не мешал, а жителям Ж. не позволял дрова рубить. Потому у них никаких прав на этот лес нету...

После этого заявления крестьяне стали ждать, что скажет кандидат.

Хрисантов ничего не ответил. Отведя Иванова в сторону, он тихо сказал ему:

— Это же возмутительное дело! Что сказать им?

— Обещай сделать, что просят.

— Но это будет бессовестно!

— Иначе все наши хлопоты впустую... Ты ведь им сам сейчас сказал, что будешь защищать их крестьянские интересы... А какой же у деревни более важный, более жизненный интерес, чем этот?

— Но разве им не ясно, что если рубить, не сажая, земля превратится в бесплодную пустыню? Я понимаю — при турках... Но теперь? Народный депутат не имеет права поощрять такое безбожное опустошение.

Иванов насмешливо улыбнулся.

— Так поступают в большинстве случаев — и с государственными лесами и с общинными. У нас лес — разрыв-трава, с помощью которой открывают двери палаты представителей... Твой соперник тоже пообещает им — если не обещал уже — свободную порубку этого леса...

Хрисантов поглядел на Иванова растерянно.

— Но это — преступление против будущего нашей родины! — воскликнул он в порыве негодования.

— Что ты можешь сделать? Один в поле не воин.

— Значит, *après moi le deluge*?⁴¹

— Брось сентиментальности, Хрисантов! — сердито промолвил Иванов и, быстро подойдя к кмету с крестьянами, решительно и торжественно объявил им: — Мы думали о том, как подступиться к этому делу. Вам развяжут руки, вы будете хозяевами леса. Рубите себе на здоровье.

Растроганные крестьяне благодарили.

— Я вижу, школа у вас без потолка, господин кмет? — заметил Иванов,

41 После меня хоть потоп (франц.)

окидывая взглядом помещение.

— Мы бедняки, — поспешно отозвался кмет.

— Сиречь неимущие, — глубокомысленно подтвердил псаломщик.

— Мы с господином Хрисантовым подумаем, что сделать в Пловдиве, чтоб вам помочь... Сорока лир вам довольно?

— Довольно, довольно, спасибо! — хором ответили обрадованные крестьяне.

— Согласно вашему распоряжению, как прикажете, — ответил и псаломщик, хорошенько не разобравший, что сказал Иванов.

Священник кивнул головой в знак того, что согласен с мнением псаломщика.

Иванов передал одному из присутствующих, сидевшему все время молча, забившись в угол, пачку листовок — это были воззвания партии и памфлеты против кандидата конкурирующей партии — и спросил торжественно:

— Как будто договорились?

— Договорились, договорились, — подтвердили все.

— Вы наши, а мы ваши, — прибавил кмет.

Хрисантов с Ивановым взяли свои трости и направились к выходу. Их собеседники с веселым гамом высыпали за ними во двор. Лица кмета и крестьян выражали полное удовольствие. Хрисантов произвел на всех очень хорошее впечатление; престиж его рос с каждой минутой; к тому же и псаломщик все время вел неутомимую агитацию: прикинув к уху то одного, то другого односельчанина, он с многозначительными взглядами и энергичной жестикуляцией объяснял им, какими они должны считать себя счастливыми, что у них теперь такой достойный и славный депутат, о котором пишут даже в «Марице»!

Хрисантов был теперь тоже очень доволен и уверен в успехе. Неприятное чувство, возникшее было в связи с «лесным вопросом», рассеялось; он утешил себя мыслью, что ценой этой маленькой уступки невежественному требованию крестьян ему удалось в значительной мере обеспечить себе депутатский мандат, обладая которым, он получит возможность оказать всей стране много других, более значительных услуг. В общем все были счастливы.

Хрисантов направился к воротам, но вдруг увидел, что Иванов повернул и пошел в другую сторону: это его удивило,

— Господин Хрисантов, пойдёмте посмотрим церковку, — с улыбкой сказал Иванов.

Хрисантов последовал за ним. Остальные — тоже.

Церковь находилась в нескольких шагах от школы, тут же во дворе.

У входа уже стоял музыкословесный (он был также пономарь), встречая высоких гостей поклонами. Идея Иванова была неплохая; Хрисантов в душе признал это, радуясь догадливости друга: кандидат должен всем интересоваться, все видеть, все знать, все посетить в том месте, которое хочет представлять в палате; со стороны кандидата было бы ошибкой не заглянуть в божий храм, особенно ежели фамилия этого кандидата — Христианов.

Церковь была ветхая, тесная, темная; иконы — очень грубого письма. Оба гостя сняли шляпы и перекрестились. Хрисантов озирался по

сторонам, делая вид, будто очень интересуется; ему страшно хотелось сказать крестьянам что-нибудь приятное; на языке вертелись слова: «Прекрасная церковка!»; но он их так и не произнес, потому что в это мгновение внимание его привлек Иванов, прикладывающийся к иконам перед алтарем с благочестием, которого Хрисантов никогда в нем не подозревал. На губах Хрисантова промелькнула ироническая улыбка, но он, ни минуты не колеблясь, тотчас же оказался перед иконами, чтобы последовать примеру приятеля... Внутренне он возмущался этим ненужным агитационным приемом Иванова, вынудившим и его напустить на себя притворную набожность: в этот момент он вспомнил, что вот уж двадцать лет не целовал икон! Унизительной и нечестной показалась ему эта комедия, которая, пожалуй, не введет в заблуждение крестьян, достаточно индифферентных, а только вызовет у них лукавую усмешку. И он с досадой и отвращением стал прислонять свой рот к жирной грязи икон, оставленной на них за три столетия многими тысячами потрескавшихся, невымытых и прыщавых губ... Будь он хладнокровней, он держал бы свои губы на почтительном расстоянии от святых ликов, как хитро поступал его богобоязненный друг.

Кончив прикладываться, Хрисантов метнул в Иванова несколько полных скрытого гнева взглядов. Но тотчас вынужден был отчасти признать правоту его: у церковных дверей уже толпились крестьяне, желающие поглядеть на своего депутата, господина Христианова. И очень хорошо, что они видели, какой он ревностный христианин, — во всяком случае вреда тут нет.

Положив на свечной ящик по серебряной меджидие⁴², гости вышли во двор и стали сердечно жать руки любопытным избирателям.

V

Хрисантов вздохнул с облегчением. Оба направились к пролетке, ждавшей их у ворот. Пора было ехать домой. Иванов, по своему обыкновению, и тут взял на себя инициативу: простился с кметом и с крестьянами, потом с псаломщиком, которому сунул в руку что-то белое, блестящее, вызвавшее на лице его блаженную улыбку, потом со священником, сделав вид, что целует его морщинистую костлявую и когтистую руку. Не успел Хрисантов с непобедимым содроганием облобызать святую десницу священника, как появились двое раздумяившихся крестьян, один из которых поднес Хрисантову фляжку. Что это?

— Изволь выкушать, господин! — воскликнул крестьянин. — Мы пришли тебя на свадьбу к чорбаджии звать. Ведь ваша милость нашим депутатом будете!

— На здоровье! — возгласил другой.

Музыкословесный пришел в восторг. Уж коли чорбаджия оказал Хрисантову честь — дело в шляпе. Очень были обрадованы и кмет и остальные крестьяне: чорбаджи Нено был человек влиятельный. Вслед за своим товарищем Иванов тоже взял фляжку: вставши одной ногой на подножку пролетки, он произнес пламенную речь в честь избирателей и их избранника и выпил за здоровье чорбаджи Нено.

⁴² Меджидие — старая турецкая серебряная монета достоинством в 20 грошей.

— Айда на свадьбу! — в восторге воскликнул кмет.

— Попляшем у него! — закричали другие.

Музыкословесный ничего не сказал; в порыве энтузиазма он даже лишился дара речи. Только лицо его расплылось в широкой улыбке, отчего превратилось в неподвижную, застывшую, тупую карнавальную маску.

— Пускай видит, пускай знает весь народ, за кого бюллетень опускать будет! — кричали третьи.

Батюшка тоже что-то кричал.

Хрисантову, спешившему выбраться вон из села, на волю, так как длительное притворство и стеснение сильно угнетали его, вовсе не хотелось фигурировать еще в качестве свадебного гостя у чорбаджи Нено. Но об отказе не могло быть и речи. Кроме того, приходилось учитывать психологический момент: было бы непростительно упускать возможность заручиться дружбой одного из знатных людей села, а заодно — закрепить новыми радостными излияниями и возлияниями союз, уже столь счастливо заключенный с жителями Дермендере. Друзья храбро отправились на свадьбу, предшествуемые музыкословесным с его застывшей улыбкой. Он побежал предупредить хозяев о высоком посещении и подготовить славный прием обоим гостям. Вскоре визг волынки возвестил о том, что дом чорбаджии недалеко. Когда они к нему приблизились, первым, кто бросился им в глаза, был опять-таки музыкословесный, сопровождаемый толпой ребятишек, среди которых он выглядел тамбурмажором⁴³; рядом шел старый, толстый крестьянин, в шапке набекрень, который, энергично размахивая руками и указывая на Хрисантова, что-то рассказывал. Этот крестьянин и был чорбаджия. Круглое лицо его было красно как рак, а заплывшие глазки быстро-быстро моргали. Последние три шага он пробежал, после чего с отеческой нежностью обнял Хрисантова, вlepив ему в губы несколько мокрых поцелуев, да еще несколько (так как Хрисантов невольно отшатнулся) запечатлел у него на щеке и ухе.

— Не бойтесь, ваше благородие. Чорбаджия — человек достойный, — ободрил гостя псаломщик.

Они прошли сквозь хоровод, который расступился, давая им дорогу, и сели на скамью под навесом. Туда сразу набилось много гостей, поднялся гомон, слышались возгласы, приветствия. Все желали познакомиться с господином Христиановым, чья слава прошла уже по всему селу. Привели и новобрачную — поцеловать гостям руку. Радостный гам усиливался, полные любви взгляды были устремлены на кандидата, который не знал, как отвечать на эти почести. Он машинально жал каждую протянутую ему руку; брал каждый подносимый ему стакан; выслушивал каждую возглашавшуюся в честь него здравицу... Он сознавал только одно: что тут ему устроен триумф, упоительный, ошеломляющий; на всех лицах видел он теперь такую же торжественную, ликующую улыбку, что застыла на лице псаломщика. Вероятно, она была вызвана столько же посещением Хрисантова, сколько и свадебным угощением: вино подносили непрерывно то в мисках, то в чашах, и здравицам не было конца.

Наконец, стали подыматься. Раздался общий крик:

— Нет, еще рано!

43 Тамбурмажор (франц.) — главный полковой барабанщик, обычно весьма высокого роста.

— Попляшем!

— Хоро, хоро!

Хрисантову вовсе не хочется плясать; у него и так кружится голова. Но избиратели беспощадны:

— Хоро, хоро!

— У нас это закон!

Беспощаден и Иванов: он тащит смущенного кандидата в круг.

— Надо считаться с местными обычаями, особенно когда хочешь быть выбранным в Областное собрание, — шепчет он Хрисантову. Тот скрежещет зубами, но ничего не поделаешь. Он не умеет плясать, не плясал никогда в жизни, но надо плясать, как давеча надо было со всеми целоваться, а только что надо было пить. Он проходит два круга, зажатый между Ивановым и глухим священником, отечески поучающим его, как ступать; но, завидев новые миски, обращается в бегство, спасаясь в пролетку. Вся свадьба окружает экипаж гостей; миски и там нагоняют страсготерпца Хрисантова, осаждают его. Он для виду отхлебывает из каждой и пожимает множество рук, скрещивающихся и переплетающихся вокруг него и его спутника. В массе раскрасневшихся незнакомых лиц, то показываясь, то исчезая, мелькает лицо псаломщика; Хрисантов понимает, что псаломщик ведет отчаянную агитацию, стараясь, чтобы как можно больше крестьян жало ему руку, окружая вящей славой его триумфальную колесницу. Вдруг перед ним — новая опасность: к пролетке бежит чорбаджия с оцетинившимися, жаждущими прощальных поцелуев усами. И прежде чем он успевает сообразить, что предпринять, чтобы увильнуть от них, страшные усы и толстые сочные губы, успевшие принять уже двадцатую ванну в пиршественной чаше, предстают перед Хрисантовым во всем своем великолепии. Инстинктивным движением, подсказанным неотвратимой опасностью, Хрисантов отшатывается и прячет лицо за спиной Иванова, чьим губам достается честь встретить нападение любвеобильных усов. К счастью, в этот момент возница стегает лошадей и трогает, не обращая внимания на жесты и крики чорбаджии, приказывающего ему подождать, чтоб он, чорбаджия, мог проститься с кандидатом... Иванов и Хрисантов машут провожающим шляпами, посылая последнее прости...

— С этой минуты можешь считать, что Дермендере у тебя в кармане... такого восторга я еще не видывал, — промолвил Иванов, стирая белым батистом со своей физиономии мокрые следы чорбаджийских лобзаний.

Хрисантов ничего не ответил. У него не было времени подводить итоги: он спешил отдышаться, словно вырвался из застенка. В голове его царил полная неразбериха и растерянность. Все испытанное, перечувствованное, выстраданное им за короткое время в этом селе лишало его способности ясно мыслить; все кружилось и клубилось у него в мозгу огромной бесформенной тучей, в которой мелькали тянущиеся к его руке корявые мужицкие руки, фигура помешанного, улыбка псаломщика, чесночный запах, грязные иконы, заткнутое ватой ухо, миски с вином, выкупанные в вине растопорщенные усы и бесчисленное количество данных и принятых за день поцелуев. Настоящая галлюцинация!

Когда пролетка, отъехав на некоторое расстояние, заворачивала за угол, Хрисантов обернулся: у ворот чорбаджии стояла толпа крестьян,

окруживших высокую фигуру музыкословесного, который, энергично жестикулируя, что-то им говорил, — вероятно, расхваливал Хрисантова и доказывал необходимость его избрания.

Так приятно, успешно и торжественно окончилось посещение села Дермендере — первый этап этой знаменитой предвыборной поездки.

Теперь друзья направились в соседнее село Марково — на расстоянии часа езды, — где им предстояла встреча со свирепым американцем.

* * *

Хрисантов вернулся из предвыборной поездки совсем подавленный. Он не представлял себе всей отвратительности подобного подвига; никогда не чувствовал он себя так низко павшим в своих собственных глазах, принужденным поминутно насиловать свою подлинную природу, душу свою — ради того, чтобы любой ценой пробраться в Хамам.

Он прервал поездку и махнул рукой на все.

Пловдив, 1890 г.

Белимелец (из жизни разбойника)

Село Бели-Мел стоит на голом холме, примерно в часе ходьбы к северу от Чипровцев, в бывшей Берковской округе. Южную часть его пересекает река Огоста, берущая свое начало неподалеку, в Стара-планине, как раз на склонах Браткова-верха. Как мы уже сказали, холм, на котором стоит село Бели-Мел, совершенно гол; так же гола и его северная окрестность. Более привлекателен вид на юг. Волнистые предгорья и отроги Стара-планины покрыты по большей части густыми зелеными пущами-заповедами, как их называют жители Берковской округи; небольшие зеленые долины, прохладные ущелья, густые леса, веселые речки и ручьи оживляют этот горный край, богатый вином, малиной и мрамором... Для туриста, поэта, любителя природы, особенно болгарской природы, нет ничего приятнее поездки верхом по дивному безлюдью этого лабиринта красоты и благодати божьей! То окажешься в каком-нибудь глухом лесу, предлагающем тебе лишь узенькую тропинку, менее шага в ширину, и населенном гайдуцкими преданиями — в турецкие времена этот дикий край славился своими гайдуками; то попадешь в очаровательную живописную долину, прямо аркадскую идиллию⁴⁴; то, переехав ручей, опять углубишься в густой лес, где приходится, бросив поводья, обеими руками разводить повисшие ветви, чтобы можно было свободно поднять голову; или остановишься послушать соловьев, гремящих на весь лес, веселя глухое безлюдье; то блеснет перед тобой шумная Огоста, и ты едешь восхищенный вдоль извилистых берегов ее, пока над зелеными верхушками не мелькнет, словно какая-нибудь альпийская вилла, маленький уединенный монастырь, который приветливо глядит на тебя,

⁴⁴ ...попадешь в... Аркадскую идиллию. — Имеется в виду Аркадия в древней Греции, прославленная в литературе как идиллическая страна чарующих пейзажей и счастливой жизни на лоне природы ее обитателей — пастухов.

приглашая в свои гостеприимные недра — понаслаждаться полчаса царящим в его стенах безмятежным покоем.

Это — Чипровский монастырь святого Ивана Рильского. Тыходишь. Тебя встречает почтенный старец игумен; после первых приветствий он торопится ввести тебя в церковку, где нужно, перекрестившись, опустить на пангарь свою лепту; потом он с благоговейным усердием покажет тебе кое-какие иконы с выколотыми глазами, пояснив, что это богохульство совершил в сербско-турецкую войну страшный Пашаджик⁴⁵; после этого он выведет тебя из церкви и покажет комнатку вроде часовенки. Там у стены навалены человеческие головы (черепа), которые страшно глядят на тебя пустыми глазницами. Это — наши мученики, убитые в какой-то войне турок с австрийцами не то в прошлом, не то в позапрошлом веке; тут все черепа богобоязненных христиан, но некоторые принадлежали болгарским разбойникам, страшным удальцам-мстителям, павшим от турецкой пули и причисленным благочестивой братией монастыря к лику святых мучеников за веру... Вы думаете, что этим исчерпываются исторические реликвии святой обители? Нет, из монастыря старец ведет вас вниз, к маленькой поляне на берегу пенящейся Огосты; он рассказывает вам, что на этой полянке Кекеров⁴⁶ установил свою пушку, чтоб охранять ведущую к монастырю теснину от турецкого войска; оттого ли, что пушка была плоха, или пушкарь не искусен, только при первом и единственном выстреле граната не перелетела реки, иными словами — упала в нескольких шагах от жерла орудия.

Тут старец со слезами на глазах сообщит о том, что последовало за отступлением Кекерова с его отрядом, и о тех ужасах, которых он, игумен, был свидетелем!.. Уши твои слушают старца, а глаза и душа в восхищении бродят по дивным окрестностям...

Само собою понятно, что совершать подобные прогулки, любоваться этими прекрасными уголками в горах Западной Болгарии турист получил возможность только после освобождения; раньше места эти представляли серьезную опасность для самостоятельного путешественника, рискнувшего отклониться от дороги в поисках уединения и свежей поэзии первобытной природы. В этих краях все время рыскали гайдуцкие дружины, нагоняя страх на каждого, кто рисковал ездить здесь по своим делам, будь то купец, мещанин или кто другой. Спешу добавить, что разбойники эти были не турки: турецкие находились в городах, в своих домах и под защитой турецкой власти. А те, что искали убежища в лесной чаще и горном безлюдии, были болгары. Этот уголок Болгарии был, можно сказать, последним убежищем этих лесных пташек.

* * *

Но вернемся в Бели-Мел.

45 Высокопоставленный турок из Берковицы, вставший в 1876 г., во время сербской войны, во главе банды башибузуков и опустошивший Чипровский монастырь. (Прим. автора)

46 Болгарин, майор румынской армии; во время сербско-турецкой войны отправился в Сербию, во главе отряда болгарских добровольцев перешел турецкую границу и проник до самого Чипровского монастыря, но при появлении значительных турецких сил был вынужден с отрядом отступить. (Прим. автора)

В августе 1862 года такая лесная пташка, разбойник из четы Минчовоеводы, белимелец Славчо, или, как его звали, просто «Белимелец», попал в руки турецких запти⁴⁷. Как указывает самое прозвание, он был из Бели-Мела. До того как покинуть село, свой дом и уйти в горы, Славчо был мирным трудолюбивым виноградарем и никому в голову не могло прийти, что этот смиренный белимелец кончит тем, что уйдет в гайдуки. Но судьба играет человеком.

Как-то раз, поспорив с одним родственником из-за какого-то участка пуши, Славчо схватился с ним и, сам не зная как, пырнул его ножом... Скрывшись после этого, он сошелся с дружиной Минчовоеводы, которая уже несколько лет свирепствовала к тех краях. Много зла, много грабежей и убийств было на совести ее удальцов, остававшихся неуловимыми. За месяц перед тем они ограбили почту, везшую из Видина в Софию около ста тысяч грошей казенных денег; трое конвойных были убиты. Но после этой удачи для дружины настали тяжелые дин. Во все стороны были посланы сильные воинские отряды. Накануне описываемых ниже событий ее застигли врасплох близ Влашко-села; троих убили, двоих — в том числе Славчо — взяли в плен, остальные разбежались. Один из пленных, тяжело раненный, умер от побоев, при помощи которых преследователям удалось вырвать показание о том, где зарыта казна: ее закопали где-то вблизи Бели-Мела. Но где именно, этого умирающий сказать не успел.

Ужас объял село при виде десятка запти с ружьями, направленными в спину Славчо, который шел впереди со связанными за спиной руками.

Это было в самом конце августа. Горячий пот, смешиваясь со струйками крови, обливал крепкую шею и обожженное солнцем крупное лицо разбойника. Славчо был великан, каких нередко вскармливал этот край: жилистые руки его, заведенные назад и раз десять скрученные веревкой, обладали как будто сокрушительной силой Самсоновой десницы. Казалось, развяжи их, и он одним махом уложит весь конвой... Вскоре выяснилось, что, пока его вели, он дважды пытался разорвать веревку, но — безуспешно. Кровавые раны на затылке были следами этих попыток: их наносили ему тупой стороной ятаганов всякий раз, как он пытался высвободить локти из веревки и шею из петли. Теперь, убедившись, что все усилия напрасны, он покорился судьбе и послушно шел перед запти, не произнося ни слова и не прося пощады, хотя турки без всякой причины и цели продолжали наносить ему свирепые удары.

Самым кровожадным среди них был Ахмед-ага, онбаши. При входе в село он крикнул:

— Вот оно, волчье логово! Мы его разрушим дотла, чтоб другим неповадно было...

Правда, эту угрозу Ахмед-аги не надо было понимать буквально, но она означала, что в селе, как обычно в таких случаях, начнутся убийства, грабежи, насилия, всякие ужасы.

Улицы опустели.

Когда конвой с арестованным проходил мимо одного плетня, из калитки выскочила простоволосая женщина и душераздирающе завопила:

— Славчо! Славчо!

47 Запти (турец.) — полицейский, жандарм.

Славчо обернулся в ее сторону (это была его жена), посмотрел на нее равнодушно и опять опустил глаза.

Жена продолжала кричать и причитать позади:

— Славчо! Славчо!

Тогда он обернулся и строго сказал ей:

— Молчи, Вылкана!

Вылкана шла за ним; она была как помешанная.

Один запти нагнулся, набрал камней и стал, ругаясь, бросать в нее, как в собаку.

Тогда она с отчаянными воплями убежала к себе во двор.

* * *

К вечеру запти, предводительствуемые Ахмед-агой, под предлогом поисков укрывшихся по домам разбойников и допроса домашних, учинили в селе неслыханный погром. Мы не станем рассказывать о всех их жестокостях и возмутительных делах.

Славчо был белимелец, и это обстоятельство давало им смелость и право вволю насытить свою зверскую мстительность, алчность и животную похоть в несчастном болгарском селе...

Так как было уже поздно и они устали от этой работы, Ахмед-ага решил не ходить в другое, менее надежное село, а переночевать здесь. Они рассчитывали тронуться в путь рано утром, чтобы в тот же день попасть в Берковицу. Дом чорбаджи Недю должен был стать приютом для турок и темницей для пленника. Единственное высокое здание во всем селе, он был обнесен каменной оградой, имел крепкие двери и запирался еще более крепкими замками. К тому же чорбаджи Недю был тогда целиком предан туркам и слыл кровопийцей христиан, каких можно было встретить лишь в те времена.

Ахмед-ага с запти расположились в самой просторной комнате, окна которой могли служить бойницами. Славчо заперли внизу, в подвале, окружив его двойными путами и крепко заперев дверь снаружи. На лестнице поставили часового.

Ночь была ясная, но безлунная. Когда большинство турок захрапело, Ахмед-ага встал, сунул себе за пояс два пистолета и ятаган, взял маленький фонарь и вышел. Прошел через сени, где разгоралась жаровня, спустился вниз по лестнице, пнул ногой полузадремавшего запти, отпер подвал и вошел к пленнику. И оставшиеся наверху и часовой на лестнице знали, что Ахмед-ага, по своему обыкновению, пошел допрашивать разбойника в ночное время. Ахмед-ага был специалист по следственной части: жестокость его возрастала вместе с изобретательностью в истязаниях и пытках, которым он подвергал разбойников болгар, чтобы вырвать у них признания. На этот раз он никого не взял себе в помощники: очевидно, у него были свои соображения.

Славчо стоял, прислонясь к стене, с бессильно поникшей головой; он не мог ни поддерживать ее руками, которые были у него связаны за спиной, ни присесть, так как другой веревкой был привязан под мышки к столбу.

Он вздрогнул, открыл глаза и поглядел сперва удивленно, потом

равнодушно. Наверно, понял, зачем пришел этот свирепый турок, но остался спокоен и опять вперил неподвижный взгляд в землю.

Только на лбу у него вдруг выступил пот. Ахмед-ага, с ятаганом в руке, подошел к Славчо и крикнул:

— Слушай, гяур!

Славчо поднял голову, разогнул свои одеревенелые, ослабевшие ноги. Выпрямившись, гигант оказался на три пяди выше низкорослого Ахмед-аги. Он касался головой потолка. Словно крупный зверь, он, даже крепко связанный, внушал страх своими размерами. Но Ахмед-ага знал: бояться нечего. Глаза его горели зловещим огнем, впиваясь в Славчо, безучастно смотревшего вниз.

— Теперь говори правду! — сказал Ахмед-ага.

Славчо поглядел на него и опять опустил глаза.

— Молчишь, паршивый пес? — сердито закричал турок. — Жаровня разгорается.

Зловещие слова «жаровня разгорается» способны были повергнуть в леденящий ужас даже железную душу. Славчо, как разбойнику, было лучше всех известно, для чего в таких случаях разжигают жаровню. Пот заструился по щекам его, но он молчал.

— Слушай меня! — приказал Ахмед-ага.

Славчо уставился на него.

— Говори, где видинская казна?

— Не знаю.

— Сейчас узнаешь... — сказал Ахмед-ага, ударив тупой стороной ятагана по связанной правой руке Славчо.

Удар был так силен, что ясно послышался сухой стук о локтевую кость. Славчо болезненно сморщился.

Ахмед-ага несколько раз повторял свои расспросы и угрозы, но безуспешно. Разбойник хранил упорное молчание о том, где зарыты деньги. Это привело турка в бешенство. Ему хотелось узнать без свидетелей, где то заветное место: наверно, где-нибудь недалеко.

Но Славчо не говорил, и Ахмед-ага увидел, что надо прибегнуть, по обыкновению, к пыткам. Но тогда придется позвать помощников, которые станут свидетелями неминуемой исповеди Славчо. Он кипел от ярости.

— Говори!

— Не знаю.

Несколько минут Ахмед-ага молчал, обдумывая, с каких истязаний начать.

Вдруг взгляд Славчо оживился, посветлел. Лицо его, до тех пор безжизненное и равнодушно-спокойное по отношению ко всему, что касалось его судьбы, приобрело энергичное выражение; какая-то роковая решимость внезапно овладела душой связанного пленника, и он смело устремил свой взгляд сверху прямо на турка. Тот с удовольствием заметил, что мертвенная апатия пленника вдруг исчезла; он подумал, что из страха перед пыткой Славчо решил заговорить.

Он не ошибся.

— Я знаю, где закопаны деньги, — промолвил Славчо.

— Ну, где?

Ахмед-ага вперил в пленника горящий любопытством и ненасытной

алчностью взгляд.

— Мы их тут неподалеку закопали...

— Тут? Около Бели-Мела? Это мы уж знаем от того пса, что вечером окошел. Расскажи подробней, где!

Славчо не ответил.

— Ну!

— Что?

— Все по порядку, И запомни: станешь врать, шкуру спущу! — сказал Ахмед-ага.

Славчо не ответил.

— Почему замолчал?

— Как же рассказывать-то, коли ты здешних мест не знаешь? Словами не объяснишь.

— Как называется это место?

— Синий берег.

— Где это? Я никакого «Синего берега» не знаю...

— У речки, над камнем над одним.

Ахмед-ага задумался. Лицо его выражало сильное волнение. Очевидно, надежда прибрать к рукам добрую половину денег не давала ему покоя, кружила голову. Но как быть? Самому ему никогда не найти ни Синего берега, ни какого-то там камня по невнятным указаниям разбойника... А заставить пленника, чтобы он сейчас, среди ночи, сам проводил Ахмед-агу к Синему берегу, — турок и мысли такой не допускал... Завтра это можно будет сделать без всякого риска, да какой прок? Чем больше он думал, тем сильнее росло его нетерпение скорее стать первым владельцем тайны. Представился единственный случай разбогатеть, обеспечить себе спокойную старость — и, на тебе, это проклятое затруднение!.. Он боялся, что ночь минует, драгоценные ночные часы пройдут и он не успеет ничего сделать!

Славчо, видимо, понял, что угнетает турка.

— Давай отведу! — промолвил он.

Турок метнул на него удивленный взгляд и презрительно засмеялся:

— Ишь ты, лопаухий гяур, хитрый какой.

Славчо промолчал.

— Думаешь, я так глуп, что пущу волка в лес? Нет, брат, шалишь. Ахмед-ага — стреляный воробей.

Ахмед-ага был стреляный воробей, это правда; но без непосредственного участия разбойника не имел никакой возможности нынче же ночью овладеть кладом. Как же быть? В глазах его снова вспыхнула ярость; грозно сверкая, они вперились в разбойника.

— Разве вот жена моя покажет тебе место, — вдруг произнес Славчо, как будто эта мысль неожиданно пришла ему в голову.

— Твоя жена? Она знает?

— Нет.

— Так как же она может?

— Я ей растолкую — она пойдет и покажет.

— Нынче ночью?

— Нынче ночью. Позовите ее...

Подумав, Ахмед-ага бросил на него подозрительный взгляд.

— Почему жена?.. А мужику, кому-нибудь из крестьян, кого я приведу, ты не можешь рассказать?

— Не хочу.

— Почему такое?

— Вы завтра меня в Софию погоните — вешать. Я хочу с женой в последний раз повидаться.

— А коли не позову?

— Другим ничего рассказывать не стану.

— А что жаровня готова, знаешь?

— Делай что хочешь.

На селе пропели вторые петухи.

— Ну и хитер же ты, гяуришка, — промолвил Ахмед-ага с притворным добродушием. — Ладно, так и быть.

Он вышел, растолкал храпевшего на лестнице запти и сказал ему:

— Ступай приведи сюда Славчову молодуху. Скажи: Славчо, мол, повидаться с ней желает.

— А коль она не захочет в такую пору? — спросил запти.

— Хватай за волосы и тащи силой, каналья! — рявкнул начальник.

Запти накинул на плечи накидку и ушел. В околотке залаяли было собаки; но вскоре все вокруг опять погрузилось в молчание.

* * *

Через четверть часа во двор к Недю вошли две тени, и большие новые ворота захлопнулись за ними. Это были запти со Славчовицей. Он тихо проводил ее вниз по лестнице и постучался в подвал. Дверь отворилась, запти впустил Славчовицу, а сам остался снаружи, на своем посту.

Славчо так и впился жадными, радостными глазами в жену.

— Здравствуй, Вылкана, — тихо промолвил он.

— Славчо, Славчо! Вот как свидеться пришлось!.. Господи боже, могло ли такое в голову прийти! — со слезами заговорила она, в тоске и отчаянии ломая руки.

— Не горюй, Вылкана. Все как надо.

— Зачем звал? — спросила она плача.

— Чтоб повидаться с тобой, женушка. Кто знает, может, в последний...

— Ох, муженек, муженек мой! — запричитала Вылкана.

— Как Владко?

— Владко здоров...

— Ну, а ты как живешь-можешь?

— Как же это поймали тебя, бедный мой? Будут теперь мучить тебя, злодеи, — бормотала Вылкана, не обращая внимания на турка.

Ахмед-ага понимал по-болгарски и не пропустил ни слова из интимного разговора супругов. Обозлившись, он подошел к ним:

— Ну, нечего балясы точить! Славчо, говори своей молодухе что хотел. Я не стану зря время терять, слушая ваши охи да вздохи...

— Пойди сюда, Вылкана, — тихо сказал Славчо, посветлев лицом.

Подойдя вплотную к мужу, Вылкана печально заглянула ему в глаза.

Он, пристально глядя в глаза жены, принялся что-то шептать ей.

Турок опять рассердился.

— Нечего скрытничать, гяур... Говори так, чтоб я слышал.

Он подошел и стал возле них.

— Слушай, жена, — начал Славчо тихо, слегка дрожащим голосом. — Ты знаешь, где Синий берег?

— Знаю, Славчо.

— Вот это дело, — с удовольствием заметил Ахмед-ага.

— Повыше Синего берега — большие камни... у которых мы в детстве играли, помнишь?

— Знаю я эти камни, Славчо... — ответила Вылкана, крайне удивленная его вопросами, не имевшими ничего общего с тем страшным положением, в котором они находились.

— Ты хорошо их помнишь, эти груды камней, да?

— Помню, Славчо.

— Отлично, превосходно, — вставил опять Ахмед-ага.

Вдруг турок отлетел на два шага, перекувырнулся и упал навзничь, затылком об пол. Внезапный шум падения сменился тишиной. Турок не шевелился. Кровь залила ему голову, стала впитываться в землю. Тонкой струйкой потекла изо рта.

Вылкана стояла окаменелая.

Славчо весь дрожал, пронзая жертву безумным взглядом... Разбойник улучил мгновенье, когда Ахмед-ага близко подошел к нему, и пнул его своей гигантской ногой в живот. Он вложил в этот удар всю мощь и проворство своих железных мускулов, всю ярость раздраженного зверя, все свое клокочущее озлобление, всю жажду мести, все отчаянье. Он так рассчитал силу удара, чтоб после него турок вскрикнуть не мог. От этого зависела его жизнь, его спасение. И турок не вскрикнул.

— Вылкана, возьми его нож и перережь веревки, — скомандовал Славчо жене.

Вылкана, очнувшись, тотчас вошла в свою роль. Она перерезала веревку, которой муж был притянут к столбу.

— Погоди: еще здесь, — сказала она и принялась резать другую веревку, которой были опутаны руки Славчо за спиной.

— Не нужно, — возразил он, и в тот же миг веревка, уступая его нечеловеческому усилию, затрещала и разорвалась.

Избавившись сразу от всех оков, Славчо бросился к труп, снял с него пистолеты, сунул их себе за пояс, выхватил нож из дрожащих рук Вылканы, вонзил его в грудь турка и открыл дверь.

— Постой. Сперва я.

И выбежал на лестницу, чтоб расчистить путь. К счастью, запти, накрывшись накидкой, дремал. Услыхав поблизости торопливые шаги, он поднялся и крикнул:

— Это ты, Ахмед-ага?

Тогда Славчо наклонился с верхней ступени, где был в этот момент, хватил запти ятаганом по голове, одним ударом усыпив его на месте.

Ворота оказались запертыми. Ночь же стояла темная. Славчо остановился в нерешительности. Но после минутного колебания повел жену к хлеву; там он влез на его пологую крышу, подал жене руку, поднял ее к себе — и оба спрыгнули на улицу.

В это самое мгновенье раненый запти на лестнице не то крикнул, не то

скатился вниз — только произвел какой-то шум и разбудил дворовых собак. Почуяв кровь, умные животные залаяли, и вскоре все село наполнилось зловещим собачьим лаем, а двор чорбаджи Недю — криками и суматохой запти.

* * *

Перед рассветом двое беглецов были уже далеко: на склонах Старопланины, где-то возле Влашко-села. Славчо не оставил жену в Бели-Меле, хорошо зная, что она пострадала бы вместо него от мстительности турок. Ей ни в коем случае не удалось бы уверить их, что она не виновата в убийстве Ахмед-аги — ребенку было бы ясно, что не кто иной, как она, убила его, чтоб освободить мужа от веревок. Турки даже и раздумывать не стали бы над этим... Славчо с женой бежали без оглядки, движимые одним и тем же чувством, не размышляя о последствиях, какие могло повлечь за собой бегство Вылканы. Только на рассвете, присев отдохнуть на высокой горной луговине, защищенной с востока буковой рощей, вспомнили они о том, о чем забыли подумать: Вылкана встревожилась о ребенке и о доме. Она все бросила на произвол судьбы! У нее не было родных в Бели-Меле, на кого можно было бы рассчитывать в том смысле, что они возьмут к себе Владко и сохранят дом. После того как опасность миновала, эта новая угнетающая забота целиком овладела ее сознанием.

— А как же Владко? Как дом? — невольно вскрикнула она с болью в сердце.

— Черт с ним, с домом! — проворчал Славчо, поправляя на ноге обмотку.

— Ты не ходил за скотиной, Славчо, так тебе все нипочем... — возразила Вылкана. — Когда гайдук о доме заботился?

— У меня только по Владко душа болит. А дом — пропади он пропадом!

Славчо, нахмурившись, стал зорко всматриваться в буковую рощу, словно стараясь что-то там разглядеть.

— Да и я о Владко говорю... — сказала Вылкана. — Кто теперь за ним присмотрит, за бедненьким?.. Убьют они его... Что же нам делать, Славчо?

— Что делать? Идти дальше!

— Дальше, дальше, господи боже!.. А Владко-то как же? — простонала она, но строгий взгляд Славчо остановил ее.

Видимо, Славчо имел причину быть строгим, или его тревожило какое-нибудь дурное предчувствие.

Близилось утро. На востоке занималась заря. Утренний ветерок пробежал по веткам буков. Отдаленные шумы пробуждающейся природы донеслись и сюда; жизнь дала почувствовать свое первое трепетание... Со стороны Влашко-села послышалось пенье петухов, — их хриплое кукареканье разогнало дремоту сонного воздуха. Над головой беглецов зашелестели ветки; сквозь листву пропорхнула какая-то птичка и пристроилась где-то тут же, чтобы дожидаться первых лучей восхода.

Некоторое время Славчо и Вылкана молчали. В голове у них роились печальные мысли... Беглецов окружала полная неизвестность. День застал их в горах, раздетых, голодных, беззащитных, преследуемых... Вылкана

горько вздыхала: душа ее была полна думой о Владко, глаза — слезами. Мучительной, невыносимой была для нее разлука с милым маленьким сыном; но мужу она не могла пожаловаться; его лицо тоже было мрачно: наверно, те же, а то и еще более тяжелые мысли не давали покоя. Почему он такой настороженный? Или его еще не покинул страх перед турками?

— Что это ты все прислушиваешься да всматриваешься, Славчо? — спросила она.

Славчо на самом деле все время прислушивался; с лица у него не сходило выражение озабоченности; напротив, по мере приближения дня эта озабоченность росла. Гайдуцкая жизнь выработала в нем привычку держать ухо остро; он мог весь обращать в слух, и до него достигал малейший шум в окрестности; его чувствительная барабанная перепонка воспринимала самый ничтожный шорох или другой неопределенный, невнятный звук и тотчас распознавала, чем он вызван и откуда исходит. Видимо, и на этот раз Славчо уловил такой звук, сильно его беспокоивший.

Он сделал жене знак молчать, а сам встал и начал опять вслушиваться.

— Листья шелестят от ветра, — заметила Вылкана, чтоб успокоить мужа и самое себя, так как в самом деле слышала только шелест ветвей или думала, что слышит только его.

— Нет, шаги, — прошептал Славчо.

— Шаги? Какие шаги?

Она тоже встала и начала прислушиваться... Новое дуновение ветра сделало разные шумы в воздухе и в долинах более ясными.

— Кажется, правда: кто-то идет.

— И не один... — добавил Славчо.

— Кто б это мог быть, Славчо? — тревожно спросила Вылкана.

— Запти... Нас ищут... — ответил он, понизив голос.

* * *

Как известно, летнее утро приходит быстро, чуть не бегом. Через несколько минут беглецы увидели, что уже совсем рассвело и деревья вокруг пропускают сквозь свои черные сучья яркие проблески дневного света... Все предметы обрисовались отчетливо... Этот внезапный рассвет сделал положение беглецов чрезвычайно опасным, почти безвыходным.

Шум шагов становился все более заметным и устрашающим. Но голосов не было слышно: видимо, приближающиеся шли осторожно и старались не шуметь, чтоб самим лучше слышать.

По тем временам появление турецких запти в этом глухом горном краю Болгарии было для них не всегда безопасным; здешние поселяне, вместе с дикостью нравов, хранили еще дух свободы и независимости. Появление турецкой власти, подымая тревогу в селах, грозило ей самой неприятностями и даже бедой. Были такие лесные трущобы, где никогда не ступала нога запти — места, подчиненные его величеству султану лишь формально, тамошние жители не платили податей, так как никто не решался идти их взыскивать. Эти дикие темные углы были вроде страны албанских мирдитов. Запти — ибо Славчо не ошибся в своих догадках: это они двигались по его следу — поступили крайне опрометчиво, бросаясь в

этот гайдуцкий край преследовать разбойника: здесь все было против них, они не знали местности и не могли рассчитывать на получение верных сведений и вообще на какое-либо содействие со стороны крестьян. Но столь дерзкое и неожиданное ночное убийство двух их товарищей привело их в бешенство, и они, откинув всякий страх и другие соображения, пустились вдогонку за убийцей или убийцами. Быть может, это пренебрежение опасностью имело и другую причину: страх ответственности перед начальством за бездействие после зверского убийства двух мусульман.

Как бы то ни было, в эту минуту Славчо с женой были в большой опасности, — им грозила почти неминуемая гибель. Как мы уже сказали, буковый лес там кончался, и оттуда вверх, вплоть до горных вершин, тянулось открытое пространство, которое надо было на крыльях перелететь, прежде чем из лесу выйдут турки. Так что Славчо и думать не мог о том, чтоб бежать вперед; нырнуть с женой в покрывающую крутой склон буковую рощу было тоже безрассудно: это значило бы самому лезть в ловушку, из которой выбраться целым и невредимым не было никакой надежды.

У Славчо оставалось всего несколько минут на размышление. Перед глазами его, словно голова медузы, возник кровавый, отвратительно-страшный призрак нового плена, с побоями, оковами, пыткой, виселицей. При этой ужасной мысли его охватила неистовая ярость — ее уже нельзя было назвать решимостью, — от которой у него волосы встали дыбом, а в глазах появилось выражение взбесившегося быка, готового лбом рушить стены. Исполин-разбойник стал как будто еще выше, и жилистые руки его судорожно вцепились в рукоять заткнутого за пояс ятагана... Он, видимо, решил встретить своих преследователей с обнаженным кинжалом, изрубить их на куски... Но это отчаянное решение мгновенно сменилось другим: вместо того чтоб выхватить ятаган, он подбежал к одному буку, с необычайной легкостью вскарабкался вверх по его гладкому толстому стволу и через мгновение исчез в пышной зелени листвы. Вылкана бросилась за ним и остановилась у дерева.

Между тем запти продолжали молча, крадучись, продвигаться к опушке, откуда начиналось пастбище. В тот момент, когда Славчо взобрался на один из нижних сучьев, они очутились как раз под ним. Их было шестеро. С ними — крестьянин. Славчо узнал старосту. Припав к большому суку, служившему для него защитой, Славчо разрядил в запти оба пистолета.

Горные дебри потряс оглушительный грохот с раскатистыми отзвуками.

Когда дым рассеялся, Славчо посмотрел вниз. Один запти лежал на земле, хрипя в агонии. Вокруг никого. Сквозь листву было видно, как убегают его товарищи, прячась за деревьями от пуль невидимых врагов.

* * *

Прошло несколько месяцев. Три убийства, совершенные Белимельцем, наделав много шума, послужили для турецкой власти основанием связать и отправить в Софию почти половину мужского населения Бели-Мела —

всех, на кого чорбаджи Недю указал, как на соучастников и чуть ли не прямых виновников зла. Но мало-помалу это событие стало забываться и впечатление от него сглаживаться. Село успокоилось. Про Славчо не было ни слуху ни духу. Полагали, что он ушел с женой в Сербию. Но потом стали носиться смутные слухи, будто он опять рыщет по тамошним лесам с какой-то новой четой, в которой состоит и Вылкана. Слух этот был довольно правдоподобен, так как из Бели-Мела вдруг исчезли два крестьянина, которых турки хотели отправить в Софию; они не возвращались и не давали о себе знать... Владко взяли к себе дальние родственники Вылканы, но за домом ее некому было смотреть; оттуда понемногу все растащили, и он стоял брошенный, пустой, заколоченный.

Весной слухи насчет Славчо стали еще более упорными. Некоторые даже видели, как он спускался по оврагам в село Помеждин, где у него было тайное пристанище; за неделю перед тем было сделано три выстрела в начальника сельской стражи, когда тот проходил по опушке Лесковского заповедника, и все были уверены, что стреляла Славчова дружина. Имя Славчо опять стало проникать в село, в дома, в разговоры; образ его снова ожил в душах белимельцев. К тайной радости, что их юнак жив и мстит врагам народа, примешивался невольный страх при мысли о том, что какой-нибудь новый Славчов подвиг может ввергнуть Бели-Мел в новые страдания.

— В горы портки свои унес, — сказал чорбаджи Недю. — Да скоро и с него шкуру спустим! Может, найдется охотник передать этому головорезу, чтоб он убирался подальше отсюда и оставил нас в покое?

Через несколько дней спустился вечером с гор овчар Найден; он принес чорбаджи Недю пулю с вырезанным на ней крестом и сказал:

— Поклон тебе от Славчо, дядя Недю. А чтоб ты поверил, что я от него, велел он передать тебе вот этот гостинец.

Недю растерянно посмотрел на Найдена, но пули не взял.

— Чего же ему нужно? На что мне эта пуля? — спросил он.

— А вот на что: он велит, чтоб ты к утру для его дружины двадцать пар опинцев⁴⁸ прислал, пол-оки пороху да оку табака. А на Ильин день готовь угощение; он придет к тебе в гости, чтоб ты его попотчевал...

Чорбаджи Недю ошетинился.

— Это ты с таким поручением от разбойника пришел?

— Я не виноват, чорбаджи. Сам знаешь: в поле живем, скотину пасем. Не послушаться? Все наше добро в его руках. Что он велел, то и передаю. А там как знаешь...

— А пуля эта к чему?

— Не знаю, чорбаджи...

— Убить меня задумал?

— Не знаю, чорбаджи.

— И крест еще на ней поставил! — воскликнул Недю, взяв в руки пулю.

— Верно, и крест стоит, — подтвердил Найден.

— К чему это?

— Он целует крест божий; вроде клянется: ежели не исполнишь, что

48 Опинци — крестьянская обувь из сыромятной кожи.

он тебе велит...

Недю сверкнул глазами.

— Ладно, передай ему мой ответ.

Он кинул пулю в Огосту, сунул небрежно руки в карманы и сказал овчару:

— Передай гайдуку Славчо поклон, Найден.

— Спасибо, чорбаджи.

— Передай ему поклон, — продолжал Недю, — и скажи, что опинцев и порошу у меня нету. Пойду в Берковицу, куплю. И табаку кипу.

— А мне подождать?

— Нет, ты ступай. А порох и опинцы, скажи, не стану я посылать, а сам ему отдам в Ильин день, когда он ко мне в гости пожалует... Я ему славное угощение приготовлю; он такого в жизни не пробовал.

Тут лицо чорбаджии из бледного стало зеленым.

Но овчар не заметил, как страшно Недю изменился в лице, и поэтому не понял настоящего смысла его ласковых слов.

— Спасибо тебе, чорбаджи. Ну, прощай, — сказал он и, вскинув свой посох с мешком на плечо, пошел было своей дорогой.

Как видно, бедный овчар в самом деле не заметил таившейся в словах Недю угрозы.

Это рассердило чорбаджию.

Ему хотелось, чтобы Найден понял все и передал Славчо подлинный смысл ответа.

Он окликнул Найдена.

Тот обернулся, посмотрел на чорбаджию.

— Эй, скотина! Ты, видать, не понял! — с раздражением сказал Недю.

Найден руками развел.

— Скажи этому каторжнику, душегубу: пускай приходит ко мне в Ильин день; я угощу его вместе с его дружками. Да не только их, а всех воронов, орлов, что вон — летают, угощу мясом его до отвала. А голову насажу вон на тот кол в плетне — птиц пугать.

Найден испуганно поглядел на него.

— Неладно поступаешь, чорбаджи!.. Славчо может плохо тебе сделать.

— Уж не прячешь ли ты его у себя, осел? — крикнул Недю.

— Сохрани боже...

— Тогда убирайся!

Недю был вне себя.

— Прощай, чорбаджи.

И Найден скрылся в темноте.

* * *

Пройдя две улицы и повернув на третью, Найден постучался в ворота. Кругом не было видно ни зги, на улице пусто.

Во дворе залаяли две овчарки, бросились на ворота, вонзили в них свои когти. Но тотчас утихли: инстинкт подсказал им, что это свой.

В самом деле, Найден стучался в собственные ворота и собаки принадлежали ему.

Открыла маленькая девочка.

Найден пошел на свет в окне, залепленном бумагой. В комнате, куда он вошел, сидело четверо крестьян — каждый прислонив к плечу ружье. Один выделялся своим исполинским ростом и атлетическим сложением. Широкие плоские плечи его были соразмерны с мощной грудью. Почерневшее и обожженное лицо говорило о том, что ему хорошо знакомы зной и ветер, зимняя стужа и неистовство стихий. Глаза горели ярко, но спокойно под изогнутыми тонкими бровями, совсем не гармонизировавшими с грубым мужицким складом лица и такой же фигурой.

Трое товарищей его не отличались столь могучим сложением, но и у них, как у него, лица были обветрены на вольном воздухе и так же блестели глаза. Один из них резко выделялся среди остальных отсутствием усов; он был совсем безбородый. Удивительней всего было то, что этот безбородый, оставив в сторону ружье, вместо него прижимал к груди ребенка. Этим он больше напоминал мать, чем разбойника.

Дело в том, что, как догадывается читатель, здесь находилась часть Славчовой дружины, к которой принадлежала и Вылкана. Исполин был сам Славчо, остальные двое — белимельцы.

С приходом Найдена, втайне водившего дружбу с юнаками, их стало пятеро.

Все уставились на него.

— Ну что, Найден? — спросил Славчо.

— Не хочет.

— Не хочет?

— Окаянный! — сказал Найден, кидая свой мешок в угол.

— Расскажи толком, — велел воевода.

Найден передал подробно свой разговор с Недю.

— Вот как? Грозится голову мою на кол своего плетня насадить? — переспросил Славчо, гневно сверкнув глазами.

Найден подтвердил.

— Где он теперь?

— Дома.

— Вылкана, оставь Владко. Все идем! — приказал Славчо.

Видимо, все были согласны с решением Славчо, о котором они заранее догадывались, и тотчас собрались идти за ним.

Вылкана отстранила ребенка.

Владко тревожно захныкал:

— Мама, мама!

— Побудь здесь, детка. Мама сейчас вернется. Мы сходим в гости к одному чорбаджии, — сказала ему Вылкана, вскидывая за спину, поверх короткой грубошерстной накидки, ружье.

Но так как Владко продолжал всхлипывать, она опять наклонилась к нему и несколько раз поцеловала его в голову. Потом вышла. Во дворе ее ждали товарищи.

Немного посоветовались.

— Не нагрянуть ли к нему со стороны Стаменовых, Найден? — обратился Славчо к овчару, у которого тоже было ружье.

— Залезем от Стаменовых на каменную ограду и спустимся по груше к нему во двор.

— Ты перелезай первый.

- Да, я впереди: меня собаки знают, я их приманю...
- Жену его и ребят не трогать!
- Только самого.
- А с ним как?
- Прикончить — и дело с концом?..
- Нет, не надо.
- А как же?
- Чорбаджию предоставьте мне, — властно промолвил Славчо.

Пошептавшись еще немного в темноте, дружина двинулась дальше. Впереди шел Славчо, рядом с ним — Вылкана. За ними — трое остальных.

На спящем небе тихо мигали звезды. Вся природа уже предалась покою. Вокруг таинственными безмолвными чудищами высились темные силуэты ореховых и других деревьев.

Улица совершенно обезлюдела.

Слышались только шаги пятерых.

Минут через десять дружина остановилась у ограды Недю. Став ногой на плечо товарища, Найден ловко переметнулся к чорбаджии во двор.

Утром село было в страшном волнении.

Разнесся слух, что разбойники увели в лес чорбаджи Недю, — прямо из постели вытащили в чем был!

Никто не сомневался, что это дело рук Славчо.

Жители села искренно, от всей души радовались тому, что Славчо избавил их от мироеда.

Но что теперь будет? Как бы не нагрянули опять запти, не начали хватать, допрашивать, пускать по миру!

Час от часу в Бели-Меле росли тревога и страх.

Они достигли высшей точки, когда жители окончательно убедились, что не кто другой, а именно Славчо был ночью со своей дружиной у них на селе.

За селом, на берегу Огосты, оказался сдвинутым один из больших камней; под ним обнаружена только что вырытая глубокая ямка, а на куче выкинутой земли — рассыпанные меджидии и несколько лир.

Значит, вот где была закопана видинская казна, и только нынче ночью Славчо откопал ее!

Домочадцы Недю оглашали дом душераздирающим плачем.

Но плакали только в этом доме.

Всюду на селе исчезновение Недю вызвало живую радость.

— Уж коли попал в руки Славчо, живым не уйдет, — говорили селяне.

— Наконец-то! Так ему и надо. Поделом.

— Дай бог побольше сил таким юнакам, как Славчо. За что ни возьмется — в грязь лицом не ударит, молодец!

— Недю и впрямь зверь — хуже турка; Славчо его одного убрал, да это лучше, чем десятерых турок...

Эти и другие жестокие выражения злорадства не сулили чорбаджи Недю ничего хорошего...

Прошло довольно много времени, а судьба его оставалась неизвестной.

Сельский староста Бели-Мела сообщил об исчезновении Недю в

Берковицу; опять приезжали запти, допрашивали, делали обыски и на селе и в окрестностях, но никаких следов пропавшего так и не обнаружили.

Наконец власти махнули рукой и прекратили розыски.

— Из-за паршивого гяура не стоит трудиться, — решили они.

* * *

В Петков день белимельцы вышли на гулянье.

На просторной площади перед домом Недю кружилось хоро — пестрая вереница девчат и молодок, парней и холостых мужчин, разодетых, нарядных. Наигрывали две волынки, и веселью белимельского молодого поколения не было границ.

Помимо танцующих, внутри круга и вне его толкалось множество любопытных, собравшихся поглазеть на разрумяненных пляской и ощущением счастья красивых девушек.

А на синем небе весело сияло солнце и, словно по весне, лило на землю свои благодатные, животворные лучи, рождая жизнерадостный трепет во всем, что способно их чувствовать, видеть, вбирать. Высокие вершины Стара-планины, тонущие в небесной лазури либо увенчанные серебристо-ватными облаками, резко обозначали на небосклоне свой величавый профиль. Поляны на горных склонах и седловинах, уже пожелтевшие, предавались страстной неге, обнаженные и вольные под сладостным сиянием чудного осеннего солнца. Ближе, у подножья Балкан, громоздились менее высокие хребты и кряжи с темно-зелеными грабовыми лесами, ярко позолоченными солнцем. Подернутые таинственной эфирно-прозрачной дымкой, они являли волшебную туманную картину. К северу от села голые холмы и пустынные высоты глядели в его сторону молчаливо, — можно сказать, печально: не зная шума и тени хотя бы маленького лесочка, они, словно лишенные наследства, с завистью смотрели на роскошные одежды, которыми покрыты другие. Ни малейшего трепета жизни. Только жалкая отара овец еле заметно ползала там, похожая скорей на камни.

А большое хоро перед домом чорбаджи Недю качалось все живей, веселей, опьяненней. Волынки умолкли, и хоровод движется под ритм песни. Девушки поют дружно, с увлечением: это новая песня, и каждому понятен ее смысл. И каждому она по нраву. Да, это была новая песня. Вот она:

Как раным-рано Вылкана,
В Георгиев день на зорьке
Широкий двор подметала,
В синие горы глядела,
Такие слова говорила:
«Видано ль, слыхано ль чудо,
Чтоб девушке стать воеводой,
Водить за собою войско
В семьдесят храбрых юнаков,
Семьдесят семь удалых».

Вылкана водит дружину
По чаще лесной, зеленой,
Под буковой сенью густою,
У той ли воды студеной.
Молвила Славчу Вылкана:
— Ну-ка ответь мне, Славчо,
Верный мой знаменосец,
Правду скажи без утайки.
Что серчают мои юнаки,
А мне не скажут ни слова?
Ответил Славчо Вылкане:
— Вылкана, эй, молодица,
Коль хочешь ты знать, послушай,
Скажу я тебе всю правду, —
Скрывать ничего не стану.
Вечор собрались юнаки,
Друг другу так говорили:
«Зачем нам такой воевода?
Не женское это дело:
Рубить, не ведая страха.
Казнить врагов окаянных.
Не надо нам баб в воеводы».
Сказала Славчу Вылкана:
— Верный мой знаменосец,
В той вон глубокой яме
Сидит окаянный Недю,
Душегуб, мироед проклятый.
Семь уж годов минуло,
Восьмой наступил недавно,
Как Недю гниет в той яме,
Закован в тяжкие цепи.
Вытащи Недю оттуда,
Приведи сюда душегуба,
Проклятого мироеда.
Пускай юнаки посмотрят,
Умеет ли их Вылкана
Душманов рубить окаянных,
Способна ли быть воеводой...

Вдруг пень оборвалось; пляшущие пришли в замешательство. Что-то произошло. Взгляды всех устремились на семь плясунов, вступивших в круг. Это были такие же крестьяне, но среди них выделялся какой-то великан и рядом с ним один безусый.

— Славчо! — пронеслось в толпе.

— Вылкана! — зашептали всюду.

— И дружина Славчова здесь! — слышались восклицания. Хорошо остановилось, но не разомкнулось. Ни один парень, ни одна девушка не решились первыми выйти из круга. Но растерянность длилась только мгновенье.

Тотчас же хоро снова качнулось, снова зазвучала песня, — полилась к своей кровавой развязке.

К девичьим голосам присоединился и звучный голос Вылканы; он выделялся среди остальных, превосходя их своей силой.

И хоро закружилось еще неистовей, в еще более безудержном веселье.

Теперь взгляды всех присутствующих, как очарованные, были прикованы к легендарной дружине. Крестьяне просто диву давались, каким не женски строгим и суровым стало лицо Вылканы, которую совсем нельзя было узнать в мужской одежде, с торчащей из-за пояса рукоятью слоновой кости от длинного ятагана, с парой пистолетов в кобурах.

— Ишь какая ладная в этом наряде! — говорили крестьяне.

А девушки? А молодки? В эту минуту среди них не было ни одной, которая втайне не завидовала бы Вылкане, всем сердцем желая быть на ее месте.

Наконец, хоро кончилось: плясуны валились с ног от усталости.

Все сбежались к Славчо и Вылкане. Крестьяне образовали вокруг дружины непроходимую стену; каждый старался прежде другого пожать героям руку, приветствовать их. Появились кружки с вином: гайдуки стали чокаться с крестьянами, брататься с ними... Большая была радость.

Все забыли об опасности, все отдались непринужденному братскому ликованью, чуждому всякого стеснения и страха.

Крестьяне совсем потеряли голову. Их охватило какое-то опьянение, вызванное не столько вином, — женщины вообще не пили его, — сколько необъяснимой, детской, беззаветной радостью по поводу этой неожиданной и в то же время опасной встречи.

О предательстве, о том, что кто-то может сообщить про нее туркам, никому и в голову не приходило. Как же это возможно?! Казалось, раз больше нет чорбаджи Недю, на селе исчезли все злые мысли, все нечистые намерения. Уничтожен Недю — уничтожено зло... К тому же, когда они и в глаза не видали Славчо, турки все равно без всякой вины вязали, угоняли из села, мучили их... И тогда, не будь Недю, кому пришло бы в голову доносить правительству, клеветать на того, на другого? Одним словом, крестьяне имели полное основание не дрожать перед призраком предательства и веселились, не думая ни о чем.

Только домочадцы Недю были в отчаянии.

— Братцы и сестрицы! — заговорил, наконец, Славчо. — Славную песню придумали вы. По сердцу она юнакам. Но вот что я вам скажу: не все в ней правда!

— Коли что не так, поправь нас, Славчо! — закричали девушки.

— Верно, верно. Пришли к нам в гости — расскажите все как есть, — зашумели мужики.

— Я скажу, — заговорила Вылкана. — Воевода — не я, а Славчо!

Девушки переглянулись в недоумении: ежели Вылкана не воевода, значит и песня ни к чему... Это их очень смутило.

— Не губить же песню! — решительно возразили они, громко и весело смеясь.

— Песня хороша как есть, — подтвердили другие.

— Да и мне она по сердцу, — подхватил Славчо. — Только конец надо

маленько поправить.

— Как? Как?

— То место, где про Недю говорится, будто его закололи...

— А его повесили, что ли? — раздались голоса.

— И не повесили...

— Ну так в «яму» упрятали?

— И не в «яме» он.

— Довольно того, что околел. Это для нас важней всего, — отозвались крестьяне.

— Недю жив, — возразил Славчо.

Эти слова произвели на всех неприятное впечатление.

— Жив?!

— Неужели жив?

— Значит, удрал?

— Так где ж он теперь?

Такие вопросы посыпались дождем. Славчо пошептался о чем-то с товарищами. Потом повернулся к крестьянам и сказал:

— Не бойтесь: Недю в наших руках!

— Держите его? Ну, слава богу!

— Крепко держим. И теперь спрашиваем вас, что с ним делать? Не мы, а вы больше всего страдали от Недю... Говорите, говорите, братцы, как нам его наказать?

Крестьяне стали перешептываться.

* * *

В этот миг окружавшая гайдуков толпа под каким-то сильным напором раздалась. Многие обернулись, чтобы увидеть, в чем дело.

— Не пускайте ее! — слышались голоса.

— Назад, назад!

— Чего она тут визжит, как дудка червивая!

Гнев толпы на ту, что продиралась вперед, нарастал.

Славчо, голова которого возвышалась над головами всех остальных, увидел, в чем дело.

— Недювица идет, что ли? — спросил он.

— Она самая!

— Гоните ее в шею! — опять закричали крестьяне.

— Не с добром пришла! Ишь как глаза вытарщила! — слышалось отовсюду.

— Эй, чего тебе тут надо? — спрашивал один.

— Назад! — кричал другой.

— Славчо, Славчо! Пусти меня к себе! — отчаянно завопила Недювица, не уступая тем, кто ее выталкивал.

Славчо махнул ей рукой, Вылкана тоже.

— Пускай подойдет, — сказали они.

После этого толпа расступилась перед женщиной. Это в самом деле была жена Недю.

— Ну, чего тебе надо? — строго спросил Славчо.

— Знаем, чего ей хочется. А только уйдет несолоно хлебавши.

— Пускай поплачет, как народ от ее муженька плакал. Бог правду видит, — слышались другие голоса.

Но вскоре воцарилось молчание.

Еще молодая, но страшно бледная, с упавшим на плечи платком, вся в слезах, Недювица подошла ближе.

Упала на землю, обняла Славчо колени.

— Отпусти, отпусти его, Славчо! Заставь за себя бога молить, прошу тебя, Славчо...

И продолжала плакать.

Воцарилась тишина. Крестьяне не сводили глаз с Недювицы, которая валялась на земле, в ногах у воеводы. Кто поверил бы три месяца назад, что спесивая жена чорбаджи Недю будет целовать следы ног гайдука Славчо? Но удивительное дело! Ожесточенье толпы вдруг пошло на убыль. Картина унижения и такого глубокого отчаяния пробудила в душах присутствующих какое-то новое, более доброе чувство, вытеснившее недавнюю ненависть. Их тронуло горе Недювицы, которая в конце концов вовсе перед ними не грешна и ни в чем не повинна.

— Ишь горемычная! — заговорили в толпе.

И тотчас, словно по молчаливому уговору, раздалось множество голосов, обращенных к воеводе:

— Воевода, воевода, пощади Недю. Просим тебя!

— Отпусти, отпусти его!

— Пусть вернется и знает, что по нашей милости жив остался.

— Мы ему прощаем!

Просьбы о помиловании и прощении неслись со всех сторон. Чувство человечности взяло верх: никто из присутствующих не потребовал смерти.

— Ладно! — согласился Славчо.

И, обратившись к Недювице, сказал:

— Ну, Недювица, к ужину жди мужа. Вот мое слово... А теперь пойдешь принеси трехлетнего да попотчуй нас на дорогу.

Недювица, от радости сама не своя, не знала, что и сказать... Она только целовала руки всем просившим за Недю.

— Только чтоб муж твой взялся за ум и человеком был: помнил, что он болгарин! — наставительно говорили ей более пожилые.

— Будет, будет. Добрым как голубь, ангелом кротким будет... Вот увидите, ей-богу, не лгу, — отвечала она, сама плохо понимая, что говорит.

— А что воевода приказал? Неси трехлетнего да угощай... И на вашей улице нынче Петков день.

Недювица бегом побежала домой, и вскоре на площади, под веселые здравицы и разговоры, полилось из бочонка трехлетнего белое чорбаджи Недю.

Казалось, все были счастливы тем, что сделали вместе доброе дело.

* * *

После этого происшествия дружина куда-то пропала, и про нее перестало быть слышно.

Ходили разные слухи. Одни толковали, что она ходит теперь где-то в

других местах, другие — что ее изрубили в куски во Врачанских горах, третьи — еще что-то.

На самом деле Славчо распустил дружину, а сам ушел с женой в Сербию, в Неготин, где и поселился.

Так как ему досталась большая часть видинской казны, он занялся торговлей, благодаря своему трудолюбию и сноровке скоро разбогател и стал одним из самых знатных жителей Неготина.

После освобождения неготинский торговец вернулся на родину; теперь он занимает в Р. должность мирового судьи.

И надо сказать, это один из лучших мировых судей. Он так же хорошо умеет изобличать виновного, как прежде умел пинать в брюхо. Чему только не научится человек!..

Еще несколько слов: последний подвиг Славчо в Бели-Меле, то есть его появление с дружиной в Петков день на сельской площади и участие в хоро, остался тайной; турки так и не узнали об этом сердечном братании белимельчан с разбойниками.

Единственным недоброжелателем, который мог бы сообщить об этом властям, был Недю.

Недю на самом деле тогда же вечером вернулся к жене. Но с того дня он стал другим человеком... Читатель убедится в этом, если узнает, что в 1876 году среди множества заподозренных в пособничестве отряду Ботева и угоняемых связанными в Софию первым шагал белимельчанин Недю!

1890 г.

В кривинах

Воспоминание

Мы приехали на Карнарский постоялый двор довольно рано. Там, по обычаю, остановились и вошли в корчму — отдохнуть и выпить по стаканчику виноградной водочки, прежде чем пуститься дальше по извилистым дорогам Стара-планины, чьи зеленеющие склоны начинались тут же, за воротами постоялого двора.

Я ехал по этим местам впервые. Но трое моих товарищей и сограждан были старыми румынскими паломниками; они хорошо знали дорогу в Румынию — бывшую Колхиду сопотцов и карловцев, куда отец отправлял меня с десятью минцами в кошельке и пожеланиями счастья и удачи под крылышко одного родственника.

Вот почему всю дорогу до постоялого двора меня, словно овод, беспощадно преследовали куплеты глупой песенки:

Ночь июньская проходит,
Показалась заря,
Юноша коня выводит,
Выезжает со двора.

Распротысь с родимым кровом,
На коня садится он,
Об удачливой торговле

Весь в мечтанья погружен.

Из снеди, взятой с собой в дорогу, мы наскоро устроили легкий завтрак всухомятку, скрасив его беседой, шутками, смехом. Потому что как же тебе не будет весело, коли ты едешь по Стара-планине весной, и день прекрасен, и у тебя славные попутчики!

В корчме мы были не одни. В одном углу молча сидели еще два путника. Это были пешеходы, как можно было догадаться по их дорожным посохам, и не болгары, о чем свидетельствовала их одежда. Один из них, с лицом, покрытым буйной растительностью и почернелым от загара, с угрюмым, сверкающим взглядом, был в коротком, пришедшем в полную ветхость, зеленом сетре⁴⁹, в жилетке, рваных брюках и с каким-то измятым платком на шее вместо галстука. А старая широкополая шляпа, надвинутая прямо на сумрачное лицо, придавала этому человеку еще большую мрачность, настойчиво напоминая о легендарных абруцких разбойниках⁵⁰.

Наоборот, товарищ его, белолицый и безбородый блондин, был мало похож на итальянца и еще меньше на итальянца из Калабрии. На нем была короткая синяя блуза, широкие синие штаны и плоская шапочка с петушиным пером — все одинаково потрепанное и изношенное. Только ноги обуты в болгарские поршни. Видимо, это были итальянцы — рабочие с Гиршевой железной дороги⁵¹, которая тогда строилась, или из какой-нибудь каменоломни.

Эти два человека изредка тихонько перекидывались какими-то словами и все чаще поглядывали на нас, словно желая понять, о чем мы говорим и чему смеемся.

Приятный завтрак и мысль о предстоящем путешествии сделали меня особенно дружелюбным и общительным. Мне пришло в голову угостить симпатичных земляков Данте и Петрарки вином.

Но один из товарищей, подмигнув, шепнул мне:

— Не путайся с ними! Не надо.

«Почему?» — взглядом спросил я его.

— Дрянной народ... Я хорошо их знаю, — таинственно прибавил он.

Я взглянул на него в недоумении.

— Поехали. Не стоит здесь оставаться, — сказал он с тревогой.

— Бродяги? — прошептал другой спутник.

— Хуже, хуже... — пробормотал первый.

Это обстоятельство лишило меня прежнего веселого расположения духа. Мы поднялись и стали расплачиваться.

Когда я, стоя у прилавка, раскрыл кошелек, один из иностранцев — белолицый — каким-то образом очутился рядом. Я заметил, что, наклоняясь над прилавком, чтобы взять с полки пачку папиросной бумаги, он успел кинуть быстрый взгляд на деньги. Неожиданное движение его

49 Сетре (турец.) — пиджак, кафтан.

50 ...о легендарных абруцких разбойниках — Абруцкие горы в средней Италии были излюбленным местом разбойничьих шаек.

51 Гиршева железная дорога — железнодорожная линия Константинополь — Адрианополь — Пловдив — Сараньово, построенная в 1869–1872 гг. «Императорской железнодорожной компанией», организованной бароном Гиршем.

дало мне возможность увидеть под распахнувшейся блузой ручки двух револьверов и белую костяную рукоять огромного кинжала.

Столь мощное и грозное вооружение у бедного пешехода было делом необычным. Наверно, товарищ его, если снять с него оборванное сетре, будет похож на целый арсенал, — у него и лицо-то, как у настоящего Фра-Дьяволо!⁵² Значит, мой спутник был прав, предупреждая меня: перед нами действительно разбойники! Но теперь меня больше страшил белокурый...

Мы тронулись в путь по горам. На первом повороте, оглянувшись назад, мы с удовольствием убедились, что те двое остались в корчме. Случайно нашим попутчиком оказался жандарм из ближайшего отряда. Мы вздохнули свободно.

Широкий Троянов перевал поднимался все круче, извиваясь среди зеленых грабовых лесов, покрывающих здесь гору. Густые заросли их становились все выше и буйнее, теснясь по обе стороны пути, бегущего бесчисленными зигзагами. Лесные чащи оглашались веселыми руладами соловьев. Тощие загорские кони медленно, но бодро ступали по трудной каменистой дороге с глубокими рытвинами — следами вызванных ливнями потоков. Кони фыркали от удовольствия, расширив ноздри и вдыхая родной прохладный горный воздух. Чем выше мы поднимались, тем шире открывалась панорама долины и прелестней становился пейзаж. Я пришел в восторг и не мог досыта налюбоваться этими живописными, райски прекрасными видами между Стара-планиной и Богданом. Чтобы ничто не мешало мне предаваться созерцанию, я отпустил поводья и положился на чутье коня. Иногда даже останавливался. Вдруг я увидел, что спутники мои уехали вперед и исчезли из глаз. Я остался в лесу один. Тут невольно мне опять вспомнились двое подозрительных итальянцев, и я оглянулся назад. Но на дороге никого не было. Мне стало как-то не по себе, — я почувствовал легкий озноб. Дело в том, что в Турции лес — это разбойничий вертеп. Из каждой рощи жди нападения, за каждым кустом притаилось злодейство, и тебя подстерегает убийца, как в лесах Индии — боа, тигр или пантера. Лесные дороги, то есть самые романтические места в Болгарии, были и самыми опасными: в каждом таком месте в шуме листьев слышались не поэтические легенды о самодивах и русалках, а кровавые истории об убийствах и всяких ужасах. Вот почему, когда человек передвигался по таким местам в одиночку, в чаще ему мерещились засады и шелест деревьев казался таинственно-страшным, словно шепот заговорщиков... Воображение наполняло окрестность тревожными призраками, оно искало и высматривало между обросших побегими древесных стволов и сплетенных ветвей то дуло арнаутского ружья, то чалмы разбойников, то длинные полы притаившихся в чаще черкесов...

Окружающее безлюдье тяготило меня... Я крикнул раз, другой: может, мне откликнутся и я хоть услышу человеческий голос! Но ответило только эхо... Я энергично стиснул бока лошади, но она уже устала. Местность становилась все мрачней и мрачней. Солнце пекло, ветерок затих, лес погрузился в молчание; слышалось только жужжанье роя мух, довольно громкое среди мертвой тишины... Разбойник не мог бы найти более

⁵² Фра-Дьяволо. — Под этим именем в начале XIX века был известен в Италии знаменитый предводитель разбойников в районе Неаполя Микеле Пецца, отряды которого вели также вооруженную борьбу с французскими оккупантами. Был казнен в 1806 г.

удобного места для своего злодеянья. На одном из поворотов я инстинктивно обернулся и вздрогнул: оба итальянца двигались по дороге и в это время как раз исчезли за кустами. Я все понял: дорога делала здесь крутой изгиб, и они, очевидно, кинулись наперерез через кустарник, чтобы опередить меня и стать мне поперек пути, думая, что я их не видел... Тут я сильно пришпорил коня. Приблизившись к тому месту, где они должны были меня встретить, я увидел, что оба злодея идут по козьей тропинке и меня отделяет от них всего два-три шага!.. Тогда я поскакал как бешеный, не обращая внимания ни на обрывы, ни на глубокую пропасть, над которой шла дорога. На беду мою последняя стала еще хуже: ее пересекали гряды зубчатых скал, образуя какие-то неправильные фантастические ступени по ее крутому спуску. На одной из этих ступеней лошадь споткнулась и упала. Ноги мои запутались в веревочных стремянах, и я с ужасом обнаружил, что перепуганное животное, делая отчаянные усилия подняться, скользит и неудержимо сползает вместе со мной к глубокой пропасти. Я закричал... В то же мгновение надо мной появились головы злодеев... Я увидел, как белокурый вынул кинжал... И тотчас почувствовал, что ноги мои освободились от пут. Я быстро отполз в сторону. Лошадь, почувствовав, что ее держат за повод и освободили от груза, сейчас же вскочила на ноги, вся дрожа от ощущения страшной, но счастливо избегнутой опасности.

— Грация, синьоры, — пробормотал я, придя в себя, волнуемый страхом, изумлением и чувством благодарности к двум «злодеям», которые неожиданно оказались моими спасителями.

Я машинально вынул кошелек и протянул им все, что в нем было, то есть зерно всего своего будущего богатства. Белокурый итальянец отклонил это, воскликнув:

— Но, но, но! (Нет, нет, нет!)

Потом оба помогли мне сесть на коня.

— Грация, грация, синьоры, — повторил я единственные итальянские слова, какие знал, и снова тронулся в путь.

Оба итальянца опять исчезли в лесу.

За ближайшим поворотом я встретил нашего проводника Здравко, который искал меня.

Мои спутники, сильно встревоженные моим отсутствием, ждали меня на одной полянке в горах. Я был очень сердит, но даже не намекнул им о своем страшном приключении. Во-первых, с досады, а во-вторых, из опасения, что они станут надо мной смеяться, заметив мой испуг.

Только приехав в Троян, я опять спросил одного из товарищей:

— Кто были эти итальянцы, которых мы встретили на Карнарском постоялом дворе?

Он поглядел на меня многозначительно:

— Разве я тебе не сказал? Довольно об этом...

Тут он жестом дал мне понять, что не хочет говорить о чем-то опасном.

— Это разбойники? — прошептал я.

— Разбойники из разбойников, — ответил он.

— Откуда ты их знаешь?

— Знаю одного... Перестань; не дай бог снова встретиться с такими людьми.

И мой осторожный товарищ принял еще более таинственный вид.

Напрасно старался я выжать из него что-нибудь определенное.
Но и сам я не стал рассказывать ему о том, что случилось со мной.

* * *

Через два года я вернулся живым и здоровым в родные места, не успев стать в Румынии ни Крезом, ни Ротшильдом. Отец мой с ужасом увидел, что вместо груды золота я вытряхиваю перед ним ворох рукописей с душераздирающими поэмами и одами. В один из первых же дней после возвращения я пошел в гости к своему приятелю К. Там собралось много молодежи. Мое неожиданное появление смутило присутствующих. Они чуть заметно многозначительно переглянулись. Я понял, чем вызвано их недоумение, и догадался, что это было за собрание: вот уже два-три дня носился слух, что в городе находится дьякон Левский. Собрание было создано либо им самим, либо ради него, — в этом не могло быть сомнения.

— Господин К., — громко и не без раздражения воскликнул я, обращаясь к хозяину, — прошу вас, прекратите это оскорбительное перешептывание и познакомьте меня с болгарским героем и апостолом Левским!..

После этих слов наступила полная тишина.

Все взгляды устремились к дверце чулана, которая скрипнула. Оттуда вышел какой-то господин; он был в крестьянской одежде.

— Да мы уж давно знакомы, — весело заметил он, подходя ко мне.

— Ах, неужели это вы? — воскликнул я, сконфуженный и изумленный, узнав в этом крестьянине белокурого итальянца в синей блузе, которого встретил на Карнарском повороте, — того самого, что обрезал мои стремяна кинжалом.

И мы сердечно обнялись и поцеловались, к изумлению наскоро составленного комитета, в который затем вошел и я.

Так я познакомился с Левским.

Кто был другой — черный итальянец на Карнарском повороте, — не знаю. Но нет сомнения: он тоже был апостол.

София, 1892 г.

Дед Нистор

Дед Нистор не был сполна доволен освобождением Болгарии.

Нельзя сказать, чтобы он, вроде некоторых матерых чорбаджиев, вздыхал по блаженным временам, когда можно было беспрепятственно грабить бедноту заодно с турками; нельзя сказать, что он не радовался тому, как пашей и запти словно ветром сдуло, вымело вон из Болгарии, и что не плакал, как малое дитя, когда первый раз встретил под Стара-Загорой авангард отряда Гурко, нельзя сказать также, чтобы какая-нибудь забота томила его душу, мешая мирно наслаждаться свободой отечества; напротив, деду Нистору выпала спокойная старость, и все его домочадцы жили счастливо. Жена его, бабка Нисторица, была еще в полном здравии и, казалось, даже помолодела. Четыре сына — что твои соколы — состояли на службе и не оставляли отца без попечения. Чужие люди уважали его,

здоровьем бог не обидел. Чего же еще было желать старику? Он благодарил бога и благословлял имя царя-освободителя.

Но, как мы уже сказали, дед Нистор не был вполне доволен положением дел. Крутой поворот привел к большим переменам. Меч и огонь опустошили его родной город, его гнездовье, истребили немало старых повстанцев, приятелей, лишив старика многих привязанностей, оставив в сердце множество пустых уголков. Новые люди, которые взялись неизвестно откуда, были ему непонятны, а новые законы, заменившие старые, как-то претили ему, казались шиворот-навыворот. Человек прошлого, он чувствовал себя чужаком в этой новой Болгарии, порожденной политическими сдвигами. Она была для него неведомым берегом, куда он был выброшен штормом. Трудно привыкать к новизне на старости лет. Старик чувствовал себя неприкаянным в городе В., где он жил в доме старшего сына — начальника округа, вдали от родного пепелища, от воспоминаний, от широких зеленых луговин, от всего, с чем свыкся... Его огорчало, что сад с фруктовыми миндальными деревьями, посаженными им в молодые годы, заглох, зарос бурьяном; что двор стоит разгороженный, в грудах камней ползают ужи и ящерицы. А было время, когда в нем звенели голоса детей и его осеняла божья благодать... Бурей сорвало гнездо, птицы разлетелись на все четыре стороны...

— Вырастили сыновей, а теперь в глаза их не видим. Все едино, что нету их... Они без нас сироты, и мы без них. Какая польза, что мы освободились? При турках всяк знал, что у него есть дети, внуки, а нынче мы с тобой, как две кукушки без гнезда, — с горечью говорил Нистор старухе до того, как старший сын взял их к себе.

И еще деду Нистору были не по душе демократические нравы, которые воцарились после того, как прогнали турок. Кто теперь господин и кто слуга — не поймешь, — рассуждал он. Наш Никола, вон, небось, поважнее каймакина⁵³ будет, а сам в Костовой корчме чокается с огородниками и на свадьбе у Стоянчо плясал рученицу!.. Он, видно, все еще считает себя сыном ракаджи⁵⁴ Нистора!.. Ну, разве ж это прилично? А где же чинопочитание? Где почет к царскому человеку? Эх, турки, порази их господь, те знают себе цену, умеют роскошничать и властвовать. А у нас — одна только слава...

К этим причинам, порождавшим недовольство новыми порядками, прибавились и другие — не менее важные. Деду Нистору казалось, что в Болгарии больше нету милости. Новые законы люты, и люди вроде стали такими же. За малую провинность заарканят тебя, отдадут под суд, на расправу адвокатам — и тогда дело твое табак. Проси, не проси — и не посмотрят... Разве ж Тодорчо Коева, казначея, не доконали из-за того, что у него в кассе оказалась недостача. Пустили по миру с шестерыми детьми! Царство-то, небось, не пропало бы из-за каких-то двух десятков лир... При турках худо было, нечего греха таить, но бывало, как упадешь начальству в ноги да подсунешь бакшиш, тут тебе и помилование, и прощение, даже коли ты человека на тот свет спровадил. Нет, нет, турки знали милость. Казнили, однако ж и миловали... Милостивый народ. Не то что мы — чистое

⁵³ Каймаканин (турец.) — правитель околии.

⁵⁴ Ракаджи (турец.) — производитель или торговец ракией.

зверье, прости господи!

И еще дед Нистор считал, что правды нету; не видавшие жизни молокососы, что не знают, почем фунт лиха, разные проходимцы, у коих ни кола ни двора, вдруг полезли в гору, их поставили министрами, большими начальниками, а солидным людям указали на дверь... Откуда-то взялись бездельники, что при турках жили как у бога за пазухой, и уселись нам на шею!.. Разве ж за таких клали головы русские!

Выдвинув этот пункт, почтенный старик перечислял еще тьму-тьмушную неправд и неурядиц, которые никак не вязались с его туманным, неясным пониманием свободы. Он на каждом шагу сталкивался с несоответствиями своим взглядам и привычкам, пустившим глубокие корни в его душе. Образовавшаяся вокруг пустота и груз лет разжигали в нем досаду, неприязнь к новому миру, которого он не принимал и в котором ему не было места. Жизнь тяготила его.

— Нет, уеду хозяйствовать, копать землю; здесь мне делать нечего, — говорил старик, вздыхая по своим зеленым полям и луговинам, раскинувшимся у подножия Средна-Горы.

В обвинительном акте старика против новой Болгарии имелся еще один важный пункт. Дед Нистор находил, что сгнуло веселье. На улицах больше не встретишь веселых людей. Все ходят какие-то понурые, озабоченные, все поглощены делами и вечно куда-то спешат. Даже детишки, и те забросили свои забавы и погрузились в раздумье, будто старички... Пьяного человека днем с огнем не сыщешь... Прежде находилось время и для дела, и для роздыха, и для потехи. А нынче политика не дает людям покоя, травит душу молодым и старым... И это они называют свободой?

Дед Нистор, однако же, избегал каких бы то ни было разговоров о политике, по крайней мере старался ни с кем не вступать в ссоры. По его мнению, политикой занимаются одни только чиновники да выскочки, которым вечно все не так, которые все норовят повернуть по-своему. Солидные же люди делают свое дело... Но сколько их-то?

Сын за обедом нередко спрашивал в шутку:

— Ты, отец, за какую партию?

— Ни за какую, сынок, коли мне приспичит урвать лакомый кусок, вот тогда-то я и подумаю, что у меня за партия.

— Но ты, небось, тоже имеешь убеждения, зачем скрывать?

— Нету у меня никаких убеждений, — бурчал старик.

— Выходит, ты бесцветный? Это нехорошо, — посмеивался окружной начальник, наливая отцу вино.

— Мне теперь не до цветенья, ты бы лучше взял да отправил меня хозяйствовать, чего доброго, я тут еще расхвораюсь.

— Нельзя, отец.

— И мать твоя хочет уехать, ты ей запрещаешь ткать...

— Нас у тебя четверо, мы, слава богу, зарабатываем и на вас, лучше отдыхайте на старости лет.

Отец недовольно мотал головой.

Однажды сын предложил:

— Давай найдем тебе какое-нибудь дело, чтоб не скучал...

— Какое дело?

— Скажем, протащу тебя в члены городской управы, — ответил сын после недолгого раздумья.

— Чем там занимаются?

— Да ничем... Больше отдыхают...

Дед Нистор насупился.

— Надоело мне сидеть сложа руки, да и от бога грех... Ты, Никола, к весне спровадь нас в Стара-Загору, склоти там какой-никакой домишко, зачем же двору бурьяном зарастать? Я буду в земле копаться, а ты себе служи.

Случалось, что разговор отца с сыном протекал более бурно и кончался ссорой. Нравом Никола был крут, в делах службы неуступчив. Старик же страшно обижался, когда сын не хотел уважить его просьбу.

Горожане нередко просили деда Нистора заступиться за них перед строгим начальником. Старик, добрая душа, всех выслушивал и обещал помочь. У него не хватало духу отослать кого-нибудь, не утешив, не обнадежив его. Из-за этого возникало множество недоразумений между отцом и сыном, который из десяти ходатайств удовлетворял одно.

Однажды к деду Нистору пришла бабка Павлевица и со слезами поведала ему, что ее сын, солдат, убежал из казармы; его схватили, окружной начальник собирается отдать парня под суд и теперь ему несдобровать.

— Упроси его, Нистор, пускай простит; бог вас не оставит — и тебя, и твоего Николу. Погубят мою кровиночку — и мне не жить.

Горемычная мать плакала в голос.

Дед Нистор слушал ее, понурился, и когда поднял глаза, они были мокры от слез.

— Не тревожься, так и быть, простим твоего сына, молод он еще, глуп... Иди себе с богом и не бойся за парня.

Старушка вышла, утирая слезы и рассыпаясь в благодарностях.

Дед Нистор прошел к сыну.

— Никола, ко мне приходила старая Павлевица.

— Насчет сына? — сердито спросил начальник.

— Плачет горемычная, прямо сердце разрывается, на нее глядя...

Широкое смуглое лицо сына омрачилось.

— Просит за сына? Он дезертир и должен быть строго наказан в назидание другим солдатам, — промолвил он сурово и, обмакнув перо, продолжал писать.

— Прошу тебя, Никола, простить его и не отдавать под суд... Жалко парня да и старая Павлевица чего доброго помрет с горя, лучше не брать греха на душу. Отпусти его с миром, Никола.

— Я обязан передать его военному начальству, — решительно возразил окружной начальник, явно давая понять, что не желает продолжать этот разговор.

— А я тебе говорю, что ты должен его отпустить, потому как я посулился его матери, что упрошу тебя, — возразил дед Нистор запальчиво.

— Ты опять пообещал?

— А что же, по-твоему, надобно было прогнать бедную женщину?

— Кто мне указ — ты, отец, или моя должность?

— Отец, само собой! — ответил дед Нистор, выходя из себя.

Никола вздохнул и хлопнул ладонями по столу. Отец пристально смотрел на него и ждал.

— Не вмешивайся в мои дела, отец, — промолвил Никола негромко, почти умоляюще.

— А меня для чего нелегкая тут держит? Ставя свечку перед святым, я знаю, что он передаст мою мольбу богу... Так и эта вдова... Послушай, сынок, отпусти парня.

— Но как ты можешь давать обещания людям, не спросив у меня, могу ли я удовлетворить их жалобы?.. Ты ставишь меня в безвыходное положение. Если я его отпущу, могу попасть под суд. Законы у нас строгие.

— Закон бывает строгий и податливый, все в ваших руках. Любой узел можно распутать. Уважь старика, будь милостив, и господь явит к тебе милость.

Никола задумался... Отец малость успокоился: ему показалось, что Никола смягчился.

— Нет! Я сдам солдата его начальству! — решительно заявил окружной начальник и встал.

Дед Нистор уставился на него с изумлением.

— Не хочешь удовлетворить просьбу родного отца?

— Если бы ты просил меня не за павлетихина сына, а за моего родного брата, я бы и тогда не смог.

— Ба! Выходит, ежели не погубите сироту и не отправите на тот свет его мать, несчастную вдову, то царство ваше сгинет? Оно, видишь ли, на правде держится!

Дед Нистор весь дрожал от негодования.

— Пойми, не могу!

— Завтра же подамся в Стара-Загору! — отрезал старик и, выходя, изо всех сил хлопнул дверью.

Проворно спускаясь по лестнице, он выкрикивал во весь голос, чтобы сын мог слышать:

— Правда! Милость! Да есть ли они у болгар?! Звери и тигры!..

Сын и отец, однако, помирились, и старик согласился пожить в городе В. до весны. Он тут же написал своему родичу в Стара-Загору, чтобы тот не сдавал его поля и луга в аренду.

Настала весна, природа помолодела. Окрестные холмы покрылись зеленой муравой; ручейки весело зашумели в долах, где радостно блеяли и резвились возле своих маток ягнята. Сады в городе оделись в белый и розовый наряд, запахло липы. Ласточки, веселые подружки весны, носились низко над крышами и радостно щебетали около своих гнезд. Дед Нистор сидел на балконе без шапки, с чубуком в руке и, посматривая на зазеленевший, весь в цвету сад, воздыхал по своим зеленым луговинам... Какая тучная теперь на них трава! Он вдыхал полной грудью свежий утренний воздух, и ему казалось, что до него долетает упоительный аромат свежего сена.

В эту минуту из Николиной комнаты, дверь которой на балкон была распахнута, донесся какой-то гомон. Старик прислушался. По голосам он понял, что сын разговаривает с крестьянами. Лицо его выразило удивление и досаду, видно, он услышал, о чем они толкуют. Вскоре крестьяне ушли, дед Нистор тоже покинул балкон.

— Отец, ты никак опять собираешься меня распекать? — с улыбкой спросил сын, от глаз которого не укрылся сердитый вид старика.

— Ты, Никола, постыдился бы людей! Я все слышал, — сказал дед Нистор.

— А в чем дело? Скоро выборы...

— Ты зачем поучаешь сельских кметов выбирать в депутаты таких висельников, как Начо Лазов?

— Лазов и все остальные, кого я порекомендовал, — члены либеральной партии, в которой состою и я... Да ты ведь не вмешиваешься в политику и это тебя, верно, мало интересует.

— Лазов, говоришь? Да я третьего дня слышал, как он на всю улицу поносил твоего министра.

— Лазов прав, и потому я хочу, чтобы он попал в Народное собрание.

Дед Нистор не верил своим ушам.

— Как? Ты идешь против своего господина? Ты неверный раб, про которого говорится в евангелии!

— Министр никакой мне не господин, а я ему не слуга, отец. И он, и я служим нашему государству. Вот и все.

— Ладно, пусть так. А чем он тебе не угодил, что ты ему роешь яму? Кусок хлеба отобрал, или, может, ты больно умный стал? Свинья, наевшись, переворачивает корыто.

Никола вспыхнул.

— Ты, отец, как заладил: хлеб да хлеб... У человека есть убеждения, которые ему дороже всего на свете.

— Мне до этого нету дела... Ты ответь, что я спрашиваю: чем тебе не угодил министр?

— Он враг конституции.

— Какой такой враг?

— Он требует ее ограничения, ну, как тебе сказать... хочет урезать права народа.

— А твое месячное жалованье не хочет урезать?

— Нет, но это не так важно... Главное — это конституция... Но ведь эти вопросы тебя не интересуют, зачем ты допытываешься?

— Ладно, скажем, конституции вашей крышка, что тогда будет? Турки, что ли, воротятся?

— О, нет, это невозможно, но народ лишится права самостоятельно управлять государством. Отнять у народа права избирать депутатов — это значит, заткнуть ему рот, связать по рукам и ногам... Одним словом, новое иго.

— А Лазов его избавит? Знаешь, сын, что бы я сделал на месте твоего министра? Вытолкал бы тебя взащей в одночасье... Никола, а я-то думал, что ты умнее. Ну-ка скажи мне: неужто и остальные трое с тобой заодно? Этого только не хватало!

— Все мои братья — тоже либералы.

— Собачьи сыны!

Никола поднялся с места белый, как стена.

— Ты, отец, не суйся не в свое дело и не кричи... У каждого человека есть убеждения, которые он отстаивает; у тебя, как я вижу, они тоже есть, только проржавевшие.

Дед Нистор посмотрел на него с негодованием:

— Отец, значит, твой проржавевший, а Лазов — из чистого золота? Нет, довольно я терпел. Завтра уезжаю в Стара-Загору.

Тут вошел рассыльный, подал окружному начальнику пакет и вышел. Никола нетерпеливо разорвал конверт, на котором под обычной надписью «Н-скому окружному правителю» была приписка «г-ну Николе Н. Брабойкову», побледнел и швырнул бумагу на стол.

— Вот, полюбуйся, какие безобразия вытворяет твой любезный министр!

— В чем дело?

— Освобождает меня от должности!

Дед Нистор от удивления разинул рот.

— Освобождает меня от должности, — повторил сын, взяв опять бумагу в руки, — «по неблагонадежности и за партизанские действия». Видно, какой-нибудь интриган на меня донес... Да! Партизанские действия. Что ж, теперь у меня руки развязаны, и я буду действовать архипартизански! Ты увидишь, как я умею сводить счета с таким ничтожеством! Да я весь округ подниму на ноги! Я их сотру с лица земли, как червяков! Им не нужны независимые, мыслящие люди, которые соблюдают благородные принципы и не поклоняются праздным идолам, подобно их высочествам — министрам... И им покажу! Моим ответом будет митинг, который я созову завтра, он свалится им на голову, как гром с ясного неба!

Дед Нистор вышел, не проронив больше ни слова.

— Все им не так, окаянным! — бормотал он, спускаясь по лестнице. — Слава богу, скоро вырвусь отсюда, уеду к своим нивам и луговинам... Ячмень-то уж, небось, вымахал выше колена, жатва не за горами...

И он уносился мыслями на благодатную равнину под Стара-Загору, где зеленеют нивы и шелковистые луга, где растут гигантские ореховые деревья, шумят листвой развесистые яворы и миндальные деревья, а в палисадниках красуются олеандры.

В самом деле, наутро — день был праздничный — весь город пришел в движение. Народ, заранее взбудораженный газетами и агитаторами, бурлил. Недовольство правительством росло. Толпа всегда заодно с теми, кто против власти. У всех правительств есть большой порок, который состоит в том, что они такие, какие есть. Толпе приятно рукоплескать свержению кумира, топтать ногами его обломки... В этом она видит свою силу. Вот почему у нас нынче все ударились в демагогию... Увольнение окружного правителя — энергичного, делового чиновника и притом заядлого либерала всколыхнуло оппозицию, подлило масла в начинающийся пожар. Никола Брабойков с приятелями немедленно приступил к выполнению своей угрозы. Он назначил на праздничный день митинг. На дверях кофеен и каменных оградах красовались листки с написанными от руки извещениями. Народ жадно читал воззвания против правительства и с

нетерпением дожидался митинга, который должен был состояться в верхнеслободской школе после службы в церкви Пресвятой Богородицы. С утра под окнами школы собралась большая толпа. Митинг в этом довольно глухом городе был событием знаменательным.

Сторонники правительства, которых, естественно, было меньше числом, всполошились, они не знали, как помешать нежелательному сборищу. Жандармы бросились срывать объявления, но мера эта была бесполезна и смешна: в городе и младенцы уже знали, что будет митинг. В конце концов приверженцев правительственной партии осенило: они решили созвать контрмитинг в нижнеслободской школе в тот же час — после окончания службы в церкви св. Николая. Волею случая жители большей части города, прихожане церкви Пресвятой Богородицы, поддерживали оппозицию, а южная часть, приход церкви св. Николая, горой стояла за правительство. Итак, с обеих сторон начались лихорадочные приготовления к созыву как можно большего количества людей. Нижнеслободские прибегали к помощи жандармов, разослав их собирать единомышленников; а верхнеслободские наряду с другими средствами упросили священника с алтаря пригласить народ на собрание, призванное осудить «варварство» правительства.

Народ бурными потоками устремился к зданию школы. За несколько минут оно было заполнено до отказа, толпа запрудила галерею, облепила перила и подоконники.

Дед Нистор вышел из церкви, с презрением окинул сборище взглядом, сплюнул и пошел своей дорогой. Старик со вчерашнего дня негодовал на Николу, он не мог взять в толк ни своенравия и черной неблагодарности сына, из-за которых тот лишился должности, ни того, что заставляет этих людей, среди которых он увидел и почтенных горожан, горланить и мутить воду... «Окаянные, все им не так», — твердил он и шел по улице сам не зная куда, только бы уйти подальше от этой сутолоки. Вечером, перед тем как лечь спать, он написал три одинаковых письма, три «циркуляра» своим сыновьям, в которых советовал чтить начальников и не соваться в политику. «А в депутаты, — писал он, — постарайтесь избрать хороших и верных людей, а не прощелыг вроде здешнего Лазова...» Старик не подозревал, что впал в противоречие!.. Он спохватился, что нужно отправить «циркуляры», и пошел на почту, в южную часть города. На обратном пути он увидел перед нижнеслободской школой кучу людей. Они что-то горячо обсуждали, энергично размахивая руками, — видно, были чем-то встревожены. Старик зашел в ближайшую кофейню выпить по обычаю чашечку кофе. Куча все увеличивалась. Дед Нистор, заметив, что здесь люди получше одеты и с виду посолиднее, вдруг почувствовал к ним благорасположение. Двое-трое горожан вошли в кофейню и, пошептавшись, обратились к присутствующим:

— Ну, господа, пора на собрание... Господин Нистор, пожалуйте и вы... Все честные люди должны помочь укреплению власти, а не то всякие головорезы да гольтьба сиволапая нас сомнут...

Слова эти пришлись по душе старику. То же самое писал он и своим сыновьям: чтоб не совали нос в политику и горой стояли за начальство. Он поднялся и вышел вслед за остальными посмотреть, что будет дальше. Куча людей перед школой увеличилась, но не настолько, чтобы можно

было митинговать. Сторонники правительства сходились один по одному без особой охоты. Воодушевлением, которое царило среди верхнеслобжан, здесь и не пахло. К тому же дело осложнялось тем обстоятельством, что чорбаджи Хаджи Недялко женил в этот день сына и большинство народа из церкви св. Николая повалило на свадьбу. У богача была большая родня, человек он был известный, со связями. Устроители митинга готовы были рвать на себе волосы с досады.

— Эти разбойники, верхнеслобжане, затащили, небось, на свой митинг и дровосеков с ослиами, а наши — кто подался на свадьбу, кто в гости, кто затаился дома. С такими разинями каши не сварить...

Но делать нечего. Митинг нужно было провести, чтобы не ударить лицом в грязь перед супротивниками. Да и кто мешает написать в резолюции вместо шестидесяти душ — шестьсот? Хотя вроде бы как-то неловко... Поступило предложение войти в школу. В эту минуту слышались звуки военного оркестра. Из противоположной улицы показалось свадебное шествие. Во главе шли музыканты, за ними тянулась огромная ватага свадебников, до краев запрудившая неширокую улицу, ватаге той не было конца. Свадебная процессия, словно исполинская гусеница, выползла на площадь перед школой. Тут было несколько сот мужчин и женщин. Митингующие смотрели в их сторону с завистью и досадой: свадьба эта испортила им все дело. Они побоялись, как бы кто-нибудь еще не поддастся соблазну, и поспешили укрыться в школе. Но вышло наоборот: свадебщики начали один по одному присоединяться к ним. Видно, в колонне гостей заработали надежные агитаторы. Число дезертиров с каждой минутой росло, толпа гостей заметно редела. Вскоре от нее стали отделяться целые группы, и стройная грандиозная колонна превратилась в жалкий батальон без флангов и центра, на посту остались только верные своим обязанностям музыканты, женская половина свадебщиков, новобрачные да с десятков почтенных старцев — генералы этой разложившейся армии...

Благодаря столь неожиданному подкреплению, число митингующих возросло до трехсот душ, при помощи ничтожного нуля эта цифра в резолюции превратилась в три тысячи. Нижнеслободские воспрянули духом, к ним вернулась вера в свои силы.

— Народ собрался. Бюро, бюро! — слышались возгласы.

— Сперва нужно избрать председателя.

— Говорите: кого?

После небольшой суетни раздались голоса:

— Данчо Пырвова.

— Нету его!

— Кого вместо Данчо?

— Чтоб не терять времени, самого старого.

— Самого старого и нейтрального, господи, — выкрикнул кто-то громким голосом. — Предлагаю избрать господина Нистора Брабойкова, нарочито оказавшего честь нашему собранию.

— Ура! Bravo! Согласны!

Возгласы единодушия сотрясали воздух.

Дед Нистор не успел и оглянуться, как очутился на председательском месте, куда его перенесли и усадили несколько пар крепких рук. Старик

переменился в лице, он совсем оробел. Ему казалось, что это сон. Все взоры с сочувствием устремились к нему. Его присутствие в роли председателя имело важное значение: это подрывало авторитет митинга, созванного его сыном. Собрание устроило председателю восторженную овацию. Тут и там слышались лестные восклицания, похвалы в его адрес: «Вот честный человек, который отстаивает свои убеждения!» «Вот истинный патриот, всенародно порицающий своего сына и одобряющий его наказание!» «Будь у нас побольше таких кристальных душ, Болгария не затонула бы в болоте радикализма!»

«Да здравствует болгарский здравый разум! Долой нигилистов!» — гремело в зале.

А в это самое время верхнеслободские избрали в председатели свергнутого правителя округа!

— Уважаемые граждане, объявляю митинг открытым, слово ораторам, — объявил секретарь нижнеслободцев, в обязанности которого вменялось руководство митингом и... его председателем.

Дед Нистор хранил молчание, взирая с высоты своего председательского места на публику богобоязненно и благочинно. Время от времени он одобрительно кивал головой ораторам, которые, выступая, обращались к нему. Старику такое внимание, видно, нравилось, это тешило его самолюбие. Он приободрился и, видя, что все хлопают в ладоши, тоже хлопал.

— Вот настоящий патриот, — слышалось со всех сторон.

Митинг благополучно подошел к концу. Принятая на нем резолюция прибыла в министерство и в редакции столичных газет вечером того же дня вместе с резолюцией верхнеслободского митинга. Под первой стояла подпись Нистора Н. Брабойкова, вторая была подписана его сыном Николой.

Это показалось настолько невероятным, что до подтверждения достоверности подписей в Софии склонны были думать, что это мистификация.

Утром Никола не стал удерживать отца.

Старик отбыл в Стара-Загору.

Спустя две недели дед Нистор со своим сверстником и приятелем дедом Нане, оседлав лошадей, объезжали поля и луговины. Было утро. Солнце после ночной грозы весело светило с лазурного неба. Хрустальная Бедечка, выбежав из студеной горловины Средна-Горы, с ласковым журчаньем струилась через ореховую рощу, огибая Чадыр-Курган. Бескрайняя равнина простиралась к югу до самого горизонта, будто зеленое море. Широкие луга и волнующиеся нивы манили взор свежей зеленью. Воздух звенел птичьими трелями; запахи и благоухания пьянили грудь. Дед Нистор с чубуком в руке, с довольным, помолодевшим лицом весело журил деда Нане. Их разговор с видов на урожай незаметно перешел на политику. Дед Нистор, не жалея красок, описывал своеволие сына Николы, которое заставило его покинуть город В. Воспоминание о мятежном поведении Николы, его неповиновении начальству все еще приводило его в ярость.

— Окаянные, нету на них управы! — бурчал он, сердито прищпоривая

лошадь.

— Да и ты хорош! Старый человек, а туда же — в председатели полез!.. Как был сорвиголова, так и остался!.. — удивлялся дед Нане.

Дед Нистор усмехнулся в усы и ничего не сказал.

1888 г.

Встреча

По одной из новых улиц на окраине Софии шла невысокая, но миловидная и стройная крестьянка, празднично одетая (день был праздничный): в ярко расшитом грубошерстном сарафане, чистой белой кофточке, алом фартуке и кокетливо повязанном на голове желтом платке, как одеваются молодки из-под Вакарела. В руках она держала пестрый мешок.

Дойдя до конца улицы, она остановилась у полуоткрытой калитки в деревянном заборе. За забором был виден довольно большой двор с садом, где росли редкие деревья — мелкие, чахлые, как все деревья в Софии. Сад этот оживляли только бархатисто-лиловые фиалки, ветвистый шпорник да несколько стеблей цветной метелки, поникших под жгучими солнечными лучами. В глубине возвышался двухэтажный дом с балконом и каким-то треугольным украшением из досок с резьбой на фронтоне, как у швейцарских шале.

Стояла палящая жара. Молодка поглядела сквозь переплет калитки, толкнула ее и робко вошла во двор. Двор, как и улица, был безлюден. В окнах никто не показывался, хотя в тот момент, когда калитка открылась, в доме зазвенел соединенный с ней звонок. Крестьянка оглянулась по сторонам, подождала. Прошло некоторое время, но никто не вышел, и из дома не долетело ни звука, который говорил бы о присутствии живых людей. Она отерла пот с лица и сделала несколько шагов по направлению к дому, чтобы встать в тень. Подождала еще немного, с удивлением прислушиваясь, потом постучала во входную дверь и позвала:

— Стоян!

Но никто не вышел на зов. Тут она заметила, что в окнах нижнего этажа опущены занавески. Эти закрытые в обеденное время окна и это молчание навели ее на мысль, что в доме никого нет, что обитатели покинули дом, а может, даже и Софию... Наверно, так оно и есть... При этой мысли на лице крестьянки отразилось скорбное недоумение. Она опять вышла на улицу. Может, там кто встретится? Из соседних ворот выбежали ребятишки, стали играть в мяч. Крестьянка обратилась к тому, что постарше:

— Послушай, сынок, где мой Стоянчо? Ты знаешь моего Стояна?

Мальчик удивленно посмотрел на нее и, ничего не ответив, опять пустился за мячиком.

Она повторила вопрос. Но и на этот раз безуспешно. Мальчуган был так увлечен игрой, что даже не обернулся. Потеряв надежду добиться толку у ребят, она стала озираться по сторонам, ища глазами кого-нибудь из взрослых. Но улица оставалась по-прежнему пустынной. Двое-трое случайных прохожих были с других улиц — они ничего не знали. Взгляд их

скользнул по ней с дерзким любопытством — красивое ее лицо залилось краской; она поспешно отвернулась. Многие встречные глядели на нее нынче с таким выражением. Но что ей до этих взглядов? Ей нужен взгляд того, кого она так безуспешно разыскивает. Прошло два часа, а она все стояла, выпрямившись, у забора, на узкой полоске земли в тени. Сердце ее дрожало от нетерпения и печали. «Только бы знать, что он жив!» — думала она. Пошла, постучала в соседние ворота в надежде, что там отзовутся. Но и там никакого отклика. Она заглянула даже в окна нижнего этажа: никого! Это ее совсем озадачило. «Точно все вымерли!» — подумала она, нетерпеливо стиснув зубы.

Настал полдень. Она не могла больше ждать. Ей надо было идти, чтобы не заночевать в этом незнакомом городе и в тот же день вернуться к себе в село, хоть к вечеру. Подруги ее уже ушли. Она еще раз осмотрелась по сторонам: никого! Опять бросила печальный взгляд сквозь переплет калитки на двор, где никто ее не встретил, никто не проводил. Там все молчало, все было мертво. Вдруг где-то справа, наверху, над самой ее головой, хлопнула дверь. Она подняла глаза кверху и увидела, что отворилась балконная дверь соседнего дома, выходящего на тот двор, где она искала Стояна. На балкон вышла пожилая, почтенного вида женщина в черном. Она села на стул, выбрав на балконе тенистое место, где выстроились в ряд горшки с геранью. Молодая крестьянка вздрогнула от радости, увидев, наконец, живого человека, с которым можно поговорить.

— Тетенька, тетенька! — громко, на всю улицу крикнула она.

И впилась в незнакомку соколиным взглядом, как бы желая схватить, удержать ее, чтобы она опять не исчезла.

Госпожа, перегнувшись через железные перила, добродушно, с любопытством посмотрела на крестьянку:

— Чего тебе, молодка?

— Куда капитан девался? Нешто не здесь он?

— Нет его, молодка.

— Где ж он, тетенька?

— На купанья в горы поехал... Видишь, милая, какая нынче жара. А тебе что?

Но крестьянка вместо ответа снова спросила:

— И парень с ним?

— Какой парень?

— Мой, тетенька, — солдатик, что при капитане?

— Ах, денщик-то?

— Вот-вот, тетенька; он самый. Ты его знаешь? — радостно воскликнула крестьянка.

— Знаю... Кем же он тебе приходится? Братом, что ли? — спросила госпожа, понимая, что он не может быть сыном такой молодой женщины.

— Нет, нет. Я — жена его.

— Пошли ему бог здоровья, молодка!.. — сказала госпожа с легкой улыбкой. — Славный он у тебя!.. Так ты его ищешь?

И она объяснила, что за две недели перед тем видела, как он бродил по двору, здоровый, веселый, а дней десять тому назад офицер уехал на купанья, и денщик, наверно, с ним... Вернутся они, должно быть, недели через две. Славный солдатик Стоян, разумный... Она его знает.

Крестьянка смотрела на госпожу, разинув рот и ловя каждое слово. Она стала расспрашивать ее о Стояне, не зная, как отплатить этой доброй женщине, которая ее успокоила и порадовала.

— Как вернется Стоян, тетенька, поклонись ему от меня три раза, скажи: Милена, мол, жена твоя, кланяться велела... Приходила к тебе, а тебя нету. Так и не повидались. Слышишь, тетенька? Да скажи, что приносила ему кое-что: чулки, разное там... Эх, не застала я его!.. Спасибо, тебя встретила!..

Крестьянка нагнулась, развязала мешок, вынула оттуда горсть черешен и подошла к балкону, от которого ее отделяло несколько шагов.

— На вот, тетенька, возьми, покушай... Я, было, своему принесла. На здоровье...

Видя, что ей не дотянуться, она сделала движение, чтобы войти в дом и там передать госпоже ягоды.

— Спасибо, милая, не трудись. Я не ем черешен... Ты из какого села?

— Из П.

— Помоги тебе господь, голубушка, — сказала госпожа, глядя на восток, где за желтоватыми вершинами холмов находилось село, откуда пришла крестьянка.

— Покамест прощай, тетенька. А как Стоян вернется, уж ты, сделай милость, передай ему от меня низкий, низкий поклон... Больно, мол, скучает по тебе Милена...

И она пустилась в обратный путь.

* * *

Прошло всего полтора года, как Милена вышла по любви за Стояна. Велика была их радость, глубоко счастье, да недолго длилось. Два месяца были Стоян с Миленой жених и невеста да месяц — молодожены. Только месяц, а потом осталась Милена соломенной вдовой: Стояна взяли в солдаты. Так и не узнала по-настоящему, что такое замужество. Много слез пролила. Пришлось ей остаться со злыми, суровыми свекром да свекровью. Одна радость что пришет поклон Стоян, а он часто посылал с односельчанами весточки. Милена только и жила этими весточками. А как она горевала, когда Стоян заболел и его в больницу положили. Но, благодарение господу, выздоровел. А теперь и того лучше: уже три месяца служит Стоян в денщиках у капитана и не нахвалится им... Ах, почему дома у них нет таких добрых людей! Свекор, а пуще того свекровь, люто ее мучают, поедом едят день-деньской, только и слышишь брань да попреки... Просто житья нет! Будь Стоян дома, он заступился бы! Да нету его, и вот уж три недели она ничего о нем не знает... Вчера выбралась потихоньку из дому, пришла повидаться с ним, наглядеться на него, поплакаться, чтобы знал Стоян, как тоскует по нем жена! Да нету его, и здесь нету! А теперь вот опять возвращайся в постылый дом, неутешенной, необласканной ничьим добрым словом. Хорошо хоть узнала, наконец, что он жив-здоров! Какая добрая эта соседка! Стоян теперь на купаньях в горах... И Милена представила себе поросшие сосной косогоры, прохладные, тенистые долины, где журчит быстрая, пенная река... В таком вот месте, наверно, пребывает теперь Стоян. В горах всегда так бывает: зелено, прохладно,

весело... И ей вспомнились речка и долина у них в горах, где она белила холст, и ветвистый ивняк — там они впервые встретились и полюбили друг друга... Через две недели Стоян вернется. Уж тогда — будь что будет! — она полетит к нему и свидится с ним... Эх, поскорей бы прошли эти две недели!

Полная таких мечтаний, Милена шагала по улицам, не обращая ни на что внимания, не замечая встречных мужчин и женщин. Да и смотреть было не на что: город был для нее мертвой и глухой пустыней, раз в нем нет Стояна. Безотчетно сворачивала она то вправо, то влево, уступая дорогу извозчикам. Очутившись на многолюдной Витошской улице, пошла по самой середине. И вдруг увидела, что прямо навстречу ей движется какая-то черная масса, что-то страшное, непонятное, необъяснимое. Она перешла на тротуар и остановилась посмотреть, что это такое. Мимо медленно ехала какая-то странная черная повозка, запряженная парой черных лошадей. На повозке лежал длинный черный гроб, а впереди, рядом с солдатом-кучером сидел священник с крестом в руке и епитрахилью на плечах. За повозкой шагали в два ряда солдаты. Милена смотрела, раскрыв рот; ей в голову не приходило, что это солдатские похороны. Она поняла только, что это шествие как-то связано с церковью, с религией — поняла это по присутствию священника, ехавшего на телеге с крестом в руке, и по тому, что мужчины при виде черной колесницы снимали шапки. Она пошла дальше, не решаясь спросить, что все это значит. Это все — городское. Мало ли диковинного видела она в этом городе, — такого, о чем ей и во сне не снилось! Какое ей до всего этого дело? Ей мил один Стоянчо, а все остальное неинтересно — и в городе и на всем белом свете. Единственное, что дошло до ее сознания, — это солдаты; она видела в них товарищей Стояна. Как знать, может, кто-нибудь среди этих парией знает его, дружит с ним. И она обернулась назад, с умилением провожая глазами удаляющийся взвод.

* * *

Милена уже хотела свернуть на другую улицу, как заметила, что под струей источника умываются солдаты; она невольно задержала на них взгляд, словно надеясь найти среди них своего мужа, хотя прекрасно знала, что он не может быть здесь. Ей повезло. Одного из солдат, в шапке набекрень, вытиравшего лицо платком, она узнала. Он был из их села. Милена подбежала к нему, весело окликнула его:

— Димитр!

— Здравствуй, Милена!

Солдат пошел ей навстречу, подал ей руку, с первого слова Милена заговорила о Стояне: давно ли Димитр видел Стояна, как Стоян себя чувствует, и тут же объяснила, как она искала мужа, но оказалось, что он вместе с капитаном уехал на купанья.

Солдат посмотрел на нее с удивлением.

— На купанья? — переспросил он.

— Ну да, на купанья, с капитаном и его женой.

На лице Димитра выразилось сомнение.

— Ты это верно знаешь, Милена?

— Я тебе говорю, Димитр! Зачем бы эта пожилая женщина стала врать?

— Вот как? Чудно... Разве он выписался из больницы? — воскликнул солдат.

Крестьянка сердито поглядела на него.

— Что ты городишь, Димитр? Неужели не знаешь, что Стоянчо выписался из больницы еще в прошлом году... А теперь служит у капитана, в его доме, и капитан увез его с собой на купанья. Я только что говорила об этом со старой госпожой.

Милена от волнения позабыла, что госпожа только высказала предположение о поездке Стояна.

— Они вернутся через две недели!

Солдат отрицательно покачал головой. Он понял, что Милену ввели в заблуждение, и ему стало очень жаль ее. Но от суровой солдатской жизни сердце черствеет, и он напрямик объявил:

— Что ты мелешь, Милена? Стояна две недели тому назад в больницу отвезли. Шибко заболел, говорят. Сходи-ка лучше проведай его, коли уж ты тут... Сходи, сходи, передай ему привет и от меня... Да постой, больница вон там. Прощай!

И Димитр, указав ей, в какую сторону идти, побежал догонять товарищей, шагающих в казарму.

У Милены ноги подкосились. Все закружилось у нее перед глазами, мысли смешались в голове... Страшные слова Стоянова товарища мгновенно вытеснили из души ее все радостные чувства, всю бодрую уверенность. Сообщение Димитра, она сама не знала почему, показалось ей очень похожим на истину, на страшную истину! Господи, как страшно! Немного придя в себя, она снова пустилась в путь; шатаясь, как пьяная, вышла она в поле, на зеленую равнину и увидела перед собой белые здания больницы. После долгого блуждания и расспросов она выяснила, к кому надо обратиться, чтобы узнать о Стояне и попросить разрешение пройти к нему.

— Имя больного? — спросил хмурый, всклокоченный чиновник.

— Я сказала: Стояном звать, — прерывающимся голосом ответила Милена, одурманенная запахами больничных лекарств.

— Стоян? Который? Чей? Как зовут отца?

— Стоян Тасков. Таско отца зовут.

— Из какого села?

Милена назвала село.

— Когда он сюда поступил?

— Почем я знаю? Димитр сказал: уж две недели, как свезли...

Милена вперила испуганный взгляд в лицо чиновника, который начал быстро перелистывать какую-то канцелярскую книгу. Каждую минуту она с трепетом ждала, что вот он взглянет на нее и скажет: «Есть!» И, объятая страхом, она уже видела Стояна на больничной койке, изможденного, пожелтевшего от страданий так, что не узнать.

Наморщив лоб, чиновник две-три минуты искал в реестре, потом объявил:

— Нет его здесь, не поступал сюда такой больной.

Сердце Милены затрепетало от радости. Надежда ее воскресла.

— Так его здесь нету? Значит, старуха правду сказала: он с капитаном на купаньях... Зачем только Димитр соврал, напугал меня!.. Ах, ведь я знала, что Стоян теперь далеко, знала, знала... — радостно воскликнула Милена, обращаясь к чиновнику, словно хотела поделиться с ним своим счастьем... Этот человек казался ей теперь таким добрым! Он злой и угрюмый только на первый взгляд, а на самом деле у него славное лицо — просто приятно посмотреть. Радость заставляла ее видеть все в розовом свете.

— Нет его здесь! — равнодушно повторил чиновник, отложив в сторону реестр, и снова принялся за прерванную работу.

Милена поняла, что ей тут больше нечего делать, и вышла во двор. Грудь ее расширилась, вдыхая чистый воздух. На душе стало легко, весело. Она зашагала к воротам. Но в это время ее окликнули из окна конторы. Милена обернулась.

— О, мешок свой забыла! — спохватившись, воскликнула она.

И сейчас же пошла за ним обратно. Остановилась у двери, где он лежал, подняла его и хотела было идти.

— Постой, молодка! Куда ты? — слышался голос из-за письменного стола.

Обернувшись, она увидела, что на этот раз над реестром склонились двое. Видно, ее позвали не из-за мешка: они вряд ли даже его заметили, а хотят сказать что-то другое.

Милена в недоумении остановилась.

— Как зовут твоего мужа? — спросил другой чиновник, безбородый, которого прежде в конторе не было.

— Стоян Тасков из села П., — отчетливо назвала Милена.

— Из П.? Стоян Атанасов. Доставлен капитаном Начевым... — промолвил безбородый, водя пальцем по реестру.

— Да, это он, — пробормотал другой.

Потом оба пошептались, и безбородый быстро вышел из комнаты.

— Он тут был? — спросила Милена, и сердце ее заколотилось.

— Подожди немного, молодка, — сказал прежний чиновник, закурил папироску и, вынув перо из-за уха, стал что-то писать.

Милена стояла в оцепенении. Что такое? Уж не приведут ли сейчас Стояна?

Молодой чиновник скоро вернулся с полосатой шерстяной сумкой в руках.

— На, возьми сумку, красавица; унеси ее!

Милена, озадаченная, машинально взяла сумку.

— Стоянова сумка! — вскричала она, растерянно глядя на чиновников.

— Да! Возьми ее с собой... Тут его вещи... Господь прибрал его, молодка: недавно похоронили, — торопливо сообщил чиновник, стараясь поскорей окончить неприятное объяснение.

Милена глядела опешив, как будто ничего не понимая, потом схватилась за голову и закричала пронзительно, на весь дом. Упала возле двери на пол, со сбившимся на голове платком, стала плакать, стонать, сжимая в руках Стоянов мешок. Раздирающие вопли ее терзали душу.

Чиновник скоро потерял терпение.

— Довольно, молодка, довольно! — строго сказал он. — Ступай! Муж

твой умер. Понимаешь, умер! Дома у вас лежал бы — все равно умер бы!.. Не вопи, иди себе!..

Милена, в отчаянии, не слушала его.

Тогда он не на шутку рассердился.

— Ты слышишь? Я не люблю, когда у меня тут вопят, — сказал он, вставая. — Простой солдат, а шум-гвалт такой, будто умер фельдмаршал!.. Черт побери! — тихо добавил он.

Этот чиновник перевидал столько чужих, неизвестных ему покойников, уносимых отсюда, так привык к зрелищу человеческого страдания, что неспособен был тронуться горем Милены или отнестись к нему сочувственно. У него очерствело сердце, как у священников и врачей. Душераздирающие крики Милены только досаждали ему...

Сама не своя вышла Милена из больницы с двумя сумками на спине вместо одной. Зашагала куда глаза глядят, не зная, куда идет... и очутилась опять в городе, на Витошской улице. Шла, громко всхлипывая и вызывая удивление встречных. Но скоро опомнилась, оглянулась по сторонам и остановилась. Как раз на том самом месте, где она останавливалась недавно, чтобы посмотреть на диковинную погребальную колесницу. Ей вспомнились вдруг и эта колесница, и священник, и солдат, и длинный черный гроб. Страшная мысль вдруг пронзила ее сознание.

— Матушки, да ведь это он и был давеча! — воскликнула она и беспомощно зарыдала, припав к фонарному столбу.

К ней подошел полицейский, тронул ее за плечо:

— Не собирай прохожих, молодуха!

Милена отшатнулась от него и быстро пошла вверх по улице. Теперь она шла сознательно: она шла по следам, оставленным черной колесницей.

Шла на кладбище.

* * *

Сумерки застали Милену неподалеку от Софии, и она заночевала на деревенском постоялом дворе. Забылась только поздно ночью. Во сне опять увидела Стояна — на какой-то привольной горе, где густые тени падают от широколистных дубов, а вечерний ветер далеко разносит журчанье прохладной горной речки. Она вспомнила, что ей приснилось, будто Стоян умер в больнице и что она встретила повозку, в которой его везли зарывать в землю, вспомнила, что искала его могилу и упала на нее... Какой страшный, лживый сон! Она благодарила бога, что это был только сон... Всю ночь она бредила и стонала. И, проснувшись на заре, вспомнила все, только долго не могла разобрать, что было наяву и что во сне.

1891 г.

Упрямая голова

Поезд только что прибыл и уже готов был тронуться в путь. Он останавливался здесь всего на две минуты, чтобы сдать почту. На этой

глухой станции никто никогда не садился и не выходил.

Но сегодня, против обыкновения, перед ее зданием гудела целая толпа. Мужики и бабы шумно прощались с молодыми парнями в шапках, украшенных букетиками цветов и веточками самшита. Это были запасные из ближнего села С., которых везли на учения. Уезжали они всего на три недели, но родственники, взволнованные слухами о войне, провожали их так, будто расставались надолго, а может, и навсегда.

Провожающие столпились перед большим старым вагоном третьего класса, прицепленным чуть ли не к самому паровозу, впереди всего состава. Такое предпочтение объяснялось соображениями весьма зловещего характера: в случае крушения вагонам для бедняков предоставлялась высокая честь разбиться в щепки вместе с находящимися в них людьми и тем предохранить от гибели пассажиров задних вагонов, куда билеты стоили гораздо дороже.

Поезд уже двинулся, как вдруг какая-то хорошенькая девушка проворно вскочила на ступеньку и протянула букет высокому синеглазому солдату. Тот высунулся из окна чуть не до пояса и схватил цветы, до боли стиснув девушке пальцы. Поезд ускорил ход, и молодые люди не успели — или не догадались — сказать друг другу ни словечка. Тяжело дыша, покраснев как пион, девушка не спускала глаз с удаляющегося окна, в котором еще можно было разглядеть неподвижную непокрытую голову.

* * *

Скоро поезд скрылся за голой, безлесной вершиной. Солнце, похожее на расплавленный золотой шар, замерло над черными горами, потом тоже скрылось за ними, утонув в сплошном огненном море. Стало быстро темнеть. Поезд, набирая скорость, мчался по пустынному, темному полю. В вагоне на потолке зажглась лампа. Запасные взяли за вещевые мешки, стали доставать из них харчи, готовясь ужинать. Вдруг паровоз оглушительно загудел, и поезд остановился.

— Что такое? Уже станция? — всматриваясь в темноту, спрашивали друг друга запасные.

Но кругом не было видно ни одного строения. Поезд остановился прямо в поле. Очевидно, впереди какое-то препятствие.

— Красный фонарь! — заметил кто-то.

В самом деле, на ближайшем железнодорожном посту зажгли красный фонарь, означающий, что путь закрыт. Скоро выяснилось, что впереди провалился мост, и поезду придется всю ночь простоять, пока его не починят.

— Кто желает, может выйти! — отворив дверь, сказал кондуктор.

Запасные не заставили себя просить и дружно высыпали в темноту на свежий воздух. Из других вагонов тоже выходили пассажиры. Но они отнеслись к происшествию отнюдь не спокойно и безропотно.

— Безобразие! — кричали господа из второго класса.

— Да что они там ослепли, что ли? Не могли раньше починить? Торчи теперь всю ночь в степи! — бушевал первый класс.

А запасные приняли все гораздо хладнокровней. Неожиданная остановка только удивила, но не рассердила их. Они уже чувствовали себя

солдатами, для которых терпение и покорность — первая обязанность.

— Давайте полежим на траве! — слышались голоса.

— Пускай господа спят в вагоне, чтобы не простудиться. А нам и тут хорошо, на траве под синим небом! — смеялись другие.

Никто не захотел оставаться в вагоне. И пока господа закрывали окна, чтобы отгородиться от ночной прохлады, солдаты уже валялись на мягкой траве, глядя на мерцающие звезды, алмазным песком усыпавшие небо, — с мыслями, устремленными к деревне, где их близкие тоже думают и тоскуют сейчас о них.

* * *

Мало-помалу разговоры стихли. Сокрушительные волнения дня, наполненного прощением со всем, что было дорогого, и пьянящая ночная прохлада сморили усталую молодежь. Через час в поле слышно было только сильное и ровное дыхание двадцати здоровых грудей.

Не спал лишь один из запасных, Младен Райчев, тот самый молодец, которому девушка в последнюю минуту подарила на станции букет. Образ ее не давал ему покоя, неотступно стоял перед ним. Он видел ее такой, какая она была, когда тронулся поезд: задыхающейся после быстрого бега, с пылающим лицом и черными испуганными глазами, влажными от смущения, с алыми, как коралл, устами, на которых, казалось, замерли так и не сказанные ею нежные прощальные слова. У него до сих пор горела рука — так крепко сжал он ее пальцы, и теперь он так же сильно, крепко сжимал ее букет, а душа его трепетала от мучительного тайного желания, похожего на неутоленную жажду, — сейчас же увидеть ее, что-то сказать ей, — он сам не знал что, но такое, что камнем давило ему грудь. Ему казалось, что его сердце, душа остались там, на станции, и сам он, подлинный Младен, сейчас там, а здесь — какой-то другой, ненастоящий.

Особенно тяжело ему было оттого, что в последнее время они с Цанкой почти совсем не встречались. Только на мгновение увиделись на станции, словечком перемолвиться не успели. А как много нужно было сказать друг другу, о скольком переговорить перед разлукой. Цанка мелькнула и исчезла как сон. Да, прямо как сон наяву. Видно, убежала, бедная, потихоньку из дому, чтобы проводить его, и чуть не опоздала. Он по глазам ее видел, как у нее замирало сердце, когда она глядела ему в глаза. И подумать только: ведь это он сам, сам виноват, что Цанку не пустили с ним проститься. Вчера он пошел к отцу Цанки, чванному, вспыльчивому, злому на язык, но подчас и доброму Милю Каражелеву. Тот как раз гостей провожал.

— Я завтра, бай Милю, с запасными уезжаю и пришел к тебе, как к старшему, проститься и благословения попросить.

Милю удивился. Долгие годы он и покойный отец Младена ненавидели друг друга. В молодости отец Младена участвовал в восстании и до конца своих дней остался на редкость упорным, неколебимым человеком. Милю презрительно звал его «комита», а из-за него терпеть не мог и Младена, унаследовавшего не только удаль и упрямство отца, но и его ненависть к чорбаджиям. С какой стати вздумал Младен с ним, с Милю, прощаться, да еще благословения у него просить?

— Значит, служить идешь? Хм... Что ж, в добрый час. Авось хоть там тебя человеком сделают. Народил покойный Райчо сукиных сыновей, прости ему господи, — буркнул Милю.

— Ты, бай Милю, об отце плохого не говори. Довольно ты его при жизни поедом ел, — дрожащим голосом промолвил Младен.

— Чего тебе тут надо, парень? Уезжаешь, ну и сгинь скорей! — крикнул Милю, глядя с ненавистью на парня.

Младен глазом не моргнул. Грубость чорбаджии разбилась, как о скалу, о его упрямство.

— Сгину, не бойся, — отрезал он. — Только прежде мне надо сказать тебе два слова. Запомни их хорошенько.

— Валяй, слушаю.

— Когда я со службы вернусь, коли жив останусь...

— А коли не останешься?.. То-то плакать будем! — грубо прервал его Милю.

— Коли жив останусь, сватов к тебе пришлю. Смотри, до тех пор никому не отдавай Цанку.

Ошеломленный такой дерзостью, Милю взглянул в глаза парню, чтобы удостовериться, не смеется ли тот над ним, но прочел в них лишь твердую решимость. Ненависть его сразу перешла в презрение.

— Ах ты, сукин сын! Свататься вздумал, скажи на милость! Да кому ты нужен, вшивый попрошайка? Его из села гонят, а он к попу в дом полез!

— Мы с Цанкой любим друг друга; она сама хочет за меня, — взволнованно промолвил Младен, опуская глаза.

Чорбаджия вместо ответа громко захохотал и, сунув руки в карманы, пошел прочь.

— Никому не отдавай Цанку, слышишь? — задыхаясь, крикнул Младен, побледнев от бешенства. — А то дом дотла спалю!

И тоже пошел, слыша за собой громкую ругань чорбаджии:

— Разбойник, бандитское отродье! Известно, от смутьяна кто родится? Такой же смутьян.

Все это вспомнилось теперь Младену, и в груди его снова вспыхнула злорада.

— Пусть только отдаст кому Цанку; убью, как бог свят; и его, и ее, и себя убью, — бормотал он.

Но вскоре перед его мысленным взором возникла другая, более нежная и успокоительная картина. Ему представилось спящее под звездным небом село. Возле высокого плетня, огораживающего двор Милю, под нависшими ветвями старых верб шумит речка, у самой воды дремлют гуси; на дворе тишина, только груша шелестит листвой да шепчутся побеги фасоли. В сарае, где стоит ткацкий станок, постелила себе и легла Цанка. В доме все давно уснули, а ей не до сна. Не до сна его голубке, — она тоже лежит и томится. Как она обрадовалась бы, если б услышала его голос, зовущий ее, шепчущий во мраке ее имя. И вдруг увидела бы его, и они были бы одни, говорили бы нежно-нежно обо всем, обо всем, что у них было на душе перед расставаньем. Цанка выскользнет из постели неслышно, как змейка, никто и не заметит... И вдруг его как осенило: а что, если пойти сейчас в деревню? До рассвета часов шесть-семь, времени довольно, чтобы добраться к милой на край света, не то что в село, до

которого всего какой-нибудь час пути.

Один миг — и решение принято. Теперь уж ничто не могло его остановить. Окажись на пути Младена огненная река, он переплыл бы и ее; превратись забор Милю в крепостную стену, он и тогда перемахнул бы через него.

На высоком лазурном небе трепетали молчаливые звезды. Вокруг — мертвая тишина, изредка нарушаемая лишь богатырским всхрапыванием крепко спящих парней. Младен осторожно встал и быстро зашагал вдоль железнодорожного полотна. Скоро он скрылся в полумраке летней ночи.

* * *

Миновала полночь, когда, взволнованный чудной встречей, Младен вышел из села и направился к станции, чтобы оттуда идти вдоль полотна. До сих пор никто его не видал, никто не попался навстречу; село было пусто, мертво, и он надеялся, что его ночное посещение и в особенности имя той, ради кого он приходил, останутся тайной. Он понимал теперь, что поступил безумно, нарушив дисциплину, но удержаться от этого было выше его сил.

Он страшно спешил, не зная, который час, и боясь опоздать к пробуждению. Ветер стал сильнее и глухо шумел меж плетней и в ветвях орешен. Выйдя в поле, Младен вдруг увидел налево яркий свет. Он всмотрелся. Далеко в поле, объятые желтыми языками пламени, горели копны. Огонь, раздуваемый ветром, захватывал все новые и новые снопы и копны, образуя извилистую реку пламени. Все кругом было залито светом. Пламя перекинулось на высокую скирду, и в воздух поднялся огромный столб огня, выбрасывая под дыханием ветра, который все усиливался, целые языки пламени. Вдруг Младен услышал шаги и с испугом увидел, что навстречу ему движутся две человеческие фигуры. Он узнал в них односельчан и, кинувшись в сторону, спрятался в кустах. Успокоив себя мыслью, что сам он остался неузнанным, Младен пошел было дальше, но опять остановился. Зрелище пожара вызвало в нем глубокую жалость.

Сколько тут гибло человеческого труда! В несколько минут обращалось в пепел богатство, созданное усилиями природы и человека, и никакая сила не могла бы вырвать из объятий жадной стихии сухой, легко воспламеняющийся материал. В этом пожаре, возникшем, конечно, по злему умыслу, Младен увидел дурное предзнаменование. Зловещие отсветы еще долго провожали его, и он вздохнул с облегчением, когда, повернув за холм, перестал их видеть.

Когда он вернулся к товарищам, они еще спали. Он растянулся на земле и, усталый от всего пережитого, тут же заснул.

А на утихшем бледном небе уже разбрасывала первые лучи свои заря.

* * *

Когда взошло солнце, поезд прошел по исправленному мосту и после полудня доставил солдат в город.

На другой день под вечер Младена потребовали к офицеру. Это удивило его. Но когда, явившись к начальству, он застал там отца Цанки,

удивление сменилось испугом.

«Неужели он все знает? — побледнев, подумал Младен. — Не может быть! Наверно, пришел жаловаться, что я давеча обругал его».

Лицо офицера было сурово, а физиономия Милю перекошена злобой. Младен стоял навтыжку, неподвижный, как статуя.

— Младен Райчев, когда вчера поезд останавливался у разрушенного моста, ты отлучался куда-нибудь? — спросил офицер.

Видя, что об его путешествии уже известно, — должно быть, те двое узнали его, — Младен решил не заператься и стойко выдержать любое наказание. В одном только не мог он сознаться: в том, что видел Цанку. Нет, ни за что на свете не опозорит он девушку. Умрет, но не скажет. Приняв это решение, он уже не отступал. Упрямство его превратилось в неколебимую волю. Младен принадлежал к числу тех наших неподатливых крестьян, наделенных твердым, негибачаемым характером, которые во время последней войны, в госпиталях, под ножом хирурга изумляли врачей сверхчеловеческим терпением и мужеством.

На вопрос начальника Младен прямо ответил, что действительно ходил ночью в село.

— Что ты там делал? — спросил офицер.

Младен промолчал.

— Врешь: не в село ходил, а на поле мое, — сердито крикнул Милю.

Для Младена это было полной неожиданностью. Значит, про его свидание с Цанкой никто не знает. Эго его обрадовало. Но почему же тогда бесится Милю и чего ему надо? — недоумевал он.

— Зачем ты ходил на его поле? — спросил офицер.

Про село он и не поминал, видимо твердо уверенный, что Младен там не был.

Только тут Младен сообразил, в чем дело. Очевидно, горящие копны принадлежали Милю, и он теперь обвиняет его в страшном преступлении: в поджоге. Эта мысль возмутила его, и он ответил:

— Я ходил в село, а на поле твоём ноги моей не было.

Ему опять вспомнились те двое. Да, это они его оклеветали.

Офицер нахмурился.

— Ты вчера угрожал его милости? — спросил он, указывая на Цанкиного отца.

Младен посмотрел на него растерянно.

— Чего глаза вылупил? — вмешался Милю. — Спроси, спроси его, ваше благородие, не сулил ли он дом мой дотла спалить?

— Отвечай, — приказал офицер.

— Да, я говорил.

Такая откровенность и прямота удивили офицера и понравились ему. Но, к сожалению, все говорило против парня. У офицера не оставалось и тени сомнений, что виновник пожара — Младен.

— Отведи его на гауптвахту, — приказал он вестовому.

— Странно. Парень совсем не похож на поджигателя, — заметил он, когда Младена увели.

— Что вы, ваше благородие! Да он весь свет подожжет. Сам же признался тебе, как на духу. Чего ждать от сына комиты! — с горячностью возразил Милю.

Офицер холодно посмотрел на него и ушел.

* * *

Из человеколюбия поджигатель был привлечен к гражданскому суду.

Никогда еще подобного рода дело не казалось почтенным судьям таким ясным, не рассматривалось с такой быстротой и не было решено ими с таким сознанием чистой совести и чувством собственной правоты. Улики против Младена были настолько неопровержимы, что даже адвокат, несмотря на упорное заpiresательство подзащитного, был убежден в его виновности и просил у суда не оправдания, а лишь смягчения наказания.

Младен был приговорен к трем годам тюрьмы.

* * *

Более пяти месяцев сидел уже Младен за решеткой. Каково же было изумление молодого арестанта, когда однажды к нему в камеру, вместе с надзирателем, вошел отец Цанки.

— Младенчо, — взволнованно сказал Милю. — Не грусти. Сейчас тебя выпустят, сынок. Ты не виноват. Это Станой, проклятый, поджег. Сам сознался. Выходи на волю!

Младен посмотрел на него с удивлением. Но надзиратель подтвердил слова Милю. На руках у него было предписание председателя окружного суда освободить Младена.

— Прости меня, сынок, что я тебе столько зла причинил, — жалобно продолжал Милю. — Что ж ты на суде не сказал толком, как дело было? А мы и натворили...

— Я ведь говорил, бай Милю, что даже не подходил к твоему полю.

— Теперь верю... Да что ж ты тогда не ответил суду, куда ходил ночью и с кем на селе встречался?

— Почему не сказал? Да из-за Цанки, — после небольшого молчания, краснея, пробормотал Младен.

— При чем тут Цанка?

— Это я с ней ходил прощаться. Мы тогда слово друг другу дали, что непременно поженимся. Не мог же я ее назвать, осрамить ее?

Он взглянул в лицо чорбаджии, но вместо гнева увидел на нем совсем другое выражение.

— Эх, парень! — проговорил, наконец, Милю. — Значит, вы с нашей Цанкой крепко полюбили друг друга? То-то она с тех пор сама не своя ходит. А мне и невдомек. Ну, целуй руку. Так и быть, отдам за тебя дочку. Будь по-вашему!

— Вот это дело. А то я бы ее все равно захватил, по-военному, — целуя ему руку, засмеялся Младен.

— Ну, а ежели бы я ее за другого просватал, ты спалил бы мой дом, как грозился?

— Ладно, ладно, бай Милю. Ты меня знаешь.

— Не бай Милю, а отец. Учись с тестем разговаривать, комита! — строго, но с улыбкой сказал отец Цанки, вместе с Младеном выходя из ворот тюрьмы.

* * *

По воле Милю, которому захотелось скорей покончить дело, помолвку Цанки и Младена устроили в тот же вечер. А через неделю сыграли и свадьбу. Но вместе со звуками свадебного барабана по селу разнеслась весть об объявлении сербско-болгарской войны. На другой день Младен отправился на поле боя. Ничто не могло удержать его — ни уговоры родни, ни плач и отчаяние молодой. Даже начальство давало ему неделю отсрочки, но он уперся на своем:

— Сейчас для меня и семья, и жена, и вера, и счастье — только отечество. Пока его топчет враг...

И пошел с одной свадьбы на другую, кровавую. И не вернулся. Сложил буйную голову на царибродских высотах — молодая фату еще снять не успела.

У Цанки родился сын от него, синеглазый, пригожий, будто ангелочек, упрямый, как чертенок; раскритится — на небе слышно.

Дед, нянча его, целует надутые щечки и приговаривает:

— В отца пошел. Комита, упрямая голова!

Сопот, 1891 г.

Gronde Maritza teinte de sang

I

Невозможно описать нашу печаль, когда после многодневного плавания по Средиземному и Красному морям пароход выбросил нас на песчаный арабский берег. До этого мгновения тоска моя рассеивалась благодаря товарищеской атмосфере на пароходе, а также разнообразию берегов, мимо которых мы плыли. Дальние места назначения, куда нас отправляли из Царьграда, не казались нам особенно страшными: мы были еще полны царьградских впечатлений от прощанья с милыми, родными лицами и дорогими привязанностями... Но как только мы вступили на землю Аравии, всех нас охватили глубокая скорбь и чувство отчаянной безнадежности! Скоро мы будем рассеяны в этой чужой пустыне, среди диких племен, окажемся оторванными друг от друга. Начиналась наша ссылка. Судьба закинула нас в эти мрачные пределы, так далеко от Болгарии, как раз в то время, когда горы и скалы ее содрогались от громовых раскатов освободительной войны. Тяжкая, ужасная разлука! Теперь, затерянные в песках Аравии, мы лишены даже утешения слышать о том, что делается на далекой родине, почувствовать трепет радостного восторга от успехов русского оружия. Может быть, так и умрем, не сумев поздравить Болгарию со свободой! Да, и до нас тысячи болгар ссылались в глубь Азии, но никогда не поверю, чтобы могло быть более тяжелое и мучительное изгнание, чем наше!

II

Изгнание! Но мы не были изгнанниками! Мы были врачами, воспитанниками медицинского училища в Царьграде, которых султан только что назначил на должности при разных воинских частях,

расположенных в Иемене. Нас нарочно направили туда — не столько в интересах дела, сколько для того, чтобы отнять у нас возможность бежать к себе на родину. А она раскрывала объятия и призывала силу, знания, труд и кровь всех своих сыновей.

Некоторые из нас сумели все же избежать назначения и вернуться в Болгарию. Счастливцы! А мы находимся на другом конце света, среди чужого нам народа, служим чуждым для нас интересам, и никому нет здесь дела до наших чувств и пламенных стремлений, до наших мук, нашей жизни и нашей смерти!

III

Пристань, на которой мы сошли с парохода, называлась Худайда. Три моих товарища оставались здесь, а я должен был ехать в глубь страны, в Хаче.

Хаче — маленький арабский город, расположенный среди пустыни, у подножья голой горы и в близком соседстве с непокорными арабскими племенами, вечно воюющими против турецких войск. Мы добрались туда через десять дней на верблюдах; дорога шла все время по безводным, пустынным, каменистым и холмистым местам; нигде ни лесочка, ни травинки! Днем — нестерпимая, адская жара: ведь мы находились под тропиками! Ночью — холод, от которого я дрожал в своей палатке. Утром, вставая, я видел какие-то голые бугры, словно побелевшие от снега — это был иней! А немного погодя — снова страшный зной. Много раз я чуть не падал с верблюда, на котором меня тошнило от качки, как в море, и сколько раз чуть не погибал от солнечного удара!..

Целые дни жара, камень, песок — ничего больше. И этот проклятый богом край называется «Счастливая Аравия»!⁵⁵ Ах, где моя Болгария с ее кристальными водами, зелеными долинами и горами! Где она? Я не смел даже думать об этом!

IV

В Хаче меня ждало большое, неожиданное счастье: я встретил там своего коллегу и соотечественника — доктора Н. Каранова. Зброшенный туда и забытый, он не имел никаких известий о том, что делается в Болгарии, и никакой надежды снова увидеть ее. Он первый пришел ко мне на квартиру, назвал себя, без дальних слов кинулся мне на шею и в таком положении несколько секунд плакал и всхлипывал.

— Рассказывай, рассказывай, милый брат! — проговорил он наконец, обливаясь слезами, которые не переставая текли и душили его.

Никогда не забуду его лица, бледного, смятенного, по которому проносились, словно гонимые вихрем облака по небу, отражения смешанных чувств: восхищения и скорби, детской радости и муки — чувств, долго скрывааемых, но, наконец, вырвавшихся наружу, а также мучительного патриотического восторга, вызванного моими рассказами о последних военных событиях, за которыми я следил до самого отъезда из Царьграда.

Моему восторженному приятелю было всего двадцать восемь лет. Но тяжелая жизнь, климат и скорбь состарили его лицо, круглое и миловидное, почерневшее от тропического солнца, озаренное блеском

55 «Счастливая Аравия» — название южной Аравии в трудах древнеримских географов и историков.

огненного взгляда, но отмеченное печатью тоски... Вьющиеся черные волосы, местами уже посеребренные, и густая черная борода, тоже тронутая сединой и подстриженная по-турецки, составляли красивое обрамление этой симпатичной физиономии. Он был чином выше меня, так как раньше начал свое служебное поприще. Я полюбил его, как брата.

V

Бедный Каранов! Его положение было гораздо тяжелее моего, гораздо тяжелее. Он был здесь в настоящей ссылке. Он уже отслужил свой срок в Герцеговине, но его опять послали служить в Йемен в наказание за укрывательство в Царьграде и переправку бежавших участников Панагюрского восстания...⁵⁶ Уже полтора года перебрасывали его из одного района в другой по разным больницам и отрядам. Его неоднократные просьбы об освобождении из этой страны с ее убийственным климатом оставались без ответа. Помимо мучений, вызываемых неизвестностью срока возвращения в Болгарию — увы, он уже не верил в это возвращение! — ему отравляли жизнь преследования батальонного командира. Движимый какой-то непримиримой ненавистью, о причинах которой Каранов не мог догадаться, командир гонял его во все стороны, пользовался любым предлогом, чтобы нагрубить ему в присутствии третьих лиц, и при всяком удобном случае писал на него доносы тем, от кого зависела судьба Каранова. Этот свирепый турок отравлял ему жизнь, делая его пребывание здесь нестерпимым и как бы еще более нескончаемым. Много раз Каранов замышлял побег, хотя бы с риском для жизни, но в местности, столь отдаленной от всякого убежища и находящейся всегда на военном положении, бежать было невозможно. А теперь, когда в Болгарии грохотала война, тоска по родине дошла у него до предела.

Он изнывал и чах.

— Нет, видно, тут мне придется умереть, милый брат, — вздыхая, говорил он мне не раз. И прибавлял еще более уныло: — Да это не так уж страшно. Но не увидеть свободной Болгарии, не увидеть ее никогда! Боже мой!

Очень часто он выражал страстное желание послушать болгарский марш. Мне в Царьграде не удалось узнать ни слов его, ни мотива. Мое невежество приводило Каранова в отчаяние. Он уже успел узнать об этом новом национальном гимне кое-какие подробности из одной французской газеты, полгода тому назад случайно и на минуту попавшей к нему в руки.

— Марш, — рассказывал он, — начинается словами: *Gronde Maritza teinte de sang*⁵⁷. Под этот марш наши ополченцы кидались в бой и умирали. Страшные слова, милый брат: «*Gronde Maritza teinte de sang*» — «Гремит Марица, окрашена кровью...» — перевел он буквально с французского. — Понимаешь, какой в этих словах страшный смысл? Это кровавый марш — и только такой подходит для Болгарии... Услышать бы его раз — и потом умереть... А сейчас вот пушки гремят и сотрясают Балканы... Господи,

⁵⁶ Панагюрское восстание — Апрельское восстание 1876 г. — высшее проявление вековой борьбы болгарского народа за национальную независимость и ликвидацию османской феодальной системы. Жестокое его подавление вызвало негодование прогрессивной общественности во всем мире.

⁵⁷ «Шумит Марица окровавленная!» (франц.)

почему я не там и не вижу, как Болгария освобождается! Слышишь ли ты, понимаешь ли душой все дивное очарование этих слов? И мы не примем участия в этом великом деле! Не увидим его! А? Как это страшно!

Тут он умолкал, принимался нервно шагать по терраске занимаемого им еврейского дома, с которой открывался вид на бесконечное желтоватое пространство, убегавшее волнами до самого горизонта, и напевал на мотив какой-то французской песенки, но с чрезвычайно воинственной интонацией:

Gronde Maritza teinte de sang.
Gronde Maritza teinte de sang.
Gronde Maritza teinte de sang.
De sang, de sang, de sang...

Каким огнем горели его глаза! Он кидал эти грозные слова в аравийское небо, которое не понимало их, потом вдруг останавливался, впивался взглядом в голую гору, возвышавшуюся в северном направлении на самом горизонте, и прислушивался, как бы ожидая отзвука на громовые звуки марша и войны в Болгарии...

— Ах, услышать бы хоть раз болгарский гимн и умереть! — восклицал он.

VI

Эти разговоры захватывали, волновали нас. Образ родины неотступно стоял в наших мыслях. Он был нашим третьим, невидимым, товарищем. Но это еще сильнее разжигало в нас тоску о ней; души наши изнывали в бесплодных мучениях. Ни одно известие о войне не достигало нашего слуха с момента моего приезда в Хаче, то есть с начала сентября. А теперь был уже конец ноября. Нашим товарищам в Худайде сравнительно повезло: наличие порта позволяло им хоть изредка сноситься с Европой; а мы здесь были словно в другом мире. Правда, батальонный командир поддерживал караванную связь с резиденцией окружного начальника Саном, но разве мы могли о чем-нибудь его спрашивать? Разве решились бы мы обнаружить свой интерес к войне, когда и без того наша принадлежность к болгарской национальности разжигала подозрительный фанатизм турок? Мы только старались украдкой хоть что-нибудь угадать по их лицам — поймать, прочесть намек на какое-нибудь военное событие. Если их лица были веселы, на наши опускалась черная туча; если они казались нам опечаленными, в наших душах вскипала бешеная ярость, хотя для нее не было определенных оснований. Благодаря этой пристальной слежке мы стали недурными физиономистами. Чего не видели глаза, то угадывалось сердцем. В самом начале декабря по тревожному шушуканью, по необычной подавленности офицеров мы поняли: наверно, Плевна пала!..

Так оно и оказалось: понадобилось десять дней (Плевна пала 28 ноября), чтобы весть об этом событии прошла путь от Вита⁵⁸ до Аравийской пустыни!

Но радость наша не хотела знать никаких сомнений и границ. Помню,

⁵⁸ Вит — один из притоков Дуная, впадающий в него восточнее г. Плевена.

как мы с Карановым всю ночь не спали, и он в каком-то исступлении все время метался по комнате, распевая свое: «Gronde Maritza teinte de sang, de sang, de sang, de sang». Только этим напевом облегчал он свое сердце в минуты крайней скорби или высшего восторга.

VII

Но мне пришлось на время расстаться с товарищем. Я получил назначение в отряд, выступавший против арабских племен, живущих к северу от Хаче. Эти племена чрезвычайно воинственны и подчиняются только своим вождям. Некоторые из них, хотя и находятся в зависимости от Турции, дани ей не платят; наоборот, совсем недавно турки платили дань их вождям. А если турки оказывались неаккуратными, арабы, предводительствуемые своим махди (пророком), вооруженные фитильными ружьями и копьями, выступали против турецких войск и в продолжение многих месяцев воевали с ними... Так было и теперь. Турки одолели, но с огромными потерями. Рота, в которой числился и я, находилась в одной отбитой у врага башне. Эту башню арабы взорвали. Все солдаты вместе с командиром были разнесены в клочья. Уцелел только я, так как в то время заведовал военным госпиталем, расположенным в двух часах пути от лагеря. Арабы подложили порох и под этот госпиталь, но им удалось подорвать только часть его. Испытав столько опасностей в чуждом деле, совершенно измученный, я в конце концов, после трехмесячного отсутствия, вернулся в Хаче.

VIII

Первой моей мыслью было: скорее к Каранову — услышать новости. Я жаждал хоть что-нибудь узнать о Болгарии.

Как только я вышел за ворота, навстречу мне появился его слуга, полуголый негр. Поспешно отвесив низкий поклон и запахивая халат, он произнес:

— С приездом, господин!

— Где твой хозяин? Как он поживает?

Он поглядел на меня тревожно.

— Пойди к нему, господин. Я уже двадцать раз приходил узнать, не приехал ли ты, — печально ответил негр.

— Что он? Уж не болен ли?

— Болен, господин... Очень болен!

Я побежал к Каранову и застал его в постели. Поговорить с ним мне не удалось. Он был в беспамятстве. При нем находились один из батальонных врачей, Джемал-бей, да сгорбленная, черная старушка бедуинка. Врач подошел ко мне, тихо поздоровался и шепнул:

— Положение безнадежное...

На мои торопливые расспросы он сообщил, что у моего товарища, видимо, тяжелая форма тифа с какими-то осложнениями. Он не может в точности установить характер болезни... Думает, что она вызвана главным образом психическими причинами... Положение больного чрезвычайно тяжелое... Вот уже пять дней, как он ничего не ел. Бредит, спрашивает обо мне. Впрочем, и это случается все реже. Недавно пришел в себя и звал меня, а теперь вот опять без сознания и лежит как мертвый. Температура у него чрезвычайно высокая, и надо скоро ждать конца.

— Да, — прибавил врач, — он зовет еще какую-то Марицу. Кто это?

Наверно, какая-то болгарка?

— Да, это его сестра, — тихо ответил я.

В это время больной зашевелился и стал бредить. Врач сделал мне знак, чтобы я послушал. Каранов, открыв глубоко ввалившиеся глаза и глядя неподвижным взглядом в пространство, бормотал сухими, бескровными губами что-то несвязное; на бледном, худом, изможденном лице его с заострившимися чертами лежала маска страдания и смерти. Вдруг он приподнял голову от подушки, жадно вдыхая воздух, и, устремив горящие страшным огнем глаза на окно, увешанное кругом фотографиями, громко закричал:

— Gronde Maritza teinte de sang! Да, так, так! Ура! Gronde Maritza teinte de sang, de sang, de sang, de sang! Gronde Maritza, Maritza...

Окно выходило на север.

— Бедный, бедный юноша! — с состраданием прошептал Джемал-бей, бросив взгляд на портреты, висевшие у окна, среди которых были и женские. Из всего произнесенного Карановым он уловил только слово «Марица».

IX

Все свободное от службы время я проводил теперь у постели своего несчастного друга. Мучительный бред его, прерываемый лишь мгновенными смутными проблесками сознания, продолжался еще три дня, перейдя в агонию... Я закрыл ему глаза. Бедный Каранов! Он так ни разу и не узнал меня; мне не пришлось ни поговорить с ним, ни услышать, как он называет меня по имени... Он забыл все окружающее; в его хаотически разметавшемся воображении все смешалось, спуталось, и в потоке невнятного, бессвязного бормотания и безумных выкриков, вырывавшихся из его пылающей жаром груди, я мог разобрать одну только отчетливую, законченную и глубоко потрясающую фразу;

— Gronde Maritza teinte de sang!

Увы, он так и умер, не услышав болгарского гимна!

София, 1890 г.

Сцена

Я в третий раз переезжал на новую квартиру, так как бездомные жители болгарской столицы то и дело переезжают из дома в дом, являясь как бы вечными кочевниками, вроде цыган или болгарских провинциальных чиновников. Каждый хорошо представляет себе весь комизм переезда. В воображении тотчас встают тысячи больших и малых предметов обстановки, кухонных и кабинетных принадлежностей, вещей, предназначенных для обслуживания телесных и душевных потребностей, — все эти бесчисленные безыменные и ничтожные мелочи, беспорядочно наваленные на телегу в виде какой-то собранной с бору да с сосенки коллекции барахла, но все вместе составляющие то самое, что мы называем комфортом, — те разнообразные, незаметные и преходящие радости повседневной жизни, совокупность которых, по замечанию Смайлса⁵⁹, составляет земное и — увы! — столь несовершенное счастье

59 Смайлс — Семюэль Смайлс (1812–1904) — буржуазный английский философ-моралист,

разумного человека. Короче говоря, я переезжал, и это слово само по себе прекрасно объяснит читателю, почему я в тот день вторично дезертировал из дому, предоставив другим тяжелую роль командиров в деле членовредительной переброски моей подвижности.

Бесцельно слоняясь по улицам, — только что проведенным новым улицам, заменившим зловонные софийские палестины, — я очутился на площади Святого Краля. Возле колокольни толпился народ. Внимание всех было сосредоточено на чем-то или на ком-то, находящемся в центре собравшихся. Любопытство заразительно, как зевота или политика, — я тотчас подошел к толпе и, работая локтями, проложил себе дорогу в живой стене. Тут я увидел, что предметом всеобщего любопытства был... как бы вы думали, кто? Прохожий, сбитый с ног извозчиком или апоплексическим ударом, либо вообще так или иначе пострадавший? Какое-нибудь животное, погибшее под колесами экипажа? Увы, несчастье возбуждает любопытство, как счастье — зависть... Может быть, это была бедная мышка, попавшая в мышеловку?

Нет, это была сбежавшая от мужа жена, крестьянка.

Она сидела прямо на земле... Молодая, смуглая, с прекрасными черными глазами, насколько я мог заметить, когда она изредка поднимала их от земли; нарядная; на голове у нее, словно у девушки, не было белой женской головной повязки; а изящная шопская безрукавка позволяла видеть красиво расшитые рукава и полы белоснежной рубашки, какие красуются каждую пятницу на базарной площади в Софии.

Перед толпой, возле крестьянки, стоял высокий светловолосый парень — ее муж. Напрасно старался я уловить в лице его те потрясающие чувства, которые он должен был испытывать в этот миг. Во всей его физиономии, выражались лишь смущение, удивление да какая-то растерянность — и ничего больше. И он и она были из села Чуковец Радомирской околии⁶⁰.

В толпе любопытных были в одинаковом количестве представлены оба пола, но самый характер зрелища обеспечивал преимущество женщинам — и они занимали передний план. Большинство их уговаривало крестьянку вернуться к мужу. Но молодая беглянка оставалась неподвижна и ничего не отвечала. Она сидела, наклонив голову и опустив глаза, так что можно было видеть лишь черные как смоль волосы, заплетенные в несколько кос, разбегавшихся по плечам и украшенных серебряными монетами и белыми раковинами. К женским советам время от времени присоединялись и мужские. Но сам муж молчал. Наконец она, не поднимая лица, взглянула вверх из-под длинных ресниц и произнесла:

— Не пойду. Хоть режьте, не пойду...

В ответ послышался смутный ропот, причем большинство взяло сторону мужа. Вдруг толпа расступилась, давая дорогу жандарму. Грубо дернув крестьянку за руку, он приказал ей встать и идти с мужем.

— Хоть убей, не пойду! — решительно отрезала она.

Эти слова или же появление власти в лице жандарма сразу изменили настроение присутствующих. Общее сочувствие было теперь на стороне

проповедовавший мешанскую философию «умеренности и аккуратности».

60 Околия (болг.) — уезд, округ.

беглянки. Из толпы слышались замечания уже в другом роде:

— Коли он ей не по душе, зачем неволить? Насильно мил не будешь, — промолвила одна из женщин.

— Видно, не от добра убежала, бедненькая, — подхватила другая.

— К мужу должна идти. Кто же так делает? — проворчала какая-то жительница Софии, у которой обе руки были заняты овощами. Ее поддержали еще две дамы.

— Срам-то, срам-то какой! — слышался чей-то полный неподдельного отчаяния, плачущий голос,

Я подумал, что это муж, но нет, — рыдал и всхлипывал какой-то старый шоп. Говорили, будто это отец крестьянки.

Жандарм еще раз потянул крестьянку за руку и приподнял ее, но она снова вырвалась и плюхнулась в пыль.

— Варварство, варварство! — сердито промолвил какой-то незнакомый мне высокий студент.

— Не любит его — и весь сказ. Что ж из нее жилы тянуть, в самом деле? — отрубила толстая молодая чешка, державшая перед собой большую, как Ноев ковчег, корзину, набитую разной дичью и говядиной.

Очевидно, тут пришли в столкновение два мира, две цивилизации.

Представитель власти кинул на обладательницу корзины полуужасающий-полупрезрительный взгляд, потом крикнул мужу крестьянки и еще несколькими, чтобы они ему помогли. Одни взяли беглянку под мышки, другие за ноги и общими усилиями подняли ее в горизонтальном положении. Несчастная делала отчаянные, но тщетные усилия вырваться из рук. Она извивалась, дергалась в разные стороны, висая в воздухе. Увидев, что привели извозчика, чтобы везти ее, она заплакала навзрыд:

— Не поеду!

Это отвратительное, грубое надругательство над человеческой личностью потрясло всех нас. Присутствующие страшно волновались; все глаза были устремлены на похитителей несчастной жертвы, жалобно стонавшей. Женщины последовали за ними; протесты становились все резче и смелее. Шум и негодование достигли апогея, когда муж из состояния крайней апатии неожиданно перешел к бешенству и, чтобы сломить упорство жены, несколько раз ударил ее по лицу кулаком.

— Боже мой! Какой ужас! — воскликнул студент и кинулся к жандарму и мужу, как бы желая вырвать жертву у них из рук.

Движимая тем же стремлением, словно наэлектризованная, толпа тоже рванулась вперед, на помощь крестьянке. Все голоса, все сердца, все взгляды были полны сочувствия ей. Открытый конфликт между возмущенной человеческой совестью и «законным правом» был неминуем. Но в это мгновение крестьянку уже втащили на пролетку, куда уселись также жандарм и муж. Видя, что извозчик тронулся, толпа, потрясенная, в ужасе остановилась. Однако мы тотчас заметили, что неравная борьба двух мужчин и женщины возобновилась; женщина, видимо, после героических усилий, сумела встать во весь рост с очевидной целью выскочить на мостовую. Толпа снова бросилась вперед; Но фигура крестьянки исчезла, словно призрак. Она опять скрылась в пролетке под градом посыпавшихся на нее ударов, и оттуда виднелась только голова

жандарма, да с другой стороны торчали обутые в поршни ноги крестьянки. Извозчик повернул на новую улицу между резиденцией митрополита и бульваром Дондукова. Тут глазам нашим опять открылась целая картина: крестьянка лежала на дне пролетки, в ногах жандарма, а муж ее всей своей тяжестью навалился на нее, чтоб она не могла вырваться, и одновременно зажимал ей рот рукой, чтобы не кричала...

Мы остановились растерянные, вперив взгляд в удаляющуюся пролетку. Она скоро исчезла из виду, и толпа стала медленно расходиться. Несколько женщин продолжали обмениваться замечаниями.

— Ну, как они будут теперь жить? — сказала одна.

— А до сих пор хорошо жили, что ль? Бедная, бедная, — с состраданием заметила другая.

— Ведь он ее страшно бил...

— Правда? Так на ее месте каждая бы сбежала, — подхватила третья.

— Ну, и ее тоже хвалить не за что, — бросила одна из женщин, уходя. — Вертихвостка порядочная. Получила, что хотела...

Все с вопросительным видом обернулись к говорившей.

— Разве вы не слышали, что сказал ее отец? Срамница.

Это замечание несколько охладило симпатии к жертве и вызвало среди собеседников разногласия.

— Поделом ей. Как же таких не наказывать? — строго заметила одна.

— Да разве она от этого больше любить его станет? — возразила другая.

— Пускай, пускай. Должна знать мужа. Ведь жена она ему как-никак. У теперешних повелось: чуть что — сейчас мужа бросай... Этак до чего же дойти можно!

— Ну, куда он ее теперь повез? Ведь она его видеть не может.

— Она видеть не может, да он от нее без ума, а она жена ему... Ведь сколько сраму он из-за нее принял. Должен он ее проучить, потаскуху эдакую...

Я пошел дальше. Но в воображении моем по-прежнему стоял образ неверной жены, которую кулаками заставляют любить мужа, и образ мужа, брошенного ею, обесславленного, но еще более страстно ее любящего и зверскими побоями вынуждающего ее вернуться к нему в дом, который станет для них обоих вечным адом, наконец, образ жандарма, этого орудия закона, который охраняет права сильного. И все эти события, по-видимому, такие простые, повседневные, а в сущности столь загадочные, непостижимые, трагические, сложились в какой-то хаотический образ, превратились в загадку, темную, как ночь.

На ближайшем повороте я обернулся и увидел, что женщины стоят на прежнем месте, и продолжают взволнованно толковать о случившемся. Видимо, их тоже мучила загадка, все тот же страшный вопрос, — страшней всех Дамокловых мечей, — нависший над головой и варварских и цивилизованных обществ. Вопрос, которого не в состоянии разрешить никакие гениальные умствования, новые философии, никакие социальные и политические перевороты... Кто знает, где секрет этой страшной дисгармонии между двумя половинами человеческого рода? Заключается ли он в условиях жизни, в культурном уровне этой чуковецкой госпожи Бовари, этой болгарской Анны Карениной, или в истории человечества,

или в каких-нибудь других обстоятельствах, или, наконец, в непостоянном и капризном, как волна, человеческом сердце?..

Да, страшный вопрос.

Не думаю, чтобы его удалось разрешить и тем почтенным жительницам Софии,

1890 г.

Попечитель

Я до сих пор хорошо помню дедушку хаджи Енчо. Он был крупный, дородный. Настоящий исполин. Но кроткий и безобидный. Ясно вижу его большое смуглое лицо, помню благодушное, грустное выражение этого лица с оспинами по обеим сторонам носа, маленькими подстриженными усами, что нависали над толстогубым ртом, слышу его зычный голос, гремевший на всю классную комнату, в которой мы занимались. Как сейчас вижу его в суконной темно-коричневой салтамарке, отороченной протершимся спереди рысьим мехом, и широченных черных шароварах. Его могучий, атлетический стан был опоясан пестрым кушаком. Хаджи Енчо был школьным попечителем. Простой, малограмотный, но исключительно усердный, он единственный из всех попечителей навещал школу по обыкновению раз, а то и два раза в неделю. Сколько я себя помню, он всегда был попечителем. Община каждый год переизбирала его: люди знали, что каким бы ни был состав попечительства, хаджи Енчо всегда наведет порядок. Он предвидел все нужды, доставлял необходимое, устранял неполадки. Иссякнет ли школьный источник, разобьется стекло в окне, обвалится со стены штукатурка, понадобятся зимой дрова — неутомимый хаджи Енчо тут как тут... Хаджи свyksя с этими заботами, регулярный обход школы стал для него потребностью, в которой при всем желании быть полезным присутствовало и известное тщеславие: он чувствовал, что необходим в общине, и гордое сознание этого утраивало его рвение сохранить навсегда это положение... Злые языки поговаривали, что ревность хаджи не совсем бескорыстна, что он кое-что выгадывал для себя, тратя деньги для школы, но это была чистойшей клевета, свойственная мелким душонкам, которые в каждом добром деле усматривают нечистые побуждения... Добросовестный хаджи Енчо не ограничивался одними этими заботами: он частенько навещался и в класс, чтобы самолично проконтролировать развитие образования в городке.

— Добрый вам день, учитель! Ну как, слушаются детки? — гремит громкий голос хаджи Енчо, который неожиданно входит в класс, прерывая на самом интересном месте учителя, рассказывающего нам про эпоху Реформации по всеобщей истории Шульгина.

При появлении хаджи Енчо в классе сначала воцаряется мертвая тишина, а затем с парт начинают раздаваться приглушенные смешки.

Учитель встает, с дружеской, почтительной улыбкой молча кивает попечителю и пододвигает ему стул, чтобы он сел.

Хаджи Енчо садится, глубоко вздыхая от усталости, и обмахивается кумачовым платком. Учитель же стоя продолжает объяснять урок про

Лютера.

Хаджи Енчо слушает с большим вниманием. Видать, этого почтенного человека весьма интересует эпоха Реформации. Но он не задерживается у нас долго: окинув беглым взором все парты, дабы убедиться, что они заняты, оглядев низкий потолок и пол, зияющий и некоторых местах щелями и нуждающийся в ремонте, хаджи встает, раскланивается с учителем и выходит.

Учитель любезно ему улыбается, берет стул и продолжает урок, несмотря на веселое шушуканье учеников, вызванное уходом попечителя.

Вскоре снаружи доносятся крики хаджи Енчо, еще со двора начинающего распекать расшалившихся учеников начальной школы, которую он отправляется инспектировать.

Эти безобидные инспекции, конечно, веселили учителей, однако ж не считаться с ними они не могли. Рябое, доброе лицо попечителя, которое могло возникнуть перед ними в любую минуту, заставляло их соблюдать точность. Так что хаджи давал и нравственный импульс просвещению в городке.

Мы тоже привыкли к частым визитам попечителя. Они почти всегда случались во время уроков; они развлекали нас на скучных занятиях, состоявших в пересказах выученных уроков и объяснении новых. Все с нетерпением посматривали на дверь в надежде увидеть привычную фигуру хаджи Енчо, который бы внес разнообразие в наше бытие. Несколько приглушенных сдавленных смешков были бы так кстати в этот момент! Ибо хотя попечитель старался не произносить ничего, кроме обычных приветственных слов «Добрый вам день, учитель! Ну как, слушаются детки?», его большое лицо, его спокойный и честный взгляд, то, как он важно и чинно восседал на учительском стуле, таило в себе так много комического, что мы, прикрывая рты, склоняли головы над партами. Молодым свойственно насмешничать, но они это делают не со зла, а от неодолимой потребности к живым впечатлениям. На улице он не вызывал у нас никакого смеха, в нем не было ничего смешного: он был как все остальные люди, но его появление в классе порождало безудержное веселье. Может, нас заражала и побуждала к подобному невоздержанному веселью любезная улыбка учителя, хотя она была вызвана совсем иными причинами. Такая стереотипная улыбка появлялась у него на губах при встрече с любым другим попечителем или именитым горожанином. Это была некая смесь привычной вежливости просвещенного человека и раболепия болгарского учителя, знающего, что встреченный господин, если ему вздумается, может повлиять на его судьбу. Проявление невнимания к влиятельному горожанину, любое, малейшее небрежительное отношение к его особе может посеять в его душе семя недовольства, чреватого ненавистью, интригами, гонениями... Наш учитель, который был нездешний, но поселился в городе с женой и семьей, знал, что остаться без работы было бы для него большим несчастьем... Так что эта красноречивая улыбка была щитом для учителя, громоотводом против возможных молний уязвленного чорбаджийского самолюбия. Она стала для него привычной и не стоила ему почти никаких усилий, не то что вначале; теперь она появлялась вопреки его воле, инстинктивно. Улыбка, исполненная глубокого трагизма. В этой улыбке вся история Голгофы тех

безвестных героев турецких времен, которых называли общинными учителями.

Несмотря на всю невежественность, доброту и наивность хаджи Енчо, наш учитель, улыбнувшись своей обязательной улыбкой, становился скованным, говорил строгим, дрожащим голосом; он, очевидно, робел и даже волновался. Хаджи Енчо не понимал ничего из того, что говорилось на уроке, но учитель знал, что на попечителя может повлиять самое ничтожное обстоятельство и заставить его недовольно покинуть класс, а вся его судьба зависела и от хаджи Енчо... Видимо, поэтому учитель всегда старался в присутствии попечителя вызывать лучших из нас. Ежели случайно кто-то отвечал невпопад, учитель не показывал своего неодобрения, чтобы не дать понять этого попечителю, но добросовестно и ловко поправлял ученика. Например, на уроке физики учитель спрашивает:

— Какие бывают тела в природе?

Ученик затрудняется, но смело отвечает:

— Тело состоит из маленьких частичек, называемых атомами, которые...

— Да, да, — отечески подхватывает учитель, — тела, то есть, бывают твердые, жидкие и газообразные... да, садись!

— Молодец, Колчо, — замечает хаджи Енчо.

Учитель прибегал к этим маленьким хитростям, совершенно, впрочем, ненужным, в присутствии хаджи. Это была еще одна причина, из-за которой мы, а особенно ленивцы, так радовались приходу попечителя.

Но эти инспекции не всегда кончались так мирно.

Однажды один из уроков риторики вызвал страшный гнев хаджи Енчо и поставил в трудное положение учителя.

Он спрашивал нас про периоды и попросил одного из учеников привести ему пример разделительного периода.

— Разделительный период связывается союзами или, или.

— Правильно, приведи пример.

Ученик подумал немного, пытаясь придумать период, но поскольку пример не приходил сразу на ум, он стал оглядываться вокруг. И наконец громко выпалил:

— Наша школа или будет починена, или рухнет!

— Правильно, — сказал учитель, но тут же покрылся холодным потом, осознав всю нелепость этого примера.

Хаджи Енчо вскочил: он впервые уловил смысл непостижимой его уму науки — риторики.

— Прекрасно, учитель! Так вот какой науке ты учишь этих балбесов! — воскликнул он. — Стало быть, наша школа разрушится до основания, если не будет починена! А что здесь неисправно, осел паршивый? — обратился попечитель к ошарашенному ученику. — Чем, по-твоему, занимается здесь дедушка хаджи, мух ловит?.. Ну-ка открой, осел, свои зенки пошире да оглядись и скажи, отчего это рухнет школа?.. Столько денег тратим, школа у нас, как севастопольская крепость... Да мы разве для этого вас здесь учим, и учителям платим, и за дрова, и за стекла, и за бумагу, чтобы вы на нас как собаки лаяли... Верно говорят: не мечи бисера перед свиньями...

Попечитель все больше и больше распалялся: его широкая грудь волновалась и высоко вздымалась, глаза метали молнии, под конец из них закапали слезы. Никто еще не видел хаджи таким сердитым. Его самолюбие было жестоко уязвлено словами ученика, но он не сказал ни одного обидного слова учителю; только по играющим на щеках желвакам чувствовалось, сколько еще невысказанной боли и гнева кипело в его душе... Бедный хаджи, как же плохо ценили его труды!

Учитель промямлил что-то в оправдание, но громкий окрик хаджи Енчо заставил его замолчать.

Когда хаджи Енчо вышел, учитель повернулся к оцепеневшему ученику, виновнику разразившейся бури, и сказал среди мертвой тишины:

— Дурак!

Урок по риторике был прерван. Помрачневший учитель удалился в свою комнату.

Хаджи Енчо сердился несколько месяцев. Но это не умалило его усердия: он по-прежнему приходил в школу посмотреть на детей и приглядеть за всем. Как мы уже говорили, добровольное это дело он делал по привычке, почти несознательно и дошел до того, что отождествлял школу с домом.

— Куда путь держишь, дедушка хаджи? — спрашивали его иногда на улице.

— Иду проведать деток, а то как бы чего не вышло, — отвечивал хаджи.

«Детками» были ученики и школа.

По направлению, в котором шел хаджи Енчо, можно было узнать, кого он собирался навестить. Но к нам в класс он больше не заходил. Мы видели, как он шествовал по двору и заходил в начальную школу, не бросив даже беглого взгляда в сторону нашего класса; это было настоящее сиротство!

— Хаджи Енчо, хаджи Енчо идет, — перешептывались ученики на партах, когда дородная фигура попечителя показывалась во дворе.

Учитель беспокойно поглядывал на дверь — не войдет ли хаджи.

Но нет! Он всегда обходил нас, он по-прежнему сердился.

Потом я узнал, что наш учитель несколько раз встречался с ним, пытался объяснить, в чем дело, успокоить его, но хаджи не захотел выслушать его объяснений. Учитель даже просил других горожан быть посредниками, но все их усилия разбились об упорство оскорбленного в своем самолюбии хаджи.

Рана, нанесенная хаджи учеником перед лицом всего класса с одобрения самого учителя, казалась ему неизлечимой. «Ежели учитель на моих глазах позволяет писать такое и поносить меня, то что же они говорят за моей спиной? Нет!» — решительно сказал хаджи Енчо миротворцам. Подобное положение вещей было очень неприятно учителю. Мы сами начали понимать это и сочувствовали ему, горячо желая, чтобы хаджи Енчо опять посетил нас. То-то был бы праздник! Было бы хорошо и радостно увидеть, как хаджи, важно восседающий перед нами, прислонился к стене и внимательно слушает урок, обмахиваясь при этом кумачовым платком! На губах учителя опять заиграла бы счастливая улыбка, и все были бы довольны!

И мы со все большим участием относились к хаджи Енчо и учителю, оказавшимся в таком затруднительном положении.

Прошло некоторое время. Как-то в октябре, в понедельник утром учитель вошел в класс веселый, в хорошем расположении духа. На его лице светилось внутреннее удовлетворение и счастье, легкая улыбка играла на губах, но на этот раз она не была вызвана появлением влиятельного лица. Благодушие учителя проявилось еще и в том, что он, пропустив урок по патологии, который у нас был в этот день, стал увлеченно рассказывать случаи из своей студенческой жизни. Такие приятные отступления он позволял себе и до того, как испортились отношения с хаджи Енчо. Эта внезапно пробуждавшаяся жажда к излияниям позволяла нам знакомиться с довольно интимными подробностями его жизни. Он, например, рассказывал нам, как бедствовал студентом, и, чтобы не умереть с голоду, занимался перепиской чужих лекций и репетиторством; или описывал трепет, овладевавший им, когда его экзаменовала внушительная группа профессоров, тревожное волнение, с каким он тянул билет с роковым вопросом, на который нужно было отвечать, не мешкая; расписывал веселую и беззаботную жизнь студентов во время каникул после экзаменов... В такие минуты мы, как говорят французы, превращались в слух.

В классе царила глубокая тишина.

Внезапно распахнулась дверь.

Вошел хаджи Енчо.

Высокий, торжественный, царственный. По крайней мере нам так показалось: его крупное рябое лицо сияло. Мы посмотрели на учителя: он, приветливо кивнув, с улыбкой подал свой стул попечителю.

— Ну, учитель, как вы тут поживаете с детками? — задал хаджи Енчо свой неизменный вопрос и, тяжело дыша, грузно опустился на стул.

Все поняли, что примирение состоялось, и вздохнули с чувством огромного облегчения. Класс радостно зашумел. Мы чувствовали себя абсолютно счастливыми. Хаджи внимательно слушал урок по патологии. Приготовившись уходить, он оглядел парты, ища кого-то глазами. Наконец остановил строгий взгляд на авторе примера и сказал грозно:

— Эй, дитяtko, придерживай язык... не то отрежу!

Этими словами он излил последние капли горечи, таившиеся в его сердце. И с тех пор между нашим классом и попечителем воцарился мир.

Пришла и ушла осень, наступила зима, а с ней и самый деятельный период для хаджи. Каждый день приходили возы с дровами, их рубили на школьном дворе и складывали под стрехой. Эту обязанность выполняли ученики по указанию хаджи. Снимались рамы, вставлялись выбитые стекла, убирались классные комнаты, прочищались трубы, к дверным щелям прибивались полоски войлока, чтобы не дуло. Школа готовилась во всеоружии встретить зимние холода и метели, все приводилось в порядок, прибивалось, конопатилось под неусыпным наблюдением хаджи. Своему собственному дому он уделял меньше внимания, чем школе.

— Чтобы эти ослы не зябли, а учились... И те, что бегают к цыганам, сюда приходили греться, — говорил хаджи, пробуя, хорошо ли закреплены жестяные трубы в комнатах.

Всю зиму, в самые большие морозы и метели хаджи Енчо регулярно

посещал школу. Войдет, бывало, весь белый от снега в класс, принеся с собой волну холода, и прервет урок словами:

— Черт побери, да ведь это не зима, а чудо!

И отряхнет с себя снег.

Иногда обратится к нам, садясь на стул:

— А вам тепло? Тепло, конечно, тепло... Все вы любите тепло, как кошки... Будете вспоминать дедушку хаджи, когда помрет... Ты, учитель, делай свое дело!

Говоря это, хаджи Енчо и в самом деле думал, что умрет попечителем. Он нисколько не сомневался в этом.

Но на свете всякое бывает.

Весной подошло время выбирать новое школьное попечительство. Город разделился на два лагеря: один был за чорбаджиев, а другой за молодежную партию. Последняя победила на выборах. Попечительство было составлено исключительно из молодых.

О хаджи Енчо, об этой «ржавчине», как его называли, никто и не вспомнил.

Это был смертоносный удар для него. Хаджи Енчо остался не у дел.

Все заметили наступившую в нем внезапную и необычную перемену. Сник, погрузнел хаджи; не поднимал глаз от земли, сгорбился и словно бы уменьшился и высох под тяжестью свалившегося несчастья. Он вдруг увидел себя отрезанным от своего прошлого, от всего своего существования, отлученным от самой горячей своей привязанности и тем самым лишенным цели жизни, которая вдруг показалась ему несносной и пустой... Школа, ее стены и двор, черепица, дети, их гомон, их заботы — это уже не касалось его, не нуждалось в нем, он был лишним, лишним для всего мира. Он находился в положении безумно влюбленного, у которого отнят предмет обожания, или владетеля, потерявшего царство... Хаджи стыдился даже ходить по улицам, а когда случалось пройти мимо школы или издалека увидеть ее белые стены, сердце его болезненно сжималось... Он бы так не горевал, если бы его прогнали из родного дома.

Под грузом этих нравственных терзаний хаджи таял на глазах.

Встречаясь с ним, мы смотрели на него с состраданием. Но напрасно старались мы поймать его взгляд: он избегал наших глаз — слишком свежо было воспоминание о безвозвратно утраченной величии, а может быть, опасался прочесть иронию в наших любопытных взглядах. Он не знал, как мы ему сочувствовали.

Однажды, повстречавшись с ним, мы участливо спросили:

— Дедушка хаджи, почему ты никогда не приходишь к нам в гости? Совсем забыл школу!

Он посмотрел на нас и, увидев по выражению наших лиц, что мы говорим искренне, грустно сказал:

— Приду, приду, детки, скоро приду к вам в гости... и больше не уйду.

Мы не поняли, что он хотел сказать этими словами... Но каким печальным и унылым было его лицо! Он был готов заплакать.

Давно пора начинать урок, а учитель все не выходит из своей комнаты. Нас охватило нетерпение. Жара в этот день стояла несносная, воздух был горячий и удушливый. В классе невозможно было сидеть от

духоты. Мы хотели, чтобы урок поскорее прошел и нас отпустили на волю. А учитель все не шел. Мы стали недовольно перешептываться.

Одни высказывали догадки, что он болен. Другие предполагали, что у него гости.

За это время у дверей учительской комнаты образовалась настоящая живая обсерватория: один ученик взобрался на плечи другого и сквозь щель в двери наблюдал за тем, что происходит в комнате.

— Кыш! — воскликнул наблюдатель, спрыгнув на пол.

Вслед за этим дверь отворилась, и вышел учитель с листком бумаги в руке. Лицо у него было хмурое и строгое.

— Уроки сегодня будут позднее, — сказал он сухо, — сидите тихо и повторяйте, пока я вернусь.

Сказав это, учитель быстро спустился по лестнице и вышел за ворота.

Все были приятно взволнованы: поднялся веселый шум и гам.

В это время к нам вошел школьный служка Лилко.

— Куда пошел учитель? — спросили мы Лилко, уверенные, что он, как человек посвященный в дела школы, даст нам ключ к разгадке.

— А вы разве не знаете? — сказал Лилко. — Хаджи Енчо приказал долго жить! Сейчас его хоронят... Учитель будет слово говорить... Он до сих пор его писал... Черт бы его побрал, несчастного хаджи, помер с горя оттого, что его не сделали опять попечителем, — продолжал зло и бессердечно Лилко, которого хаджи частенько пробирал.

В первый момент мы были ошеломлены, словно кто-то сжал клещами наши сердца... Но это длилось лишь мгновение... Вскоре двор огласился громкими криками, шумом беготни и возни — нужно было использовать свободное время... Жизнь, кипучая, неодолимая жизнь вступала в свои права.

Хаджи Енчо похоронили на кладбище, что выходило на школьный двор. Я только теперь понял смысл его слов о том, что он придет к нам в гости и уже никогда больше не уйдет от нас! Добрый дедушка хаджи! Установленный на его могиле деревянный крест был виден сквозь ограду, отделявшую кладбище от школьного двора. Мы каждый день смотрели на его могилу из окон нашего класса; с могилы же хорошо были видны и весь двор, и круглосуточно журчавший источник, и дети, носившиеся по двору.

Бедный дедушка хаджи, теперь уже никто не сможет лишить его любимой должности.

1890 г.

Пейзаж

В ту зиму, когда стояла хоть сколько-нибудь сносная погода, я после полудня ходил гулять на Ломское шоссе⁶¹. Предупреждаю всех, кто под словами «ходил гулять» подразумевает медленное движение в пестрой толпе чинно расхаживающих взад и вперед, одетых по моде людей, обменивающихся при встрече любезными улыбками, учтивыми поклонами и бесчисленными сниманиями шляпы, что их ждет разочарование: это

⁶¹ Ломское шоссе — шоссе, ведущее из Софии в г. Лом на Дунае.

шоссе отнюдь не представляло столь привлекательного зрелища. Из всех больших дорог, разбегающихся желтыми лентами от Софии во всех направлениях по зеленым полям, Ломское шоссе — самое пустынное и более других пренебрегаемое столичными жителями. Последние предпочитают гулять по другим дорогам, идущим на восток и на юг столицы. Ломское шоссе оживляют только фигуры крестьян: каждый четверг шумные толпы их тянутся живописной вереницей в Софию, на базар.

Но этот недостаток с лихвой возмещается ценным преимуществом: прелестью уединения или, лучше сказать, свободы. По крайней мере в моих глазах. Потому что часто испытываешь потребность на минуту вырваться из городского шума и суеты, подышать совершенно свободно и без всяких стеснений чистым воздухом, побродить где тебе вздумается, предоставив полный простор мысли и воображению, без необходимости каждое мгновение рабски подчиняться тирании общественных условностей, смотреть по сторонам, кланяясь и отвечая на бесконечные, никому не нужные поклоны, и присутствовать на ярмарке житейской суеты, лжи и лицемерия, поневоле принимая в ней участие. С этой точки зрения Ломское шоссе — весьма приятное место, чрезвычайно надежное убежище.

А с другой стороны, какая чудесная, не поддающаяся описанию панорама раскрывается здесь перед вами! Какое обаяние для глаз, какая улада для души! Как легко здесь дышится! Отсюда во всей своей целостности, живописности, красоте видна возвышающаяся над широкой софийской равниной чудная горная цепь. Тут совсем близко Стара-планина, и глаз с наслаждением скользит по ее бесчисленным волнообразным холмам, бесконечная гряда которых загромождает всю северную часть горизонта! На первый беглый взгляд, кинутый издали, этот горный хребет, невысокий и безлесный, кажется однообразным, ничем не примечательным; но любящий взгляд художника обнаруживает в нем такие неожиданные подробности, такое изящество и разнообразие линий, форм, красок, изгибов, особенно когда он освещен сбоку солнцем, что дух захватывает от восторга перед этим совершенным произведением природы. Стара-планина представляет собой полную противоположность громадному, тяжелому массиву Витоши на юге, сделанному грубо, словно из одного куска, несколькими ударами топора, как русский человек был создан творцом, по предположению Гоголя.

Природа! Никогда не могу я остановиться перед ней без глубочайшего умиления, без того, чтобы все существо мое не переполнилось самыми лучшими, тихими переживаниями. Только в ее присутствии умолкают во мне пошлые тревоги и интересы повседневности. В общении с ней человек, одинокий и свободный, как птица, нередко превращается в ребенка, испытывает неизъяснимую радость бытия, приходит в восторг от сознания, что можно без помех досыта упиться всем, что бог вложил в нее прекрасного, величественного, наслаждаться ею, обожать ее! Если человек вышел из рук творца недовершенным, если множество пороков, страстей, уродств, душевных и телесных изъянов безмерно удаляет его от высшего совершенства, то природа — вполне совершенное создание; она гордо несет на себе печать своего предвечного гениального творца, являясь его

подлинным образом и подобием, как он — великая, как он — вечная, как он — божественная и добрая.

* * *

Одна прогулка по Ломскому шоссе, совершенная мною в феврале, оставила в душе моей глубокое, неизгладимое впечатление. Густые, пепельного цвета облака застилали все небо, но на такой высоте, что белые вершины горного хребта оставались от них свободными. Довольно сильный, но здоровый и приятный морозец; погода тихая; и так легко идти по хорошо высохшей тропинке, протоптанной между накатанными колеями шоссе, тянущегося вдоль чуть зазеленевших посевов озимой ржи. Широкий простор дремал в унылом молчании, охваченный зимним оцепенением; только вороньи стаи пролетали, каркая, и садились на телеграфные провода либо опускались на землю. Снежные вершины белоглавой Витоши и Стара-планины с каким-то мрачным, непроницаемо-серьезным выражением глядели со своей морозной высоты на мертвое поле, плохо прикрытое лохмотьями белого савана. На западе — где бегут отлогие волнистые склоны Вискер-планины — облака опускались широким снопом до самой земли, и по доносящемуся оттуда холодному, сырому ветру можно было догадаться, что там идет снег. На шоссе никого не было. Вся картина была исполнена таинственной красоты, — какая-то поэзия витала под этим зимним небом... Красота, поэзия... Быть может, эти два слова звучат странно, когда речь идет об унылом, бесцветном пейзаже зимы. Красота и поэзия связаны с понятием жизни, они вызывают представление о ярких красках, о празднике света, о шуме хрустальной речки, о мирной сени шепчущей листвы, о чарующей тишине лунной ночи. Но мертвый покой, отсутствие всякого движения, звука, тепла? Возникает ли чувство прекрасного при виде гроба с покойником? Ощущается ли дыхание поэзии там, где нет ни одного ее элемента? А между тем в той понурой зимней картине было столько красоты, столько поэзии! Перо поэта, кисть живописца напрасно старались бы воспроизвести то и другое в изощренных формах искусства, хоть это без труда удалось бы им при описании радостной картины весны, со всем ее богатством тонов и оттенков. Красота и поэзия этого зимнего пейзажа просто чувствовались, воспринимались, входили в душу, как красота мысли, сила идеи.

Этот меланхолический вид всецело гармонировал с поэтическим замыслом, который вот уже несколько дней занимал мои мысли. Погруженный в глубокую задумчивость, я дошел до сторожки, находившейся в километре от станции.

Влажный ветерок, веявший со стороны Вискера, доносил до меня мелкие снежинки. За ними последовали крутящиеся и сталкивающиеся в воздухе более крупные хлопья. Теперь густые облака громоздились и надо мной. С наступлением сумерек мороз стал злей. Тут мне повстречалась старушка крестьянка. Она запоздала и шла быстро, опираясь на палку. Когда мы с ней поравнялись, я остановился и поздоровался.

— Дай бог здоровья, — ответила она и тоже остановилась.

Женщина была совсем старая, маленькая. Ноша, представлявшая собой нечто вроде свертка из одежды и тряпья, была привязана у нее на

спине веревками, перекрещивающимися на впалой груди, так что костлявые и жилистые руки старушки оставались свободными.

— Откуда, бабушка? — спросил я.

Она назвала какое-то неизвестное мне село.

— Далеко это?

— Да вышла спозаранок, как рассвело... Далеко, в горах живем.

Значит, она шла уже добрых десять часов, а когда я ее встретил, продолжала свой путь чуть не бегом!

— Да семьдесят наберется, сударь, — ответила она на вопрос о ее возрасте, невольно заданный мной.

Лицо ее тоже говорило об этом. Боже мой, какой глубокий, разрушительный след оставили на нем годы, тяжелый труд, лишения, болезни, перенесенные и выстраданные безропотно!

Это костлявое, изможденное, почерневшее, землистое лицо избороздили во всех направлениях глубокие безобразные морщины: жизнь отразилась на нем во всей своей беспощадной жестокости, не оставив как будто ничего человеческого, мягкого, женственного. Это была, казалось, страшная маска с каким-то отталкивающим выражением животной загнанности и озлобления.

«Терпи, душа, черней, кожа!» — вот страшные слова, выдавленные из души болгарина многовековым рабством, страданиями, невыразимыми муками. И они невольно приходили на ум при виде этого жалкого лица. Только в серых глазах ее, с мутным, угасшим взором, появилось теперь что-то теплое, кроткое, печальное, озарившее странным светом эту ужасную маску.

Вдруг где-то совсем близко словно заверещал поросенок. Я оглянулся по сторонам.

— Чего ты ищешь, господин? Это ребеночек плачет, — произнесла она, указывая на свою ношу.

Звук повторился — слабый, еле слышный, придушенный.

— Куда ты несешь ребенка, бабушка? И чей он? — спросил я, понимая, что он — не ее.

— Снохи, снохи моей! — ответила она со вздохом, чуть не плача. И прибавила: — Видишь, господин? Он еще махонький, только вчера родился,

— Вчера? А куда же ты его несешь?

— Да несу в Софию. Мать-то его вчера же и померла... Ну вот, вышла я спозаранку и спешу, чтобы поспеть дотемна... И кричит и плачет... Еще ни разу не кормлен. Сироткой остался...

И старуха дрожащим голосом рассказала мне о печальных событиях в своей семье.

Накануне от родов умерла ее сноха, а за два месяца до того от неизвестной болезни скончался муж той молодой женщины, то есть сын старухи. В деревне, где всего-навсего десять семейств, не нашлось ни одной кормящей матери, которая могла бы дать грудь новорожденному, и он умирает с голоду. В доме холод, дров нет, ветер леденит тело, проникая под тряпье... Горе и нищета. Она решила отнести ребенка в Софию: может, кто возьмет! Она никого там не знает, кроме хозяина корчмы, где ей приходилось останавливаться.

— Нету ни отца, ни матери... Прибрал их господь... А мне, старухе, разве его выходить? Завтра того и гляди сама помру... Вот несу в город, отдать хочу! — повторила она, вздохнув. — Может, найдется кто, взять захочет! А то помрет, бедненький, с голоду, по сю пору не кормлен.

Как бы в подтверждение ее слов младенец, издал из-под душивших его тряпок пронзительный крик, громче прежних, но тотчас снова затих. Я видел верхнюю часть его посиневшей головки, не вполне прикрытой тряпьем и плохо защищенной от резкого вечернего холода.

— Может, знаешь в Софии людей, кто бы взял маленького Христа ради?

Я спросил, мальчик это или девочка.

— Девочка, — ответила старуха.

И, поняв, по моему взгляду, что я не имею возможности помочь ей каким-либо указанием, поклонилась и побежала дальше.

Ребенок плакал в тряпках; голосок его разносился, замирая, среди огромных хлопьев снега, валивших в морозном воздухе и, наверно, падавших на мягкое темечко маленькой мученицы.

А я как вкопанный стоял на месте, не отрывая глаз от низенькой старушки с ребенком на спине, исчезавшей в заснеженном пространстве.

Никогда не забуду тягостных мыслей и бессильной муки, которыми переполнилась в ту минуту моя душа. Я был похож на человека, оглушенного близким ударом грома. Эта страшная жизненная трагедия, эта правда суровой действительности, неумолимая, жестокая, беспощадная, — одна из тысячи, с которыми можно столкнуться каждый день на каждом шагу, — взволновала меня до глубины души. Она вызвала во мне уже не жалость и сострадание, естественно возникающие у человека при виде большого несчастья, а какое-то другое чувство, более страшное, сильное и мучительное, похожее на смутную внутреннюю тревогу того, кто совершил дурной поступок, — нечто близкое к угрызению совести... Безысходное человеческое горе, с которым я только что вдруг так тесно соприкоснулся в ту минуту, когда душа моя сибаритски купалась в легких волнах сладкой мечтательности, произвело на меня впечатление укора, пламенного протеста против моего эгоизма и преступного самодовольства перед лицом мирового Зла, великой мировой Скорби, ревущей, заливающей и поглощающей вокруг меня, подобно разъяренному морю, все бытие... И в каком отвратительном свете предстали передо мной наши обеспеченность и пресыщенность, не позволяющие нам подумать о чужой беде! Наши вкусы и утонченные духовные потребности, которые мы в себе так нежим и холим, показались мне безжалостной насмешкой над тяжелой судьбой несчастного народа.

Отец, так жалко погибший, и мать, умершая в родовых муках, оба без всякой врачебной помощи, несчастная сиротка, родившаяся вчера среди голода, голодающая сегодня и осужденная умереть от голода и холода, быть может, этой ночью, вся трудовая семья, так легко и незаметно исчезнувшая, — лишь самый обыкновенный, простой эпизод из повседневной жизни народной массы. И эта масса терпеливо и безропотно влачит свое тяжкое существование, не интересуясь нашим прогрессом, нашими культурными завоеваниями, изысканными духовными наслаждениями, благими намерениями и громкими фразами о

необходимости улучшить ее положение. Она даже не подозревает о нашем существовании и нисколько не нуждается в нем, чтобы работать, страдать и умирать...

Были ли эти бурные чувства вызваны в душе моей основательной причиной? Не преувеличивал ли я под гнетом неожиданного тягостного впечатления силу нашей ответственности перед меньшими братьями, из которых состоит страждущее человечество? Виновата ли наша культура, что, предоставляя нам, привилегированному меньшинству, возможность тешиться суетой, роскошью и благородной праздностью в городах, она совершенно бессильна пролить бальзам на раны огромного большинства обездоленных судьбой? Не знаю. Но в ту минуту эти чувства и мысли нахлынули на меня, я не мог вырваться из их потока, негодующая душа моя требовала объяснения зла, непременно объяснения, и находила его в общественном строе, который предстал перед ней как огромная Неправда... И я бессознательно обратил благоговейный взгляд к сонму великодушных сновидцев, утопистов-толстовцев, мечтающих о всемирной правде, о всеобщем довольстве, счастии и других великолепных иллюзиях.

Я задавал себе вопрос: к кому обратится сегодня эта несчастная крестьянка, кого попросит приютить ребенка? Куда побредет она в этом большом, чужом для нее городе? Кто примет к себе, кто решится обеспечить бедное создание, если только оно не умрет сегодня, и что будет делать старуха, если не найдет для погибающей сиротки какого-нибудь доброго материнского сердца, теплой колыбели и груди, готовой влить в ее окоченевшее тельце радостное тепло жизни? И так как она не сумеет — в этом почти не может быть сомнения, поскольку речь идет о нашем обществе, — найти для младенца ни защиты, ни любви, как будет выхаживать и растить его эта стоящая одной ногой в могиле древняя старуха? Бывают неразрешимые вопросы, как и безысходные страдания. Перед такими вопросами мужество уступает место сознанию полного бессилия, человек беспомощно опускает руки перед роковым решением судьбы... Он закрывает глаза, чтобы избежать, не видеть страшного призрака действительности.

Старуха уже отошла от меня примерно на полкилометра, а я, оборачиваясь, все еще видел, как ее фигурка быстро движется в прозрачной сетке снежных хлопьев. И вдруг я повернул назад: надо ее догнать! Зачем? Я сам не знал, но чувствовал, что надо что-то сделать, чем-то помочь, как-то позаботиться о судьбе ребенка, устроить ему приют хотя бы на эту холодную ночь. Мои личные обстоятельства исключали для меня всякую возможность выполнить по-настоящему долг самоотречения, самопожертвования ради своего ближнего, своего меньшего брата. А может, и другое... Человек склонен прикрывать свое бессердечие первой попавшейся маской благопристойности... Удастся ли ему при этом обмануть и внутреннего судью — совесть? Ни в коем случае. Он только может немного ее укротить, ослабив остроту и мучительность ее угрызений... Этот беспристрастный судья тоже склонен к компромиссам. Компромисс, на котором остановился я, заключался в следующем: дать старухе сейчас несколько левов, чтобы она сегодня вечером нашла приют и питание для ребенка, а утром навести необходимые справки и постараться обеспечить

ему существование хотя бы на день, спасши его тем самым от неминуемой гибели.

Полный такого рода планов, я поспешил по следам старухи. Снег пошел сильнее, и я уже еле различал ее силуэт. У шлагбаума она остановилась; я понял, что она разговаривает со сторожем. Эта задержка помогла мне вдвое сократить разделявшее нас расстояние. Ветер подхватывал хлопья снега и крутил их столбушкой. Дойдя до железнодорожного полотна и миновав шлагбаум, я увидел, что крестьянка свернула с шоссе направо и спешит по тропинке через поляну. Эта семидесятилетняя старуха бежала с легкостью какой-нибудь шустрой девчонки! Я попробовал окликнуть ее, но сильный ветер относил звук моего голоса в сторону. Наконец, она достигла Конювицы, влево от старого турецкого укрепления, и спустилась к Княжевской реке. Через две-три минуты я был уже на мосту через эту реку. Но напрасно искал я взглядом старуху. Она скрылась в одной из узких улиц этого старого квартала. Мои поиски и блуждания не дали результата: я окончательно потерял ее след и радостную возможность сделать доброе дело. Ветер, превратившись уже в метель, неистовствовал, с бешеной быстротой неся тучи снега в вечерней мгле, стуча в двери и окна, и мне казалось, что в диком вое расвирепевшей стихии слышится все тот же жалобный, мучительный плач маленького ребенка, умирающего от голода и замерзающего на морозном ветру...

Проходя мимо Святого Краля, я, подавленный, пристыженный, невольно зашел в церковь и долго молился...

1893 г.

Траур

— Да что ж это такое, черт возьми! — с досадой и тревогой воскликнул Димитр Кочов, сидя в кафе Менделя в Вене и третий раз перечитывая сообщение одной немецкой газеты. — Ведь эту газету получают в Софии, и, конечно, она попала на глаза моей жене!.. Бедняжка!.. От какого это числа? Двадцать второе июля. Тот самый день, когда я оттуда уехал. Четыре дня прошло. Сколько горя и страданий из-за нелепого недоразумения! Надо скорей послать телеграмму!

Кочов тут же, на круглом мраморном столике, набросал телеграмму и вышел.

У него были основания для тревоги: газета, выходящая в том немецком городке, где он, Кочов, проторчал целый месяц, лечась водами, сообщала, что двадцать второго июля там скончался болгарин Д. Кочов. Это печальное известие было, без сомнения, достоверным; только умер не Димитр Кочов, а, видимо, Денко Кочов из Варны. Он был очень плох уже в то время, когда Димитр находился там. На следующее утро Димитр Кочов выехал в Софию.

В вагоне он всю дорогу не переставая думал только о своей молодой жене. Он живо представлял себе ее состояние в ту минуту, когда кто-нибудь из близких со всяческими предосторожностями сообщил ей о страшном известии, помещенном в немецкой газете. Так оно, конечно, и

было: «Добрая весть лежит, а дурная бежит...» Какое потрясение, какой громовой удар над головой бедной Божанки!.. Он зажмурился, словно для того, чтобы не видеть ее отчаянья и слез. Димитр знал, что Божанка любит его, что она искренно, горячо к нему привязана. Такое нежное сердце... Наверно, тут же поспешили навести справки, недоразумение выяснилось, и она успокоилась — какая чудесная вещь этот телеграф! Но пока она томилась в неизвестности, прошло, наверно, часов двенадцать. Двенадцать часов терзаний, смертельной тревоги... Да это может сразу состарить человека на десять лет!

И перед его мысленным взором вставало миленькое белое личико Божанки в уборе черных шелковистых волос, залитое слезами, побледневшее, изменившееся от мучительных переживаний... А потом, после того как она успокоилась, посветлевшее и еще более похорошевшее от счастья... Он представлял ее себе в светло-сиреновом платье, в котором она была так хороша, так элегантна. Да, Божанка элегантна... и кокетлива: есть у нее слабость — моды. Впрочем, у кого ее теперь нет? Но Божанка хорошенькая женщина, ясное дело, должна быть хорошо одета... Немножко легкомысленна. Но — прекрасная душа... С каким радостным трепетом, наверно, ждет она Димитра, чтобы своими глазами удостовериться, что он жив и здоров! И он представлял себе взволнованную встречу, объятия, радость...

Тут к горлу его подступало что-то горячее, а в глазах блестели непрошеные слезы.

Дорога казалась Кочову страшно долгой, бесконечной. Когда паровоз загудел, подходя к перрону софийского вокзала, он с бьющимся сердцем увидел своих домашних, которые пришли его встретить. Впереди всех — Божанка, как всегда, изящно одетая.

Встреча была чрезвычайно трогательной.

Еще на извозчике Божанка торопливо, дрожащим от волнения голосом рассказала мужу о всех муках и страхах, которые она испытала, пока не выяснилась истина. А выяснить действительно удалось только через десять часов. Как Божанка пережила эти десять часов — она сама не знает.

Димитр слушал ее взволнованный.

Он не заблуждался относительно чувств своей жены. Божанка любила его. Быть может, не так горячо, как он ее, но от сердца нельзя требовать больше, чем оно может дать... И он чувствовал себя счастливым. Что же касается слабости Божанки к модам и ее кокетливости, то тут он тоже не ошибался. Правда, желание быть «эффектной», привлекать взоры (без всякого дурного умысла, просто из женского тщеславия) было у нее сильнее, чем он себе представлял. Это мелкое для нас, но для женщин сильное чувство, развитию которого способствует столичное общество, поглощало некоторую долю ее привязанности к Кочову. Суетность день за днем похищала из ее сердца частицу любви, но только частицу. Любви оставалось все же достаточно, чтобы муж мог почитать себя счастливым. Верно, ее супружеская любовь не подвергалась еще испытанию; ни он, ни она не знали, насколько она прочна. Два чувства, господствовавших в сердце Божанки, еще не сталкивались между собой, так как Димитр предупреждал малейшее ее желание; напротив, эти чувства уживались, не мешая друг другу, но и не уступая друг другу места.

На третий день после своего возвращения Димитр вернулся из канцелярии к обеду несколько раньше обычного. Пройдя к себе в кабинет, он взял почитать свежую газету. Но ему пришлось порядком повертеться, прежде чем он нашел, куда сесть: диван, стулья — все было завалено образчиками материй, модными журналами, пестрыми лоскутками и т. п. Было сразу видно, что здесь недавно хозяйничала Божанка... Димитр слегка поморщился, окинув взглядом этот беспорядок,

«Правду говорят: «Хозяйка за наряды — в доме беспорядок», — с улыбкой подумал он...

Вдруг он услышал за стеной, в комнате жены, женские голоса.

«А, у нее гости».

Разговор становился все более оживленным; слышались восклицания, потом шуршанье и шелест, обычно издаваемые женскими платьями, юбками и тому подобными предметами.

— А-а, портниха здесь, — промолвил Кочов, узнав ее голос. — Последний парижский журнал опять задал Божанке работу. Какие-нибудь новые тряпки и финтифлюшки... А мне ничего не сказала...

И он снова принялся за газету.

— Ах, шикарно! — восторженно воскликнула портниха в соседней комнате. — Шикарно, сударыня, шикарно!

— Да? Вам нравится? — спросила Божанка.

— Чудно! Прекрасно! Удивительно эффектно! У вас, сударыня, белая кожа и черные глаза. Этот цвет вам изумительно идет. Советую почаще его носить... Вот так, держите вуаль... Эта фалбала... лучше быть не может!.. Фасон роскошный! У вас царственный вид, сударыня. Шикарно! Шикарно!

— Очень хорошо, благодарю вас... Вот и примерили... А теперь надо все прибрать и спрятать, а то Димитраки должен вот-вот прийти. Помогите мне, пожалуйста, снять это.

«Ага, тайком от меня! Сюрприз готовит! — подумал Димитр. — Какая-нибудь новая модная выдумка, которой она собирается неожиданно меня поразить... Сущий ребенок. Дай-ка я лишу ее этого удовольствия, захвачу врасплох. Она не заметила, что я уже дома».

Кочов поднялся, тихонько подошел к двери в комнату Божанки, неожиданно открыл ее. И как вкопанный остановился на пороге.

Никогда не думал он увидеть то, что увидел перед собой.

Божанка стояла перед зеркалом... в трауре!

Вся в черном. Длинная вуаль из черного крепа, спускаясь широкими складками ей на лицо, закрывала всю ее фигуру с головы до пят; другая такая же ниспадала сзади; черный креп окутывал ее черную шляпу с черными цветами и покрывал всю голову; длинное черное платье с отделкой из крепа, черные перчатки, черные ботинки — все черное!

Если бы он в этой зловещей черной фигуре не узнал своей жены, он принял бы ее за привидение из сказок Гофмана, блуждающее ночью по кладбищу.

При виде мужа первым движением Божанки было убежать, но она осталась на месте, словно пригвожденная, опустив глаза в землю.

Портниха тихонько улизнула.

Вскоре над двором поднялся большой столб дыма.

Это горел «траур».

Божанка заказала его в тот самый день, когда получила ложное известие о смерти мужа. Несмотря на страшное душевное потрясение от постигшего ее несчастья, у нее, любящей супруги, хватило на это силы и предусмотрительности!

Теперь портниха принесла заказ и, хотя он, к счастью, был уже не нужен, Божанка не устояла перед искушением примерить «траур» и полюбоваться на свое отражение в зеркале...

Прислуга

Стоян Раков остался среди зимы без прислуги. Вот уже три недели, как она, без всякой видимой причины, ушла от него. Для софийской семьи подобный случай — настоящее бедствие. Стоян Раков был начальником отдела в одном министерстве, жена его — молодая уважаемая дама, заместительница председателниц двух женских обществ, но эти мирские блага и почести не были в состоянии сделать их счастливыми; на их небосклоне появилась черная точка — отсутствие прислуги. Для почтенных супругов это был жизненный вопрос, он занимал их умы, давал пищу для разговоров, сосредоточил на себе все их душевные стремления.

И госпожа Ракова в церкви, в гостях, в обществе горько сетовала по одному и тому же поводу:

— Представьте себе, госпожа, представьте себе, у нас нет прислуги!

В этих простых словах для молодой и пользующейся всеобщим уважением госпожи Раковой заключалась целая шекспировская трагедия. Они выражали следующее: «Представьте себе, сударыня, в какое скандальное положение ставит нас это ужасное обстоятельство: я, как когда-то моя бабушка и моя мама, сама стираю белье и пахну кухней, как какая-нибудь... И не имею часа свободного, чтобы отдаться более возвышенным и благородным занятиям... Представьте себе, у меня даже не остается времени заказать себе новое платье ампир, материал для которого Стоянчо купил бог знает когда... Стоянчо и тот, бедняга, с высоты своего начальнического поста вынужден спускаться к вульгарной повседневности. Можете себе представить — между нами говоря — по вечерам, когда стемнеет, он ходит к водоразборной колонке, спрятав кувшин под пальто! Начальник отдела! Да его рассыльный этого не делает... Уже пять раз бедняжка сам относил в фурну тушить гювеч⁶². Мы, знаете, по большей части гювеч себе готовим: нарежешь мясо на куски, положишь ложку масла, отнесешь в фурну и все. Никаких хлопот. Кто бы мог подумать, что мне придется опуститься так низко: самой прислуживать... Муж страшно возмущается! Ну, слыхано ли подобное несчастье?»

Раковы сидят без прислуги.

И в эту пятницу Стоян Раков вернулся с базара расстроенный.

⁶² Фурна (болг.) — буквально: духовка; заведение, куда сдают для выпечки различные кушанья. Гювеч — болгарское национальное блюдо, вид рагу из мяса и овощей.

Жена сразу поняла: поиски не увенчались успехом... Это несчастье прямо отравляло ей существование.

Раков заворчал сердито:

— Ищу, сумасшедшую плату предлагаю, никто и слушать не хочет. Некоторые крестьянки даже смеялись, кажется, чуть не с презрением на меня смотрели, когда я их спрашивал. Точно не шопские дикарки, а жены испанских грандов. Пускай наши шальные социалисты придут, покажут мне болгарских бедняков, пролетариев, для которых они целую кучу газет издают! На что мне газеты ихние? Черт бы побрал все эти газеты и теории!.. Пускай они мне вместо них сейчас служанку или слугу дадут, хоть из-под земли вырют, тогда я поверю им и тоже стану социалистом. Пусть тогда среди начальников отделов министерства социалист будет, чтобы у нас армия врагов труда увеличилась...

— Ты это не серьезно говоришь. Иначе это просто глупо, — возразила жена. — Причем тут социалисты? Неужели ты думаешь, что шопские бабы читают их газеты и под их влиянием не хотят продавать свою свободу? Прислуга всегда найдется, если поискать. Находят же другие! Вопрос о том, как удержать ее, когда она есть. Взять хоть последнюю, Стоилу: не захотел меня послушать, и она ушла. И теперь вот мы мечемся, как потерянные...

— Какого ж ей еще рожна? Что я еще мог дать ей? — раздраженно ответил Раков. — Неужели мало такой платы помимо стола, одежды и обуви? Ведь только одного не хватало: отдать ей половину своего жалования, чтоб у нее не было соблазна бежать, когда другие переманивают. Ты, сударыня, сама виновата. Ты в сердцах грубила ей: раз, я слышал, даже «свиньей» ее обозвала, когда она фарфоровый супник разбила. При теперешнем кризисе на прислугу такое обращение — вещь опасная. Не думай, что у них нет самолюбия.

Раковы сидели без прислуги.

Вечером, когда супруги угощались пригоревшим и остывшим гювечом — альфой и омегой поварской премудрости всеми уважаемой молодой госпожи Раковой, — дверь без стука отворилась и из-за нее высунулась взлохмаченная голова шопы.

— Приятного ужина, извините за беспокойство! — сказал он громко, снимая шапку. — Не угодно ли взять в услужение вот эту девчонку? Ежели нужна прислуга...

И он вытолкнул вперед девочку с испуганными глазами.

Супругам показалось, что над ними раскрылись небеса, и слуха их коснулось пенье серафимов.

«Ежели нужна прислуга!..» Нужен ли голодному хлеб?! Что за вопрос? Этого шопы послало самое провидение. «Не сон ли это?» — подумала госпожа Ракова с испугом. Нет, это был не сон... Крестьянин стоял на том же месте, во всем своем шопском величии, со звериной физиономией, в рубище; она даже чувствовала неблагоприятную атмосферу грязи и лука, которую шопы всюду носит с собой; шопская девчонка тоже стояла — живая, совсем живая и, как полагается, оборванная, вшивая, сопливая, с удивленным телячьим взглядом.

Наконец благополучие вошло в дом.

Раков сразу предлагает двадцать пять левов жалованья и, к великому

удивлению, отец не спорит, соглашается великодушно.

Тогда спрашивают, что девочка умеет делать. Она ничего не умеет, в прислугах никогда не была, но — не беда.

— У дареного осла подков не считают, — с торжествующим видом шепчет Раков жене.

«Подержу эту грязную чушку, пока не найду более опытной. Пускай хоть воду носит. А потом выгоню, — лукаво думает госпожа Ракова. — Неужели этот глупый шоп думает, что я такие деньги дикой телушке платить буду и сама же ей прислуживать?»

Но так и быть: пока на их улице праздник. Нынче шоп с его дочерью — дорогие гости. Почти не начатый гювеч (от радостного волнения даже аппетит пропал), приготовленный деликатными ручками заместительницы председательниц двух столичных женских обществ, переходит в распоряжение гостей. Большой огонь на кухне озаряет праздничным сиянием их пиршество. Господин и госпожа Раковы глядят на них — не наглядятся.

Обеспечив гостей теплой постелью, одеялом и подушкой, хозяйева удалились к себе в спальню, вежливо пожелав им спокойной ночи.

При таком кризисе на прислугу вежливое обращение с ней обязательно.

Но, прежде чем улечься, госпожа Ракова спустилась вниз, чтобы дать новой служанке кое-какие указания, и только после этого вернулась в спальню.

Среди ночи Раков с женой вдруг проснулись в сильном волнении; его пробудила внезапная мысль о том, что он не спросил, ни как зовут девушку, ни из какого она села; это было важное упущение. А жена проснулась от того, что ей послышалось, будто на дворе хлопает калитка. Чтобы успокоиться, она взяла свечу и пошла на кухню; огонь еще горел, освещая широко разинутый рот шопы, храпевшего, как циклоп; девочка тоже спала.

Госпожа Ракова вернулась в спальню успокоенная.

Утром было холодно. Раков проснулся, посмотрел: жены в комнате нет. «Пошла распорядиться, чтобы прислуга печь затопила. Слава богу, слава богу», — подумал он и, услышав вой метели на дворе, плотней закутался в стеганое одеяло.

Вошла жена. Лицо у нее было растерянное, испуганное.

— Ни шопы, ни девчонки нет, — сказала она. — Видимо, ушли совсем рано.

Раков выпрыгнул из постели.

— Скорей в полицию! Задержать! — крикнул он.

И в одних подштанниках бросился вон из комнаты; но тут же вернулся, поняв, что это безрассудно. Несколько секунд оба стояли, опустив руки, неподвижные как статуи.

— Ты опять чем-нибудь обидела их вчера вечером, — сказал, наконец, Стоян. — Не умеешь обращаться с прислугой ласково, по-человечески. Во всяком случае меня ты на этот раз не можешь ни в чем обвинить: я дал втрое больше того, что мог запросить ее отец.

Госпожа Ракова не приняла упрека. Наоборот, во всем был виноват именно муж: почему он не узнал, как зовут прислугу, из какого она села,

чтоб ее можно было разыскать, если сбежит, и не вынул ключа из калитки, чтобы она не могла этого сделать? Долго продолжались между супругами взаимные обвинения и попреки без всякого толку.

Но никому из них и в голову не пришло сказать что-нибудь плохое о беглецах...

Так Раковы и остались без прислуги.

* * *

Через несколько месяцев, в один из базарных дней, госпожа Ракова увидела среди крестьянок, продававших кур, сбежавшую шопскую девчонку и сердито схватила ее за локоть.

— Что же это ты тогда сбежала, девочка?

Та испугалась, стала вырываться. Но одна из крестьянок, ее тетка, разгадала госпоже Раковой загадку: отец девочки вовсе не собирался отдавать ее в прислуги; он просто задержался в Софии дотемна и, не желая платить за ночлег на постоялом дворе — уж больно был скуп! — воспользовался гостеприимством Раковых вышеописанным путем.

Ох уж эти глупые шопы!

«Новое переселение»

Два года тому назад, прогуливаясь по улицам Ючбунара⁶³ и глаза бесцельно на жалкие лавочки и убогие домишки, осаждаемые ярко-зелеными от ряски болотами, я увидел над дверью одной корчмы черную вывеску с надписью «Новое переселение».

Надпись поразила меня не только своей необычностью — каких только причудливых, прямо-таки фантастических вывесок нет в нашей столице! — от нее почему-то веяло печалью, меланхолией. Таился ли в ней и впрямь какой-то особый смысл, имела ли она связь с жизнью корчмаря или же это была просто-напросто нелепая выдумка, глупая, крикливая реклама? Об этом можно было только гадать. Но название это меня поразило, казалось, за ним скрывается какая-то печальная история. Виктор Гюго как-то обнаружил в темном закоулке одной из башен собора Парижской богородицы начертанное на стене греческое слово Αλάχη, и его фантазия воссоздала целый мир средневековья. Мне почему-то показалось, что это «Новое переселение» — нечто вроде ἀναχή, рока чьего-то крохотного мирка, что оно связано с невзрачным существованием некоего бедняка — нашего брата македонца или другой жертвы скитальческой жизни. А чтобы отгадать загадку, не было надобности совершать долгое путешествие во мрак покрытых плесенью эпох, нужно было просто войти в корчму и попросить чарку вина.

Так я и сделал.

В корчме меня встретил дородный мужчина лет шестидесяти в довольно ветхой одежде из домотканого сукна, весь седой, с лицом, изрезанным морщинами, но добрым и улыбающимся особенно дружелюбно, — передо мной была типичная добродушная физиономия

63 Ючбунар — украинный квартал Софии, где проживала в основном беднота.

провинциала, какие населяли наши города и села во времена турецкой неволи. Это и был корчмарь.

В корчме проворно хлопотала женщина лет пятидесяти, полная, с кротким пухлым лицом, одетая в темно-фиолетовое грубошерстное платье, изрядно поношенное, с заплатами на локтях. Это была жена корчмаря.

Оба встретили меня радушно. Корчмарь отворил небольшую дверь и ввел меня в беленую комнатку со столом посередине, которая, видимо, предназначалась для приема почетных гостей. Жена его принесла заказанное мной вино и сразу же вышла.

Я немедленно поведал хозяину о том, что побудило меня зайти в его корчму.

Он самодовольно пригладил седые усы и сказал, улыбаясь:

— Вы, сударь, я вижу, человек любопытный. И другие меня спрашивали... А вы как думаете, так зазря она красуется? Мы, сударь, родом из Фракии — и я, и моя жена. Ваша милость, небось здешний?.. Ах, вот как! И вы, значит, из Фракии? Ладно. Никто лучше нас, фракийцев, не знает, какая она была — эта война и кто дороже всех заплатил за освобождение Болгарии... Вы понимаете, что я хочу сказать. Здешним насельникам, шопам, все досталось наготове, они и ох не сказали да к тому же разграбили турецкие дома, растащили весь скарб. А у самих волос с головы не упал!.. Теперь вот еще и столицу им сделали⁶⁴! Поглядишь — сущие дикари, а вот везет же, недаром говорится: «Не родись пригож, а родись удачлив». Ты, сударь, погляди на меня и мою жену. Мы с ней состарились не столько от лет, сколько от собачьей жизни: вот уже четырнадцать годков кочуем с места на место, точно перекасти поле, к чужим людям привыкаем, к чужим обычаям принарамливаемся и всякий раз начинаем сызнова... В свое время покинули родное гнездо и теперь скитаемся по свету, куда ветер занесет... Эй, Йовка! Принеси-ка и мне вина!

Корчмарь отпил глоток, утер усы кумачовым платком и продолжал:

— Вы вот, ваша милость, спрашиваете про название, которое я приладил над дверью. Что ж, я вам расскажу, чтоб вы, сударь, знали мою историю, она весьма даже поучительна. Ее бы поместить в книжку, пусть читают люди. Переселения вавилонские!.. Мы родом из Клисурь — и я, и жена. Ты не гляди, что мы теперь голодранцы, корчмари, за пять грошей битый час обхаживаем шопу, — у себя в Клисуре мы были совсем не то, одни из первых людей. Все у нас было — лавка, набитая товаром, розоварня, валяльня, водяная мельница... Наш товар был в ходу аж в Анатолии. Ну да бог с ним... В семьдесят шестом устроили восстание. Небось, слыхал про клисурскую «пушку»? Мы эти пушки сработали из стволов черешни. Ладно. Да только нагрязнул Тосун-бей, захватил Клисурь и предал огню. Дом мой со всем добром, весь товар сгорели дотла. Вы, верно, знаете про клисурский погром?

Осели мы в Сопоте... Ваше здоровье!.. Сопот в том году турки не тронули. Открыл я лавчонку, взялся за свое прежнее ремесло — стал портняжить. Царство небесное моему старому выучителю! Мы, клисурцы, все помаленьку портняжим, с этим ремеслом матери нас на свет божий

⁶⁴ Теперь... и столицу им сделали! — 3 апреля 1879 г. София была объявлена столицей Болгарии.

пускают... Так вот, я начал про Сопот. Корплю я, шью, за грош по тыще раз втыкаю иглу в сукно. С горем пополам наскребаю на кусок хлеба... Не зря говорят: «Даром работай — даром хлеб не ешь». Только недолго довелось нам жить безбедственно. Не прошло и года, как разразилась война, русские перешли через Балканы. Сопотцам тут и приспичило — взбеленились не хуже наших клисурцев. «Поднимемся против турка! Встретим казаков с хоругвями!» Я-то, стреляный воробей, говорю им: «Погодите, сидите-ка лучше тихо-мирно, царство болгарское и без вашей суматохи образуется, послушайте хлебнувшего лиха!..» Да где там! Никто и ухом не ведет. «Ура, ура, ура!» А потом вдруг как заладят: «Бежим! Надо уносить ноги!» Сулейманово войско подступило, все поле почернело от башибузуков... Выскочили мы, сударь, с женой из дому в чем были. Поднялись на перевал, оглянулись, а там — боже правый! Весь Сопот полыхает! Горит, что сухая бумага. Вот вам и вторая Клисурса...

От этих печальных воспоминаний лицо корчмаря омрачилось, в голосе зазвучала горечь и даже раздражение.

Дверь отворилась, и на пороге показался посетитель из местных.

— День добрый, Нягул, как поживаешь? — спросил ючбунарец, намереваясь войти.

Нягул — так звали корчмаря — нахмурился.

— Худа нету — добро господь даст! Эй, Йовка, ну-ка займись человеком!

Поняв по этому холодному приему, что он здесь лишний, ючбунарец попятился за дверь.

— И Сопоту вышла вечная память, — вернулся к своему рассказу Нягул. — Куда теперь податься? Все бегут прочь. Сулейман подступает к Балканам. Одни бегут в Севлиево, другие — в Дряново и Тырново. Мы с женой подались в Елену. А кругом беженцы, войска — толчея несусветная. Хлеба нету. Погорельцы мрут от тифа по сотне в день. Но, слава богу, от турка спаслись. Занялись мы новым делом: стали печь лепешки прямо на улице. Людей тьма-тьмущая — покупают, едят. За малое время поднакопили деньжат. Прошло месяца два-три, не помню. И вдруг тебе среди ночи поднялся страшный шум-гам. Полная неразбериха! «Что стряслось?» — «Турки наступают. Святополк Мирский⁶⁵ отходит!» Из огня да в полымя!.. Ну-ка, говорю, жена, поднимайся, надо бежать! И опять — в чем мать родила.

Турки скоро отступили из Елены, только мы не стали туда ворочаться. Сердце как-то не лежало. Не стану описывать, сударь, где мы скитались, где нас носило целый год. Натерпелись лиха, набедовались. Весь народ радуется, что Болгария свободна, одним только нам свет не мил, одни мы места себе не находим от забот да лишений. Вот и надумали мы с женой податься в нашу Фракию, небось там мы не чужие. Только куда пойти-то? В Клисурсу? Я и слышать не хочу... А жену тянет... Ладно. Подались в Клисурсу. Да скоро опостылело нам глядеть на погорельцев да на запустелые дворы, на людское горе-злосчастье. Кладбище да и только!.. Вот и говорю я жене: «Йовка, нет, здесь нам не житье!» Продав я землю за бесценок и переселились мы в Пловдив. В Пловдиве — тогда это была Румелия —

⁶⁵ Святополк-Мирский — Н. И. Святополк-Мирский, русский генерал, участвовал в разгроме турок у Шипки-Шейново в освободительной войне 1877–1878 гг.

други-приятели, дай им бог здоровья, помогли устроиться на службу... Потихоньку-полегоньку обжились мы, залатали дыры... Ох, боже милостивый! Только-только легко вздохнули, думаем: ну, тут будем жить до самой смерти. Турки теперь не страшны. Все свое, болгарское. И церковь есть, где можно богу помолиться...

— Сам виноват, зачем встревал? — вмешалась Йовка, ставя на столик заказанный мною шкалик вина и две чарки.

— Разве ж я встревал? Да мне политика тогда была без надобности, ровно как и сейчас. Знаю я, какой супостат это подстроил — ну да бог ему судья. Йовка намекает на объединение⁶⁶, — пояснил Нягул мне, просветлев лицом, и налил в чарки вина. — Кто же его не хотел? Я тоже радовался вместе со всеми, ходил встречать князя Александра... Ваше здоровье, приятель!.. Винцо это старое... Я его держу для благородных людей, таких, как ваша милость... Жену бери молодую, вино покупай старое, — так говорится в пословице... Пейте на здоровье!.. И вот как-то раз приходят двое жандармов. «Идем с нами!» Я иду. Приводят меня в полицию... В чем дело? «Ты, — говорят, — прятал у себя такого-то, его правительство разыскивает, полиция нашла его у тебя в куче соломы. Ты против воссоединения, ты опасный человек и предатель»... И пошло, и пошло... Посадили меня на цыганскую телегу и с жандармом препроводили в Софию. А в Софии меня принял с рук на руки другой жандарм, доставил на самую границу под Цариброд и говорит:

— Чтобы ноги твоей больше не было в Болгарии, слышишь?

— Выгнали! Как же, думаю, так, а у самого голова идет кругом. Ковыляю пешком в Пирот. Вспомнил, понимаешь, что там проживал один мой земляк — мой тезка Нягул Трухчев, он давно туда переселился, сам человек состоятельный, — царство ему небесное! — и мне маленько родня. Нашел я его. «Нягул, — говорит он мне. — Плюнь ты на нашу Болгарию. Там еще сто лет ладу не будет. Это же, говорит, чистый вулкан. У меня в лавке для тебя работа всегда найдется, нужен мне свой человек, нет у меня верного помощника... Поживи у меня, не пожалеешь»... Думал я, думал. Дело мне говорит человек. Там, в Румелии, теперь и впрямь неразбериха, вот-вот война начнется с Турцией, опять какая-нибудь беда и разлад настанут, а уж кому-кому — Нягулу достанется. Я свою удачу знаю... Что ж, как говорится, нет худа без добра. Послал я телеграмму жене, та продала, что могла, собрала пожитки и приехала ко мне в Пирот.

— А я-то, дурья башка, послушала тебя. Кабы я знала... Сколько было денег, все потратила на переезд, — с улыбкой сказала Йовка, которая стояла, прислонясь к двери, и с умилением слушала рассказ мужа.

— Теперь уже поздно сокрушаться, Йовка. Лихо, неволя — наша доля. Ну вот, приехала жена. Говорю я себе: тут пустим корень. Мила мне Болгария, любя сердцу, только нету для меня там местечка, негде прислониться, пожить, ежели богу угодно, до старости лет. Да сердцу, брат ты мой, не прикажешь, сердце — оно не камень. Буйвол все в просо норовит, так и мы — все сюда. А тут, откуда ни возьмись, — война⁶⁷, чтоб

⁶⁶ Объединение. — Речь идет о воссоединении Восточной Румелии с Княжеством Болгария 6 сентября 1885 г.

⁶⁷ ...откуда ни возьмись — война... — имеется в виду сербско-болгарская война 1885 г.

ей пусто было! Ожидалась на юге, возле Харманли, ан полыхнула у нас. Все так: куда я ни поткнись, — всюду неудача, не везет да и только... Милан⁶⁸ дал деру из-под Сливницы; сперва-то сербы были на болгарской земле, а потом болгары вступили на сербскую. Взяли Пирот. Кто поведет горожан встречать их хлебом-солью? Наш Нягул. Хватило ума... А как настал мир, брат, как начали сербы сами хозяйничать в Пироте, тут и пошло... Ну-ка, хватай тех, кто кричал «ура», кто встречал болгарского князя... Предателей! Меня и в Пловдиве обзывали предателем... Родича моего, бедолагу, судили военным судом и повесили в двадцать четыре часа. Царство ему небесное!.. А мы с женой ночью — ноги в руки, и подались прямо в Цариброд, а оттуда — в Софию. Йовка, слышь, какое это переселение будет по счету? Где ты там?.. Ох, сударь, не взыщите, нужно мне отлучиться на минутку, проводить людей: Йовка-то там одна.

После ухода Нягула я долго сидел в глубокой задумчивости. Эти бесконечные переселения с места на место в продолжение четырнадцати лет имели какой-то роковой отпечаток. Судьба взывала к Нягулу, как к легендарному Вечному жиду: «Иди, иди!» И он шел. Горемыки! Каждый этап болгарской истории в этот бурный период был ознаменован для них новым переселением. И за катастрофы, и за светлые дни нашей политической жизни бай Нягул расплачивался разорением и бедствиями. Я сидел и думал, что судьба этой семьи — это судьба тысяч других таких семейств из Фракии, которые и поныне не могут найти себе спокойного пристанища. Поистине печальные обломки наших исторических бурь. Я наблюдал, как ласково и уветливо встречает корчмарь посетителей. Глядя на его добродушное лицо, никто бы не подумал, что ему выпало столько бед. Он гнал прочь горькие мысли и воспоминания. Ему они были ни к чему, он нуждался в энергии, он трудился, чтобы честно завершить свою скитальческую жизнь. При стольких передрыгах и бедствиях он сохранил добродушный юмор простого болгарина, его безыскусная речь, густо и к месту приправленная пословицами, была полна невысказанной благодарности к слушателю. И жена его твердо несла свой крест, эта бывшая клисурская богачка, чорбаджийка, превратилась в корчмарку, жизнь которой протекает посреди ючбунарских болот. Под стать Нягулу она была тверда и смотрела философски на превратности судьбы. До меня доносилось ее звонкое, какое-то молодое щебетанье и веселый смех. Эти люди вызывали у меня горячее сочувствие. Стойкость, кураж облагораживают страдание, порождая не просто соболезнавание, но и уважение.

Освободившись, честные клисурцы опять пришли ко мне. Я собрался уходить.

— Нет, погодите, теперь мы вас угостим... По-нашенски, по фракийскому обычаю... Утешили вы нас... Йовка, принеси-ка нам еще малость вина да захвати и для себя чарку!

Мы дружески чокнулись и выпили.

— Теперь-то, слава богу, у вас все ладно? — спросил я.

— Можно сказать, сударь, что ладно. Только бедны мы еще. Сам знаешь, камень, что катится, мохом не обрастает.

68 Милан дал деру... — Милан — сербский король.

— И давно вы открыли эту корчму?

— Уже с год, и домишко при ней наш. А до этого жили в Софии, там я себе купил после трех лет трудов праведных турецкий домик возле Расписного моста, да через него провели черту, и двор отошел под улицу, вот тогда-то и состоялось еще одно наше переселение — сюда.

Нягул и его жена засмеялись.

— Ну, это уже, слава богу, последнее, — промолвил я, взявшись за шляпу.

— Вот и я говорю: отсюда — ни ногой, пускай хоть весь свет вверх дном перевернется. Прошу покорно...

И Нягул наполнил чарки.

— Ты, Нягул, лучше не зарекайся! — сказала его жена, смеясь, а потом повернулась ко мне и шутливо добавила: — Последнее наше переселение, сударь, состоится в Орландовцы, на кладбище, — это как пить дать. Оттуда уже никуда.

— А кто его знает, — вставил Нягул, — коли есть второе пришествие, и оттуда придется выселяться.

Не поклонился

Осеннее солнце зашло за Люлин-планину⁶⁹. Скалистые вершины Витоши слегка зарумянились; на зеленые склоны ее легла густая тень. Мягкие очертания горы рельефно обозначились на нежной синеве неба: мельчайшие выступы скал на гигантском хребте ее вырисовывались отчетливо. В такую пору Витоша со стороны Софии кажется особенно красивой и величественной. Одетая в темно-зеленую мантию тени, увенчанная последними румяными лучами умирающего солнца, она как будто обменивается с ним прощальными словами, завершая какой-то таинственный разговор. Но вот скрывшееся за Люлином солнце залило светлым и теплым золотистым сиянием весь небосвод по ту сторону Витоши. Строгая, страшная громада выступила еще величественней на лучезарном фоне вечерних небес, образовавшем вокруг нее как бы сияющий ореол... Словно позади ее могучего хребта какой-то далекий пылающий за морем пожар залил лазурь ровным, еле уловимым отблеском невидимого пламени. Чудное, упоительное зрелище!..

Но проходит еще немного времени, и эта световая фантазмагория исчезает; небесное пространство над горой мало-помалу утрачивает прежние краски, тускнеет. Из темноты показывается вечерняя звезда. Сверкая ослепительным лучистым бриллиантом, она повисает прямо над горным хребтом ясной лампадой, опущенной с небесного купола, когда еще никакой другой звездочки не появилось на нем.

Но я увлекся описанием колоссальной Витоши, а хочу рассказать о чем-то совсем маленьком: о Славчо Плужеве.

Знаете вы Славчо Плужева?

Нет?

А между тем вы каждый день встречаетесь с ним.

Славчо Плужев — чиновник и не может быть никем иным. Он

⁶⁹ Люлин-планина — невысокая горная цепь к юго-западу от Софии.

маленького роста, с коротким туловищем и короткими ножками, которые всегда спешат, но так, чтобы при этом не наступить даже на муравья. В выражении его круглого смуглого лица ни малейшего вызова, наоборот — нос толстый, волосатый, лоб низкий, покрытый до самых глаз густой растительностью, брови широкие, черные, сросшиеся на переносице, словно отделившаяся часть косматой шевелюры, глаза испуганные, бегающие во все стороны, как у солдата, потому что Плужев боится пропустить кого-нибудь, не поклонившись. При этом ему решительно все равно, по какому ведомству числится прохожий, — тому же, что он, или другому: ведь всякий может напакостить. В своем учреждении Плужев — образец чиновничьего смирения и благонравия. Иные бесстыдные насмешники называют его за спиной — шепотом, но так, чтобы он слышал — «Алексеем — человеком божьим» или «святым агнцем». Но Славчо делает вид, будто не слышит, и продолжает быть с ними почтительным, ни в чем не противореча. Какой смысл спорить и ссориться со всяким нахалом? С волками жить — по-волчьи выть. Ласковое слово и поклон никогда не повредят. Плужев прекрасно это знает и всегда, при любых обстоятельствах, действует соответствующим образом... Отвесить поклон — не отвалится голова... Следуя этому мудрому правилу, он до сегодняшнего дня не имел повода ни в чем раскаиваться, волноваться из-за чьего-либо недовольства, опасаться косога взгляда. И он плавал в тихой, спокойной, чуждой всяких тревог атмосфере, извините за выражение — как почка в жиру.

Но однажды Славчо Плужев, этот тихий, добрый, безобидный, скромный чиновник, вернулся вечером к себе домой страшно растерянный, с испуганным выражением лица. Первый раз жена увидела его таким убитым и подавленным; он как будто даже стал еще ниже ростом.

Она подумала, что сейчас услышит от него о каком-то большом несчастье.

— Что с тобой, Славчо? — спросила она в страшной тревоге, и еще прежде, чем муж успел открыть рот, слух ее уже уловил печальное слово: «уволен».

Славчо безнадежно понурил голову.

— Пойдем в дом, Пена. Там расскажу! — с трудом произнес он.

Пена пошла за ним, еле передвигая ноги от страха.

Войдя в комнату, Славчо всплеснул руками и плачущим голосом трагически воскликнул:

— Ах, что я наделал, несчастный! И как это могло со мной случиться!

«Нет, тут не увольнением пахнет, а кое-чем похуже!» — подумала Славчовица, Написанное на лице бедного супруга отчаяние не оставляло ни малейшего сомнения в том, что их постигла страшная беда.

«Неужто в заговор какой дал себя втянуть⁷⁰, и его выследили...» — с ужасом подумала она, вспомнив о громком политическом процессе, который шел тогда в суде.

— Как я от городского сада до дому добрался — по земле ли шагал или как-нибудь иначе, сам не знаю, — продолжал Славчо. — Вечером вышел из

⁷⁰ Неужто в заговор дал себя втянуть... — в конце 80-х годов и в первой половине 90-х гг. в Болгарии был раскрыт ряд заговоров, организованных буржуазно-демократической и буржуазной оппозицией против правительства Стамболова и князя Фердинанда I.

канцелярии и решил немного пройтись... Что-то у меня одно веко все дергается... Побродил по улицам, иду мимо городского сада домой. Народу на тротуаре — прямо муравейник. Опять веко задергалось... Иду и думаю: это не к добру... Какой-то встречный посмотрел на меня, я на него — и разошлись. Вдруг, сам не знаю почему, охватил меня страх. Оборачиваюсь, чтоб еще раз на того прохожего взглянуть. А он остановился в пяти шагах от меня и с нашим начальником отдела разговаривает. Пена! Министр! Я с самим министром встретился!

Пена, вытаращив глаза, ждала, что будет дальше. Но Плужев застыл неподвижно, закрыв лицо руками; слышно было только, как он тяжело дышит сквозь пальцы.

— Что же ты замолчал? Говори скорей. Я просто с ума сойду...

Плужев гневно поглядел на жену.

— Чего тебе еще? Ты что, оглохла? Мой министр прошел мимо меня, а я шапки не снял!

Пена облегченно вздохнула. Сердце ее стало биться спокойней.

— Какой ты глупый, Славчо. Что ты простофиля, я давно знаю, но чтобы до такой степени — не представляла, — промолвила она. — Да что ж тут особенного? Чего ты так раскис?

— Как — что особенного? Навстречу мне идет самый высокий начальник. Смотрит на меня, понимаешь? И я тоже на него смотрю, а не кланяюсь. Надо быть дурой, чтоб не понимать таких вещей и улыбаться.

— Ну, хорошо. Так почему же ты его увидел и не поклонился? Чего зевал?

— Чего зевал?! Я же сказал тебе: я думал о том, что может означать это дурацкое дерганье левого глаза! И не успел опомниться, как министр мне прямо в лицо взглянул. Не успел опомниться, как он... уже прошел.

Пене стало жаль мужа.

— Не огорчайся, — ласково сказала она, чтобы его успокоить. — Разве не бывает, что человек задумался и по рассеянности не поздоровался с кем-нибудь...

— Бывает. Но никто, никто не имеет права быть рассеянным и не поклониться, если этот кто-то — его высший начальник. За месяц я снимаю шляпу миллион раз. Кстати, почистила бы ты ее опять керосином. Кланяюсь встречному и поперечному. А в кои-то веки встретился мне мой министр, ждал от меня поклона и не дождался. А ведь он меня к ордену представил!

Славчо тяжело вздохнул.

— Поверь, он даже не заметил этого. Большие люди не замечают таких мелочей.

— В том-то и дело, что большие люди... именно потому и большие, что замечают каждую мелочь... Мы, люди мелкие, близоруки и ограничены. Сколько раз я, идя на службу, проходил мимо церкви Святого Краля, не обращая внимания. А потом удивлялся: когда же это я прошел мимо нее? Нет, ты права: я ротозей...

— А я, когда ты пришел, подумала: кончено, Славчо со службы прогнали, а мы еще не расплатились за свой домик.

— И правильно подумала, — не сдавался Плужев, стараясь убедить и жену в неизбежности катастрофы. — Можно считать, что меня уже

уволили. Я — конченный человек... Да, забыл тебе сказать: когда я обернулся, чтоб поглядеть на него, он сказал начальнику отдела: «Завтра принеси бумагу на подпись...» Бумагу, понимаешь? Я свой приговор услышал... Мне даже показалось, что он кинул на меня быстрый, как молния, сердитый взгляд — только искоса, краем глаза... Ах, какое несчастье!

Все попытки Пены рассеять тревогу мужа были напрасны. В конце концов беспокойство охватило и ее: конечно, все возможно... Мало ли чиновников, потерявших место по причинам еще более ничтожным, а то и вовсе без всякой причины!

Супруги не стали ужинать. Плужев лег, весь как в лихорадке. Печальные, мучительные сновиденья рисовали перед ним то грозный образ министра, поглядывающего на него искоса, то фигуру министерского рассыльного, доставляющего ему роковую «бумагу», то тротуар возле городского сада, кружащийся в вальсе у него под ногами, то мрачную громаду церкви Святого Краля, на крышу которой католические священники выносят его, Плужева, бездыханное тело, чтобы похоронить под черепицами...

Утром он проснулся с ввалившимися глазами.

— Прощай, Пена! — произнес он жалобным голосом, уходя в министерство, и в глазах его заблестели слезы. Жена тоже не удержалась от слез. Прощание супругов было так трогательно, как будто Славчо уходил на войну и им никогда больше не увидятся...

Это было прощанье Гектора с Андромахой.

* * *

Пена ждала мужа к обеду в невыразимой тревоге. Когда он показался у калитки, сердце ее так и замерло: Славчо стал еще бледнее; войдя в калитку и сделав несколько шагов по двору, он оперся о стену дома, чтобы не упасть.

Видя, что мужу плохо, Пена бросилась ему на помощь.

— Беги скорей за доктором! — приказала она прислуге, подхватив под руки Славчо, который с трудом держался на ногах.

— Не надо... — еле слышно пробормотал он.

Пена заплакала.

— Милый мой!.. Не думай ни о чем! Лишь бы ты был жив и здоров...

— Не плачь! — простонал он, прижимая одну руку к левой стороне груди, а другой шаря у себя в кармане пальто. Вынув оттуда распечатанный министерский конверт, он подал его Пене и прошептал:

— Читай.

— Оставь, знаю! Лишь бы ты был жив, — всхлипнула она.

Плужев старался вынуть из кармана еще что-то.

— Не двигайся... Посмотрите скорей, доктор, что с ним такое? — обратилась Пена к вошедшему во двор врачу — их соседу.

Врач хотел было пощупать пульс больного, но почувствовал, что Славчо сует ему в руку какую-то вещь. Это была плоская черная коробочка. Открыв ее, доктор воскликнул:

— Орден! Поздравляю!

В конверте находилось обычное в таких случаях министерское сообщение о награде.

Потрясенный внезапным переходом от безнадежного отчаяния и страха к неожиданной великой радости, Славчо пролежал две недели в постели. От этого двойного удара слабое здоровье Славчо Плужева, ранее не знавшего никаких волнений, надломилось.

Через шесть месяцев в результате всего пережитого он умер.

Наводнение

Солнце бросало веселый сноп лучей в полуоткрытое окно. Легко откинувшись на подушку, в позе, полной непринужденного, беззаботного очарования, нежная и чувствительная госпожа Милица Арсениева дочитывала самую занимательную и захватывающую главу старого французского романа «La Dame de Monsoreau» Дюма.

С сердечным трепетом следила она за страшными злоключениями героя, из которых он выходил цел и невредим, чтобы попасть в другие, еще более ужасные; с безграничной тревогой делила его волнения, переживала его опасности и со слезами на глазах ликовала по поводу избавления симпатичного любовника Дианы Монсоро!

Чтение прервал голос вошедшего в комнату мужа:

— Не пройтись ли нам по Ючбунару, Милица?

— А чего мы там не видали?

— Посмотрим наводнение: Княжевская река разлилась и затопила весь Ючбунар. Там теперь целое озеро. Дома, как острова, торчат из воды... Интересно! Говорят, есть утонувшие дети; трупы плавают! — закончил Арсениев перечисление заманчивых новинок.

Тут Милица не выдержала. Захлопнула роман на том самом месте, где начиналось описание дуэли на саблях между благородным героем и пятью врагами его — придворными Генриха III.

— Поедем, Иордо!

Она наскоро привела себя в порядок перед зеркалом, надела элегантную шляпку со страусовым пером, Иордо позвал извозчика, и они помчались в Ючбунар.

Милица просто замирала от любопытства.

Уже при въезде на Солунскую Милица и Иордо увидели первые признаки ючбунарского потопа: горный поток, бегущий по окраине Софии; тоже разлился, превратив эту низкую часть улицы в мутное, желтое болото. При переезде вброд вода была лошадям по самое брюхо. Милица задыхалась от возбуждения. Что же будет в Ючбунаре? Лошади с трудом выбрались на берег. Кнут опять прошелся по их спинам, и они помчались вперед, оставляя на дороге длинный мокрый след от колес.

Выехали на Витошскую и, миновав церковь Святого Краля, повернули на запад к Ючбунару.

Другие экипажи спешили в том же направлении. Зрелище разорения и несчастья влекло всю столицу в пригород. Милица и Иордо сгорали от нетерпения увидеть бедствие во всей полноте.

Одаренная от природы богатым воображением, получившим еще большее развитие под влиянием романов, Милица уже рисовала себе

картину наводнения. Как страшно шумит вода, в которой плавают всякий домашний скраб, одежда, посуда из разрушенных, затопленных домов! А среди этих обломков и безыменных предметов плывут трупы с обращенными к небу лицами, глядят остекленелыми глазами. Это страшное и отталкивающее зрелище приводит Милицу в содрогание, но в то же время вызывает в ней новый трепет острого, щекочущего нервы любопытства.

Подвергшееся затоплению пространство начиналось от паровой мельницы Вейса. Милица стала искать взглядом, когда же на улицах блеснет вода; она напрасно искала озеро и после того, как экипаж уже въехал в Ючбунар. Заметны были только свежие следы воды, уже отступающие мутные разводья, оставленная ушедшим потоком свежая гладкая тина по обе стороны шоссе; виднелись домики, сильно подмытые у основания, а некоторые — до самых окон и еще выше, с испуганными, оторопелыми лицами застывших на пороге бедняков.

* * *

Милица была в Ючбунаре впервые. Она с удивлением смотрела вокруг. Все в этом новом пригороде, этом наскоро построенном поселке было отмечено печатью поспешности и вынужденности его возникновения. Всюду сколоченные из горбыля низенькие домики, разбитые по определенному плану кварталы, пустые улицы — прямые, но непроходимые. Плод безудержной спекуляции, Ючбунар возник стремительно, как гриб на болоте. Тысячи бедных, в частности еврейских семей, изгнанных из центра столицы в разгар ее обновления, были выброшены сюда со своими лачугами, лохмотьями, вонью, осуждены на прозябание и эпидемические болезни, вызванные сыростью почвы и миазмами воздуха, тлетворные тучи которых западный ветер, как невидимую заразу, постоянно нагоняет на столицу. София поторопилась обзавестись своим гетто.

* * *

Пролетка катилась по ровной мостовой. Налево и направо — все те же следы наводнения, стоячая вода, грязь; жалкие оборванные существа, анемичные, желтые лица с признаками золотухи, грязные еврейки и их ребятишки, сидящие на корточках на порогах у синеватых от вылитых помоев лужиц. Но озер, снесенных домов, плавающих в мутной воде маленьких утопленников — ничего этого не было.

На другом конце улицы толпился народ; были и пролетки.

— Туда! — приказал Иордо.

Пролетка понеслась.

Подъехали. Толпа стояла на мосту через Княжевскую реку и смотрела в воду.

Река, еще буйная и гневная, шумела высокими мутными волнами, но уже входила в берега, не угрожая больше жилищам ючбунарцев.

— Больше нигде нет воды? — спросила Милица одного из евреев.

— Нет, нет, сударыня, не бойтесь. Схлынула, слава богу, — ответил

еврей, снимая перед ней рваную меховую шапку.

— Где же разрушенные дома?

— Разрушенных домов нет, — ответил еврей.

Он с восхищением смотрел на размякшее от свежего ветерка красивое лицо Милицы.

— А дети утонувшие есть? — спросил Иордо.

— Нет, сударь, это напрасно говорят. Никто не пострадал. Вода быстро сошла.

Взгляд Милицы выразил недовольство,

— Твои новости высосаны из пальца, Иордо, — с досадой сказала она мужу.

— За что купил, за то и продаю, — возразил тот. — Раздули, из мухи слона сделали. Поезжай обратно! — сказал он извозчику.

И пролетка покатила назад меж двух рядов подмытых домишек, мимо заплыванных грязью лавчонок, мимо кучек нечистых смуглых евреев, встречая других туристов в пролетках, с таким же недоумением на лицах...

* * *

Милица сняла шляпку, крайне недовольная, крайне разочарованная, крайне сердитая. Стоило из-за этого бросать роман на самом интересном месте: перед дуэлью!.. Только зря раздражили любопытство, растревожили.

Она опять взяла роман и принялась за чтение с трепещущим от прежнего волнения сердцем, чтоб поскорей узнать, спас ли свою жизнь среди новых грозных опасностей фантастический герой.

Он молод, полон сил, интеллигентен

Он молод, полон сил, интеллигентен.

Четыре раза он приходил ко мне.

Приходил по важному делу: просил моего ходатайства о назначении на службу. Он состоял на службе целых девять лет, но несколько месяцев тому назад его уволили. С каким удрученным видом этот молодой человек является ко мне — просить! Как он весь сникает, узнав, что мои старания не увенчались успехом! Когда он был у меня в последний раз, мне просто стало совестно; я почувствовал себя виноватым... Нет, так больше не могу, я буду вынужден в конце концов или захлопнуть перед ним дверь, или лишить его всякой надежды. Ни на одно, ни на другое у меня не хватает смелости. Он так несчастлив.

Сегодня он пришел опять.

Когда я пригласил его сесть, он впился в меня пытливым взглядом, лицо его заметно побледнело и вытянулось.

— Ну как? — спросил он.

В это простое слово он вложил всю свою душу, все свое существо.

Я ответил, что опять — неудача.

— Просто не могу себе представить! — воскликнул он с горечью. — Мне нельзя без службы. Я должен как-то жить... Войдите в мое положение! Это ужасно!

И он разразился потоком горьких жалоб, упреков, мрачных предположений. Мне стало жаль его.

— В конце концов подумайте о какой-нибудь другой работе, — осторожно намекнул я.

Молодой человек бросил на меня такой удивленный и обиженный взгляд, что я тут же раскаялся в своей опрометчивости,

— Работа! — гневно возразил он. — Скажите прямо, что ничего не можете сделать для меня, но зачем глумиться?

Я попытался было убедить его, что в слове «работа» нет ничего обидного и зложелательного, что у меня и в мыслях не было смеяться над его бедой, напротив.

Он демонстративно взялся за шляпу.

— Значит, нет никакой надежды? — спросил он уже от дверей.

— К сожалению, я не в силах ничего сделать, — сказал я решительно.

— Что ж, выходит, я пропащий человек!

Лицо его выражало глубокое отчаяние.

Я пытался его ободрить, вдохнуть веру в милость судьбы, разумеется, всячески избегая произносить слово «работа». Он, такой молодой, здоровый, такой интеллигентный, не простил бы мне этой кровной обиды.

— Благодарствую, не надо меня утешать, со мной все кончено.

— Почему же кончено?

— Мне остается одно: умереть с голоду или покончить счеты с жизнью.

Произнеся эти трагические слова, он хлопнул дверью и удалился.

Покончить счеты с жизнью?

Я не верю в это, я знаю: не бывать ни первому, ни второму; все это пустые слова, вырвавшиеся в минуту раздражения. Но в них было столько искренности! Да, он произнес их в минуту безнадежности и отчаяния с горьким сознанием своей беспомощности.

Безнадежность? Отчаяние? Беспомощность?

Я задумался, удрученный.

И сказал себе:

О, Болгария! Могучая, полногрудая, изобильная, цветущая, святая мать — кормилица немощных, безжизненных, пропащих уродов! Есть у тебя огромный простор для труда; ты арена, зовущая к широкой деятельности, к великим, плодотворным начинаниям; бескрайние, плодородные, тучные поля твои остаются яловыми; сокровища в недрах — пренебрегнутыми; стихийные желания и потребности — неудовлетворенными! Твое животворное солнце своими жаркими лучами не возжигает в наших душах пламя энергии, струи твоего вольного воздуха, который мы вдыхаем с наслаждением, не наполняют нашу грудь жаждой гордой независимости, свободного полета. Нет! Мы бедны, мы жалки и малодушны. Благородный пот идущего за ралом, честный труд ремесленника, простая, скромная слава честно заработанного куска хлеба, слава безвестных тружеников-героев не ободряют нас, они нас страшат, мы мним их постыдными; наша мысль, не способная к самостоятельности и самотворчеству, погрязла в затхлости, заплыла плесенью лени. Нет, у нас одно на уме: служба, служба и служба! Ни о чем другом мы не желаем слышать. Служба — альфа и омега наших человеческих устремлений. Мы жаждем пристроиться к казенному пирогу; отыскать местечко на

изнуренной плоти народа, вонзить свое жало паразита и капля по капле сосать его кровь. Сосать, сосать и сосать! Не будь этой капли, мы умрем, без нее мы не мыслим своего существования, без нее — безнадежное отчаяние, упадок, уныние, смерть! Мы погибнем, если будем так жить! Наша щедрая природа дала нам дивные поля, горы, реки, небо, моря — великие соблазны для труда и полезных начинаний; дала нам молодость, молодецкую удаль, здоровье, ум, волю, зажгла в умах светоч разума, достойного, может быть, гения. Зачем они нам? Бесполезные дары, докучливые, опасные блага, единственно способные призвать к труду наши мышцы, дать работу нашему разуму!

О, дайте ему службу!

Потому что он молод, полон сил, интеллигентен.

Выхлопотала

Когда Пенчо Знаховский вошел к себе во двор, жена его, занятая каким-то хозяйственным делом, обернула к нему свое красивое доброе лицо и поглядела на него с тревогой. Но, не обнаружив озабоченности, омрачавшей его лицо утром, когда он уходил, она решила, что сейчас услышит от него что-нибудь обнадеживающее, и спросила:

— Удача?

— Пойдем, Петруна! — сказал Пенчо.

И оба пошли в комнату.

Пенчо прикрикнул на детей, которые шумели там, — жалкие создания с бледными, бескровными лицами, словно постаревшие от тягостей, лишений и бед, постигших их в столь раннем возрасте, и торжественно объявил жене:

— Петруна! По-моему, только ты можешь помочь.

Петруна взглянула на него удивленно:

— Как же я могу помочь?

— Ступай к господину Чардашевскому.

— Мне идти к Чардашевскому?!

— Да, походи попроси у него для меня эту должность. Я вижу, все остальное — ерунда! Большие люди обещают, а потом забывают. Сытый голодного не разумеет. Давай лучше сами себе поможем.

Застигнутая врасплох, Петруна растерялась, побледнела. Нет, она не может идти к господину Чардашевскому. Как она пойдет? Это и неприлично и страшно. Нет, нет! Просто невозможно.

Пенчо рассердился.

— Ну вот, раскудахталась, а чего, и сама не знает, — раздраженно сказал он. — Никто тебя не съест. В нашем положении нос задирать не приходится. Мы — нищие, умираем с голоду. В доме семь ртов каши просят, а где я возьму, если упущу и эту должность? Она для нас — жизнь и хлеб. А без нее — смерть.

— Но как я пойду? Зачем ты меня посылаешь? Разве не обещали тебе помочь влиятельные люди? — спрашивала или, вернее, стонала близкая к отчаянию Петруна.

— Говорю тебе — ерунда! Не надейтесь на князей и сынов человеческих. Сходи сама к Чардашевскому... Так и другие, повыше нас,

делают.

— Но с какой стати Чардашевский послушает меня?

— Ну, женщина — это другое дело. Когда женщина о, чем-нибудь просит, ее совсем иначе слушают. Это вполне естественно. Кроме того, господин Чардашевский тебя знает. И как я не догадался хоть раз нанести ему визит вместе с тобой? Это надо было сделать из вежливости! Чардашевский знает и уважает тебя.

— Как это может быть? Мы виделись с ним только один раз — два года тому назад, у Койчева!.. Он давно забыл об этом.

— Ну да, у Койчева... Мы его там застали, и Койчев представил тебе его... Он тебя уважает... Помнишь, как он тогда почтительно разговаривал с тобой. Ты произвела на него впечатление... своим непринужденным разговором... Даже третьего дня, когда я рассказал ему о положении у нас в доме, он меня спросил: «Как поживает ваша супруга?» Я поблагодарил. Он тебя знает...

Петруна покраснела и опустила глаза.

— Я тебе советую — пойди!

— Но я даже не знаю, как его просить, — возразила Петруна.

— Проси как умеешь... Заплачь перед ним. У тебя четверо детей, которые хотят есть. Ради них ты найдешь, как говорить и что делать. Ты — мать. Стань на колени, плачь, целуй ему ноги, если понадобится, но место должно быть за нами! От этого зависит наша жизнь, понимаешь?

— погоди. дай мне прийти в себя, подумать!

— Нечего тут думать. Одевайся.

— Как? Сейчас?

— Сию минуту. Время не терпит. Если я не получу должности сегодня, завтра будет уже поздно. Да и неудобно: он будет тогда у себя в канцелярии.

— Может быть, мне лучше пойти к нему туда?

— Нет, нет, на дом.

— На дом?

— А что ж такого? Сейчас он дома. Только у него дома ты сможешь подробно рассказать ему о нашей беде, поплакать, разжалобить его. Слово женщины имеет большое значение. Одна женская слеза стоит больше, чем сто самых убедительных слов мужчины и сотня самых солидных рекомендаций. А тебя Чардашевский знает и уважает: он не может тебе отказать... Ступай! Все зависит от тебя. Ты — последняя надежда, которая у нас осталась, последнее средство спасения, соломинка, за которую я хватаюсь, чтобы окончательно не потонуть... Если и ты, моя жена, не захочешь мне помочь, я пойду куда глаза глядят, чтобы ничего не слышать, не знать... Не видеть, как дети умирают с голоду.

Петруна заплакала.

— Что ж ты плачешь?

— Горькая моя участь, боже мой! — печально вздохнула она. — Выходила замуж, думала, хоть луч света увижу... Детки будут... А зачем все это? Вот он посылает меня к Чардашевскому.

Пенчо вспыхнул. В первый раз жена говорила с ним так... Слова ее прозвучали тяжелой укоризной, жестоко уязвившей его самолюбие, и без того уже израненное постоянными унижениями и неудачами, в последнее

время дошедшими до предела. Упреки Петруны переполнили чашу. Он вышел из себя. Зашумел, закричал, стал ругаться. Нет, это она приносит ему несчастье с тех самых пор, как он на ней женился. Если бы не это, он жил бы теперь припеваючи, а она заманила его в ловушку, народила ему детей, связала его по рукам и ногам. И теперь еще важничает, не желает пойти попросить! Какая принцесса выискалась! А позабыла, барыня, как пришла от матери в одном рваном платье?.. Не сделай он тогда этой глупости, быть бы ей теперь где-нибудь в служанках!..

Чем сильнее он кричал, тем больше разъярялся. Каждое злое слово тянуло за собой другое — еще злее, укоризна влекла за собой укоризну, обида — обиду. В своем исступлении он уже начал смотреть на жену не только как на виновницу всех случившихся с ним в жизни несчастий, но даже как на врага, сознательно стремящегося нанести ему вред. Она отнимает у него единственную надежду на успех. Может помочь ему, но не хочет. Ее колебания приводили его в бешенство, упорство возмущало. Он не хотел заглянуть в ее душу, не хотел понять, каким деликатным чувством вызвана ее нерешительность. Да, он этого не может понять. А мог бы, если б любил ее, Петруну, если б его привязанность и уважение к ней давным-давно не сменились равнодушием. Ну да, осталась ревность; это чувство пережило любовь. Но сейчас ему не до того; он задушил ревность в своей груди, как лишний источник тревоги. Он не хотел ничего знать, от всего отворачивался, думал только об одном:

Получить должность!

Сохранить жизнь!

Воскреснуть!

— Я пойду! — дрожащими губами произнесла Петруна и вышла из комнаты.

* * *

Пока Петруна одевалась перед маленьким зеркалом — она старалась принарядиться, — в голове ее кружился неистовый, шумный рой мыслей. Она нетерпеливо втыкала булавки в черные, густые, изящно уложенные на затылке волосы, прикрепляя дешевую коричневую шляпку с искусственными черными фиалками и двумя крылышками наверху. В памяти всплывали разные истории и рассказы подруг о поступках других женщин вроде того, который собиралась совершить она. Говорили, что Чардашевский — развратник. Она всегда его боялась, но теперь решила пойти. Да, она пойдет и — услуга за услугу... если понадобится! Вот и все!..

С трудом надевая новые ботинки, она припомнила множество всяких дурных слухов, на которые прежде не обращала внимания. Ей даже вспомнились слова Кандиловой, этой сплетницы Кандиловой: «Много кораблей ходит по морю, а следов не остается». Она сказала это с лукавой улыбкой — о Койчевой... А Койчевы живут теперь, ни в чем не нуждаясь: муж — заместитель начальника, жена всегда одета по моде. Всего вдоволь. Потом мысли ее устремились к Пенчо. До чего он стал ей противен! До сих пор она жалела его, но теперь — о, теперь она на него страшно зла! Столько горя с ним натерпелась! Бедность, нищета, заботы, огорчения, и всегда мрачный вид, и никак не может найти работу. А теперь — такие

скверные мысли!.. О, как она на него зла!

Обуваясь, она оторвала две пуговицы на ботинках; надевая дрожащими руками серьгу с фальшивым жемчугом, уколола ухо. Чувствовала, что качается, как пьяная... Да, да, она пойдет к Чардашевскому, — дальше так жить нельзя. Будь что будет!.. А виноват он! «Коли любишь немного — отпускаяй не дальше порога», — прошептала она. Бросив последний взгляд в зеркало, она заметила, что сильно изменилась в лице: румянец уступил место бледности. Это ей понравилось.

* * *

Пенчо Знаховский в страшном нетерпении ждал, когда вернется жена. Он взволнованно шагал по комнате. Мысли его неслись к дому Чардашевского. Распаленное воображение рисовало перед ним картины, от которых он не мог оторвать взгляда. Он видел, как Петруна входит к Чардашевскому. Чардашевский приветливо жмет ей руку, просит садиться. Он слушает ее внимательно, благосклонно. Лицо его выражает сочувствие. Петруна взволнованно объясняет ему, в каком тяжелом положении они находятся; слова ее приобретают утроенную силу благодари ее кроткому красивому лицу. Она говорит с жаром... Обещает вечную признательность за благодеяние... Чардашевский не в силах отказать. Он растроган ее слезами, так как Петруна плачет, и дает торжественное обещание предоставить ее мужу должность, о которой она просит.

Вереница этих успокоительных сцен то и дело прерывается другими картинками, от которых его бросает в жар, но они тотчас же отступают и бледнеют, и Знаховский сердито отмахивается от них, как от назойливых мух... Он все время взглядывает на дверь. Ах, он сейчас же по лицу узнает, с какой она вернулась вестью — доброй или дурной!

Его нетерпение поминутно росло. Петруны все не было. Эта задержка, с одной стороны, раздражала его, с другой — успокаивала: хороший признак! Она давала возможность надеяться и в то же время отдаляла страшную минуту... Если жена войдет со словами: «Пенчо! Победа!» — он, пожалуй, не выдержит — сойдет с ума. И, весь дрожа, он горящими глазами глядел на калитку.

Она отворилась. Во двор вошла Петруна. У Пенчо сердце забилось от радостного предчувствия: Петруна уходила бледная, а теперь шла румяная, вновь расцветшая, но строгая, без улыбки, Пенчо выбежал из комнаты и встретил ее во дворе. Прежде чем он успел что-либо спросить, она коротко произнесла:

— Ты назначен!..

— Петрунка! — в восторге воскликнул он, кидаясь к ней с распростертыми объятиями.

Но она оттолкнула мужа, выставив руку вперед и окинув его презрительным взглядом.

И заперлась у себя в комнате.

* * *

Утром Пенчо Знаховский получил официальное назначение.

Теперь он — счастливый, всеми «уважаемый» человек.
А Петруна?
О ней после...

«Травиата»

Зимнее солнце заливало мою комнату. Большой сноп золотых лучей, во всю ширину окна, падал вкось на ковер и на угол моего письменного стола, так что освещенный кусок сукна горел ярко-зеленым цветом.

Я предложил доктору М. отодвинуться в тень, так как во время разговора он, незаметно для себя, придвинул свой стул к окну, и уже лысеющая надо лбом голова его находилась прямо под этим солнечным потоком.

— Нет, я нарочно сел здесь, на солнышке. Люблю его лучи. Солнце — это здоровье, — ответил он и продолжал прерванный разговор.

В это время на улице заиграла шарманка: звуки ее понемногу замерли в отдаленье.

Доктор, видимо, с удовольствием вслушивался в плавные звуки постепенно удаляющегося инструмента.

— Люблю музыку, вообще мир звуков, — сказал он.

— Откуда такие деликатные вкусы? Заниматься кромсанием человеческого тела и любить лучи, звуки... Ты, видно, ошибся в выборе профессии, доктор, — заметил я в шутку.

— Нерон, любуясь пожаром Рима, играл на арфе! Одно не мешает другому, — возразил он тем же тоном.

— Ты, конечно, будешь вечером на концерте в «Славянской Беседе»?

— О, там сегодня выступает европейская знаменитость. Я хотел пойти, но раздумал.

— Жаль. А почему?

— Я видел программу...

— И она показалась тебе неинтересной? — спросил я, удивленный разборчивостью приятеля: программа включала арии из самых известных опер.

— Там будут петь из «Травиаты», — промолвил он.

— Чего же лучше?

— Терпеть не могу «Травиату»; она мне просто отвратительна.

Видя мое удивление, он пояснил:

— Музыка божественная; русские так и говорят; божественная «Травиата». И я прежде обмирал, слушая. Но однажды ночью возненавидел ее на всю жизнь.

— Какой ночью?

— В ночь на тридцатое мая тысяча восемьсот девяносто первого года. С тех пор не могу ее слушать без дрожи ужаса — без того, чтобы у меня волосы на голове не встали дыбом. Она вызывает во мне страшные воспоминания.

— Что ж это за дата: тридцатое мая?

— Той ночью, после одиннадцати, жандармы перевели меня в третий участок из четвертого, где я пробыл тринадцать месяцев! Ты ведь знаешь,

что я сидел в тюрьме по делу Белчева⁷¹.

И, нахмурившись, доктор продолжал:

— Третий полицейский участок находился на Алабинской улице, рядом с гостиницей «Люксембург». В том же доме помещалась тогда городская управа. Полицейские отвели меня туда, приставив штыки к спине, и втолкнули в большую темную комнату. На стене еле горела маленькая лампа. Я принялся обдумывать положение. Не к добру привела меня сюда: о третьем участке ходили самые скверные слухи.

В камере не было ни постели, ни одеяла — одни голые доски, покрытые пылью. Воздух был полон смрада из-за находящейся поблизости открытой канализационной трубы. Я ходил взад и вперед по камере, стараясь собраться с мыслями, а снаружи доносились звуки «Травиаты». Играли в саду «Люксембург». Несмотря на мою тревогу, чарующие мелодии улаждали мне сердце. Я страшно любил эту оперу. Я напряг слух, стараясь не пропустить ни звука. С одной стороны, я мучительно ломал себе голову, зачем меня бросили в этот застенки, ввергли в новую неизвестность, а с другой — радовался, что теперь мне можно будет каждый вечер до поздней ночи находить утешенье в концертах. У меня будет как бы друг, нечто вроде живого существа, которому я буду поверять свои чувства, разгоняя одолевающие узника мрачные мысли. Я подумал о том, что в четвертом участке целых тринадцать месяцев не только не слышал музыки, но даже шума улицы, даже голоса человеческого не мог услышать: тюремщику, приносящему мне пищу, было запрещено разговаривать со мной! Когда певица умолкла, мне хотелось присоединиться к аплодисментам.

Лицо доктора становилось все мрачней; он смотрел в пол, задумавшись.

— Из твоего рассказа я делаю вывод, что ты, наоборот, должен был еще сильнее полюбить чудесную «Травиату».

Доктор многозначительно посмотрел на меня, как бы говоря: «Погоди, я еще не кончил», и продолжал свое повествование. Он говорил спокойно, ровно, обычным тоном, без риторических украшений, и речь его я постараюсь передать во всей ее искренности и простоте.

— Публика в восхищении аплодировала, кричала бис, и я приготовился опять слушать певицу, которая должна была выйти еще раз. Опять полилась та же мелодия. И вдруг где-то близко, словно из-под земли, послышался стон: «Ой, ой, мама!», потом — шум: «бух!», потом опять: «Ой, мама!» — и снова «бух!» Стоны чередовались с какими-то глухими ударами. Звуки «Травиаты» плыли в воздухе, но я уже их не слышал. У меня волосы встали дыбом, пот выступил на лбу. Я подошел к окну в коридор, которое забыли закрыть и откуда шли стоны. Взглянул — и что же увидел? Находящееся вровень с землей подвальное окошко в коридор было освещено. Через него было видно, что делается в подвале, откуда слышались голоса.

Там стояли четверо полицейских, а на земле валялся связанный человек, до того крепко стянутый веревкой и неподвижный, что если б он

⁷¹ ...дело Белчева. — Имеется в виду убийство общественного деятеля, поэта, министра финансов в кабинете Стамболова — Христо Белчева, которое было организовано буржуазными оппозиционерами в 1881 г. Убийство послужило поводом Стамболову для расправы со своими политическими противниками.

не стонал, его можно было бы принять за неодушевленный предмет. Его били, и он неистово кричал. Кто был этот человек? Я не знал. Случайно заняв удобный наблюдательный пост, я стал ждать, что будет дальше. Каким гнусным ни казалось мне это зрелище средневековых истязаний, я не мог оторваться от окошка. Пот лил с меня градом. Я ждал своей очереди. Теперь мне стало понятно, зачем меня перевели сюда. Это подземелье служило застенком. Если б не забыли закрыть окно, я через эту толстую стену ничего бы не услышал, несмотря на то, что у меня тонкий слух, как у всех охотников. Я отчетливо различал стоны и удары, наносимые человеческому телу. Били не палкой — при этом получается другой звук, — а знаменитыми мешками с песком⁷², о которых я так много слышал, когда был на свободе. Теперь я видел своими глазами и слышал своими ушами эти ужасы: связанного человека поздно ночью в подземелье подвергают жестокому истязанию! В голове у меня гудело. Мне показалось, что я нахожусь в таком месте, из которого нет выхода, окружен чудовищами, готовыми растерзать меня... Четыре-пять минут тишины. «Кончено, теперь моя очередь!..» — сказал я себе. Но нет, снова заработали мешки с песком и послышались страшные стоны. Кто-то приказал:

— Завяжи ему рот, Миле! (Я хорошо расслышал имя.)

Это было тотчас исполнено. Несчастный не издал больше ни звука. Только удары следовали один за другим. А в саду аплодировали. Ария из «Травиаты» зазвучала в третий раз. Звуки плавно полились в ночной тишине. И аплодисменты и самая музыка казались мне теперь страшней и отвратительней скрежета зубовного в преисподней. Такие ужасы — и тут же рядом такие восторги!

Пенье — и стоны поверженного наземь. По ту сторону стены — взмахи дирижерской палочки, по эту — взмахи мешков с песком. Самое грубое варварство в двух шагах от самой утонченной цивилизации. Нет, это не цивилизация, а издевательство, святотатство, позор!.. «Травиата»? Я возненавидел ее. Я возненавидел Болгарию! Для того ли пролились потоки болгарской крови, для того ли двести тысяч русских полегли костями на наших полях и горах, чтобы мы имели счастье видеть в свободной Болгарии, в столице ее, в самом центре этой столицы, воскрешение мрачного средневекового варварства?

Доктор плюнул с омерзеньем. Начав свою речь спокойно, к концу ее он уже не мог себя сдерживать: клокотал, как вулкан. Глаза его сверкали гневом сквозь слезы. Он то и дело вытирал платком свой потный лоб, шагая взад и вперед по узкому пространству между моим письменным столом и окном. Комната казалась ему тесной. Он снова переживал мучения той страшной ночи.

Немного успокоившись, он продолжал:

— Вскоре опять наступило молчание, потом послышались шаги в коридоре. Я задрожал. Топот многочисленных ног говорил о том, что эти люди несут что-то тяжелое. Пройдя мимо моей двери, они вошли в

⁷² ...били... знаменитыми мешками с песком. — Продолговатые мешки, наполненные песком, служили в болгарской полиции средством истязания заключенных; мешки эти не оставляли на теле особых следов избивания. Эта зверская инквизиторская практика была заклеямена и писателями Алеко Константиновым, Михалаки Георгиевым, Тодором Влайковым.

соседнюю камеру и свалили там на доски что-то мягкое и тяжелое — может быть, человеческий труп. Потом послышался плеск воды. Никаких голосов больше не было слышно. Я ждал, что вот-вот и ко мне ворвутся жандармы, схватят меня и тоже поведут в подвал. В то время, когда я с замиранием сердца ждал этого, до меня доносились слабые стоны из соседней комнаты, куда бросили несчастного. Он шевелился и стонал, но это были движения и стоны умирающего, агонизирующего. Сквозь щели в стене проникал свет. Мне удалось разглядеть распростертого, теперь уже не связанного человека. Опознать его я не мог: мне никогда раньше не приходилось видеть это лицо. Рот у него был в крови. Он плевал кровью. Очевидно, от ударов в грудь. Чем же еще это могло быть вызвано?.. Ни до рассвета, ни в течение всего следующего дня ему не оказали никакой медицинской помощи. Хоть меня бы позвали... Он стонал, борясь со смертью. Только на второй день к нему пришел на минуту доктор Н. Сказал: «Ага, мерзавец, поделом тебе. Околевай теперь!», обругал полумертвого скверными словами и, даже не осмотрев, удалился. Я пришел в бешенство. Это было бесчеловечней того, что сделали жандармы. Только в Болгарии подобные типы имеют возможность так осквернять святость науки! Прошел еще день — и соседняя комната оказалась пустой: больной исчез.

— Что же с ним произошло?

— Об этом я узнал гораздо позже, только через пять месяцев, когда был оправдан военным судом и освобожден. Это был бедняга К., арестованный по тому же делу, что и я, ни в чем не повинный. В одну ночь со мной и его перевели из какой-то тюрьмы в третий участок, оттуда перенесли в больницу, а из больницы, тоже ночью, — на кладбище, где и закопали без отпевания.

Теперь понимаешь, почему я не могу идти на концерт, где будут петь из «Травиаты»? — прибавил доктор.

Он был прав.

Дед Йоцо видит...

Когда мы вспоминаем своих отцов, дедов, родственников, переселившихся на тот свет до освобождения нашего отечества, прежде чем перед глазами их засияли сладостные лучи свободы, нам часто приходит в голову: каковы были бы их удивление, их радость, если б они каким-то чудом пробудились от своего вечного сна, вышли из могил на свет божий и посмотрели вокруг! Как они были бы поражены всем окружающим, таким незнакомым и чуждым...

Но не воскреснут бедные наши родные, не порадуются чудесам свободы, каких они не видели даже в самых дивных своих сновидениях, но к которым мы уже привыкли и стали равнодушны. Нет, не воскреснут они: воскреснуть никому еще не удавалось...

* * *

Был, однако, человек, который умер накануне освободительной войны и хоть и не воскрес, но все же имел возможность при виде освобожденной

Болгарии испытать удивление воскресшего без тех разочарований, которые постигли нас, живых.

Это был старик восьмидесяти четырех лет и звали его дед Йоцо. Жил он в горах, в состоящей из нескольких кошар глухой деревушке, гнездившейся над Искырским ущельем, в глубоком тенистом логоу Стара-планины.

Человек простой, но толковый, он прожил тяжелую жизнь раба со всеми ее страданиями и унижениями, со всей ее безнадежностью. В самом начале русско-турецкой войны, когда старику пошел шестьдесят четвертый год, над ним стряслась беда: он вдруг ослеп.

Он остался жить, умерев для жизни, для светлых лучей неугасимой тайной надежды увидеть «Болгарское» — так называл он свободную Болгарию.

В душе его остались лишь образы черного прошлого; в сильной, хоть и старческой памяти его темным роем кружились воспоминания о рабской жизни, отвратительные, бередящие. Теперь он видел мысленно то, что некогда видел глазами: перед ним во мраке отчетливо мелькали красные фесы, чалмы, плети, свирепые турки со свирепыми лицами, тянулась бесконечно длинная рабская ночь, в которой он родился и умер, — ночь без проблеска радости и надежды:

* * *

Отзвук войны еле долетал в эту недоступную тогда балканскую глушь. Война началась и кончилась, а крутые скалы неприступного Искырского ущелья почти и не слышали ее грохота.

Болгария стала свободной.

И дед Йоцо стал свободен: ему сказали об этом. Но он был слеп — не видел свободы и не чувствовал ее ни по каким вещественным признакам. Она выражалась для него лишь в словах: «Турок больше нет!» И он понимал, что нет. Но жаждал увидеть «Болгарское», порадоваться ему.

В своих простых односельчанах, в их разговорах и мыслях, в их повседневных житейских заботах старик не замечал ничего особенно нового. Все те же люди с теми же страстями, та же неволя и бедность, что и прежде. Те же ссоры и шум в корчме, те же сельские дразги, та же борьба с нуждой и природой в этом отрезанном от всего мира, всеми забытом медвежьем углу.

Сидя с безжизненным, мечтательно устремленным в пространство взглядом у ворот своих владений, под ветвями кривых дубов, он удивленно спрашивал:

— Где же «Болгарское»?

Был бы он зрячим, он взлетел бы, как орел, чтоб поглядеть на обновленный мир.

— Вот бы теперь мне глаза! — печально твердил он.

Увидеть Болгарию свободной — эта мысль преследовала его неотступно. Она заслоняла собой все; он оставался равнодушен, безучастен к шуму окружающей жизни: все казалось ему незначительным, ничтожным, обыденным. Он боялся, что умрет или выживет из ума от старости, не узнав, как выглядит «Болгарское», не увидев этого чуда...

* * *

Однажды, на пятом году после освобождения, в деревне прошел слух, что к ним, по неисповедимому божьему произволению, едет окружной начальник. Эта весть взволновала всех. Живей застучало и сердце деда Йоцо. Стариком овладело сладкое, трепетное волнение, какого прежде ему не приходилось испытывать. Теперь он увидит «Болгарское»! Именно увидит...

Он расспрашивал соседей, что это за начальник, какой он. Крестьяне поосведомленней отвечали ему, что окружной начальник — это вроде как каймакам или паша.

— Но болгарский паша? — спрашивал дед Йоцо, задыхаясь от волнения.

— Болгарский, а то как же!.. — отвечали ему.

— Неужто наш? Болгарин?.. — спрашивал он с удивлением.

— А тебе что, Йоцо? Турка захотелось? — посмеивались крестьяне, которым уже довелось видеть во Враце разных начальников и всяческих важных людей, а в Софии никто из них не бывал.

Но деда Йоцо этот ответ не удовлетворял. Он интересовался одеждой начальника, его походкой, спрашивал, носит ли он саблю. Ему объясняли.

— И саблю носит!..

Дед Йоцо радостно вздыхал. «Как только приедет, схожу к нему», — эта мысль прочно угнездилась в его трясущейся голове.

* * *

Окружной начальник остановился у Денковых. Их низенький двухэтажный домик с узкой наружной лесенкой — лучший в деревне — был обмазан глиной, а одно окошко даже застеклено. Этот домик заранее отвели для приема высокого гостя.

Дед Йоцо зашагал к Денковым. Постучав посохом по плетню, он крикнул:

— Гость тут, Денко?

Увидев деда, хозяин нахмурился.

— Тут. А ты по какому делу, дед Йоцо? Начальник устал, его нельзя беспокоить.

— Скажи-ка ему: пускай выйдет на минутку, — попросил старик и, постукивая посохом, направился к лестнице на террасу.

— Экий ты нетерпеливый. Ну кому, зачем понадобился начальник? — спросил Денко.

— Никому не понадобился. Мне понадобился. Вот... Так и передай ему: «Тебя, мол, хочет видеть слепой дед Йоцо!»

— Увидишь, как же! — печально улыбнулся Денко. «Не видать его тебе, как своих ушей», — подумал он.

Но старик был настойчив. Он уже постукивал посохом по первой ступеньке лестницы. Старая голова его тряслась.

Хозяин вошел к начальнику и доложил ему, что пришел один впавший в детство слепой старик.

— По какому делу? — спросил начальник.

— Хочет тебя видеть.

— Видеть меня?.. Слепой, говоришь?..

— Да, уж пять-шесть лет, как ослеп.

И крестьянин рассказал гостю, как дед Йоцо перед приходом братушек⁷³ вдруг потерял зрение.

— Толковый был мужик и в достатке жил, — прибавил Денко, — да вдруг ни с того ни с сего ослеп по воле божьей. Теперь глядит — ничего не видит... Все равно как помер... И что господь не приберет его, право? Хорошо хоть, сохранилось добро кой-какое: двор, скотина. Да и присмотреть за стариком есть кому: заботятся о нем и сын и сноха, хорошо за ним ходят.

— Любопытно, — в раздумье промолвил начальник... — Пусть войдет! Нет, лучше я сам выйду!

Он вышел на терраску и спустился по лестнице во двор. Дед Йоцо, догадавшись по топоту сапог, что это идет болгарский паша, снял шапку.

Чиновник увидал белобородого старика, еще здорового на вид, с большим, грубым, обветренным лицом, в оборванной безрукавке и в подвязанных веревкой широких штанах. Он стоял в смиренной позе, наклонив седую голову и дрожа всем телом.

— Что скажешь, дедушка? — приветливо спросил начальник.

Старик поднял голову и устремил на него свои безжизненные неподвижные глаза. Только мышцы его большого лица нервно вздрагивали.

— Ваша милость, вы ли это, сынок?

— Я, дедушка.

— Паша?

— Он самый, — с улыбкой ответил начальник.

Сунув шапку под мышку, дед Йоцо подошел к нему, взял его за руку, пощупал суконный рукав, дотронулся до медных пуговиц, до аксельбанта, потрогал дрожащей рукой шитые серебром эполеты на плечах, потом приподнялся и поцеловал их.

— Привел господь увидеть! — прошептал дед Йоцо. Он перекрестился и вытер рукавом блеснувшие на глазах его слезы.

Потом низко поклонился и сказал:

— Прости за беспокойство, сынок!

И с непокрытой головой, постукивая посохом, пошел к воротам.

* * *

Для старика опять потянулись однообразные, беспросветные дни, опять непроглядный мрак слепоты. Но в этом мраке ясной звездой в темной ночи сияло теперь одно виденье: болгарский начальник-паша! Старику казалось, что он впервые за пять лет на миг прозрел, увидел «Болгарское» — маленький проблеск «Болгарского» — и убедился, что турок действительно больше нет, что в мире настала свобода.

Кроме этого случая, все шло по-прежнему. В корчме он встречался с

⁷³ ...перед приходом братушек. — Братушки — так ласково болгарский народ называл русских солдат-освободителей, вступивших в Болгарию в 1877 г.

теми же крестьянами, был свидетелем тех же перебранок и ссор. Вокруг продолжала шуметь такая же подневольная жизнь, с ее тяготами, трудами, мелочной борьбой, в которой он не принимал участия, чуждаясь ее и оставаясь чуждым ей. Единственно, что скрашивало его темное существование, — это сознание, что Болгария свободна. И, наблюдая порой распри между односельчанами, он удивлялся: как могут они отравлять себе жизнь, когда нужно веселиться и радоваться, что на свете есть «Болгарское», есть свобода? А у них еще глаза. Как же они должны быть счастливы!

«Можно подумать, что они слепые, а я зрячий», — говорил себе старик.

И он подолгу сидел под дубом, слушая, как в ущелье шумит Искыр, видевший во время своих странствий много всякой всячины. От этих мыслей и старику становилось приятно, а время шло...

* * *

Однажды сердце старого Йоцо опять забилося от волнения. На пасху пришел в отпуск единственный солдат из их деревни.

— В чем он пришел-то? Одежда на нем — солдатская? — спросил, волнуясь, дед Йоцо.

— Солдатская.

— И сабля на боку?

— Ты бы слышал, как она у него побрякивает!

Старик поспешил к сыну старого Коле.

— Эй, юнак! Где он тут?

— Чего тебе, Йоцо? — спросил Коле.

— Где тут вояка твой? Как бы его повидать?

Самодовольно улыбнувшись, Коле позвал сына. Старый Йоцо услышал звяканье сабли по камням... Он пожал крепкую руку, которую солдат весело подал ему, потрогал грубую шинель, пуговицы, фуражку, взял в руки саблю и поцеловал. Потом поднял на солдата свой безжизненный взгляд. По удивленному лицу его покатались две слезы.

— Значит, теперь у нас и войско болгарское есть? — спросил он, дрожа от счастья.

— Есть, дедушка, есть. И войско, и офицеры, и князь наш собственный, — гордо ответил солдат.

— А к нам он не наведается?

— Кто? Князь?

Солдат и отец его посмеялись простодушию старика.

Дед Йоцо целый час расспрашивал о болгарском дворце в Софии, о болгарских пушках, о болгарском военном обучении — обо всем, обо всем... И пока солдат рассказывал обо всех этих чудесах, деду Йоцо казалось, что где-то в глубине души его встает солнце, озаряя и согревая все вокруг, и он опять видит покрытые зеленым лесом горы, и голые склоны с сидящими на них орлами, и весь дивно прекрасный божий мир...

А солдат, воодушевившись, продолжал рассказывать чудеса...

— Эх, увидеть бы все это. Вот бы теперь мне глаза! — досадовал старик.

* * *

Долго жил дед Йоцо под этими новыми впечатлениями. В той отрезанной от всего мира деревушке больше не появился ни один представитель новой Болгария, так что некому было оживить благодатным волнением душу слепого старика. Унылое прозябание не нарушалось здесь ни одним событием, которое хоть сколько-нибудь напоминало бы о кипящей жизни Болгарии. Отзвуки политических потрясений, следовавших одно за другим и переворачивавших всю страну, не нарушали мирного покоя деревни. В ее убогие хижины не приходили газеты, да никто здесь и читать-то не умел: учителя не было, так как не было школы; священника — так как не было церкви; стражника — так как не было общины. А зима с ее снежными заносами и грязью совершенно прерывала на семь месяцев и без того трудное сообщение с внешним миром... Даже о сербской войне⁷⁴, на которой погиб единственный солдат из этой деревни, сюда еле доходили слухи; что-то такое творится где-то там, за горами, но что именно — никто толком не знал. Упорная борьба за черствый кусок ржаного хлеба не оставляла этим людям времени для любопытства и работы их темных умов. И дед Йоцо, убаюканный нерушимым покоем деревушки, пребывал в полном неведении относительно всего, совершающегося в мире.

Мало-помалу им овладела полная апатия ко всему окружающему. Он стал впадать в состояние безразличия, близкого к старческому слабоумию. Целые часы и даже дни просиживал он в тени дубов, задумчивый, с безжизненным взглядом, бесцельно устремленным в пространство, вслушиваясь в глухой шум Искыра. Казалось, ничто, никакая внешняя сила уже не придет и не вырвет душу его из этого тихого медленного угасания,

Но это произошло.

Разнесся слух, будто в Искырском ущелье будут проводить железную дорогу: уже приезжали инженеры — мерили. Дошел этот слух и до деда Йоцо и как молотом ударил по его сознанию, погруженному в летаргию. В глубинах его памяти проснулось одно давным-давно забытое воспоминание. В молодости слышал он от одного врачанского чорбаджии по имени Мано, что паши, важные господа и французские инженеры говорили, будто Искырское ущелье — неподходящее место для железной дороги, что миллионы и миллионы будут выброшены зря...

— Как? Болгарская железная дорога?..

Он поверить не мог. Железная дорога!.. В этом ущелье, на такой крутизне, среди скал, где коню некуда поставить копыта, по обрывам, на которые не взобраться козе?.. Эдакому царству оказалось не по плечу. Так неужто мы?.. Но слух упорно держался, продолжая смущать воображение слепого старика, заставляя работать ум его, во всем другом проявлявший детскую беспечность.

Как-то раз ему сказали, что прокладка железной дороги в ущелье уже началась. Крестьяне нанимались на строительство и спускались вниз к реке.

74 ...о сербской войне... — Имеется в виду сербско-болгарская война 1885 г.

Старик удивлялся.

— Свет не клином сошелся. Видно, поученей нашлись... Опять французы?

Ему ответили, что болгары. Старик был поражен.

— Как? Наши? Болгарские инженеры? А паши и французы сказали, что здесь ее не построить! Неужто у нас ученей их есть? А миллионы, тысячи миллионов, о которых чорбаджи Мано толковал?

— И миллионы есть у нас... Была бы борода, а гребень найдется!..

Душу деда Йоцо переполнил восторг. И войско, и паши, и пушки, и князь, и ученые, и миллионы. Чудеса, да и только!

Теперь «Болгарское» казалось ему чем-то громадным, могучим, необъятным... Убогое воображение старика не могло вместить всего этого величия. До сих пор символами «Болгарского» были для него эполеты окружного начальника да солдатская сабля, которые он трогал и целовал. Теперь его изумляло, пленяло своей силой, наполняло гордостью другое: болгарская рука прорезает горы, болгарский ум придумывает дивные, восхитительные вещи.

Где чорбаджи Мано? Что он сказал бы теперь?

Услыхав первый грохот рушащихся в пропасть, взорванных скал, дед Йоцо вытер рукавом навернувшиеся на глаза слезы.

* * *

С этих пор он больше всего любил проводить время шагах в пятидесяти от своего двора — на утесе, нависшем над глубоким Искырским ущельем, где кипела лихорадочная работа.

С утра до вечера просиживал он здесь над обрывом, слушая крики, взрывы, удары кирок, скрип тачек, все звуки, порождаемые трудовыми усилиями, весь разнообразный шум огромного строительства. Наконец, дорогу провели, и по ней пошли поезда. Дед Йоцо с трепетом услышал первый гудок паровоза, первый стук колес по рельсам. Ведь это гудела и стучала болгарская железная дорога! Он словно вновь ожил, возродился.

Каждый раз к моменту появления поезда он выходил на утес послушать гудок, поглядеть, как болгарский поезд побежит в ущелье.

В мыслях его железная дорога оказалась неразрывно связанной с понятием свободной Болгарии. Грохотом своим она внятно говорила ему, что настало новое, «болгарское» время. В деревне по-прежнему ничто об этом не напоминало; об этом возвещал только гудок. В соответствующий момент дед бросал все и спешил со своим посошком на утес — посмотреть... Пассажиры, любясь в окна вагонов живописными видами ущелья, не без удивленья замечали над обрывом человека, который их приветствовал, махая шапкой. Это был дед Йоцо: он кланялся новой Болгарии.

Односельчане привыкли видеть его каждый день на утесе.

— Дед Йоцо смотрит... — с улыбкой говорили они.

Этот умерший для жизни и внешнего мира человек воскресал, только слышав шум приближающегося поезда, радуясь детской радостью: поезд стал для него олицетворением свободной Болгарии; но так как он в жизни не видел поезда, воображение рисовало ему чудовищного крылатого змея, который изрыгает пламя, рычит, ревет и с невообразимой быстротой и

напором мчится по горам, оповещая всех о мощи, славе и процветании свободной Болгарии.

Слепота и простодушие, как броня, защищали душу деда Йоцо от разочарований, переживаемых нами, зрячими, под влиянием темных сторон жизни.

Счастливым слепец!

Нередко новый кондуктор, увидев старика, в один и тот же час стоящего на утесе и махающего шапкой, спрашивал на ближайшей станции садящихся в третий класс крестьян:

— Что это за человек все махает шапкой там на утесе? Верно, сумасшедший?

— Нет, это дед Йоцо смотрит... — обычно отвечали крестьяне.

* * *

Однажды вечером дед Йоцо не вернулся докой. Утром сын пошел его разыскивать. Он направился прямо к утесу, подумав, не свалился ли старик в пропасть; он нашел его мертвым с шапкой в руке. Дед Йоцо умер внезапно, в тот момент, когда он приветствовал новую Болгарию...

Негостеприимное село

Русский — назовем его господином Матвеевым, — давно живущий в Софии, где он состоял на службе, страстный велосипедист, катил на своей двухколесной машине по прямому и гладкому шоссе, что, как натянутая струна, пересекало Софийскую равнину.

Желтоватое облако пыли, поднимавшееся из-под колес, окутывало путника с головой и двигалось вместе с ним словно поземка.

Матвеев проехал километров пятнадцать на большой скорости. Стояла нестерпимая жара. Весь в поту, запыхавшийся, красный, он очутился в обеденный час среди равнины. Голод и мучительная жажда усугубляли усталость. Матвеев сгорал от нетерпения добраться до первого попавшегося села и пообедать.

Солнце палило нещадно, на летнем небе не видно было ни облачка, над желтой стерней, выгоревшими луговинами и сухими пашнями, придававшими пейзажу печальный вид, дрожало марево. Ни один звук — ни стрекот цикад на земле, ни птичье пенье в воздухе — не оживлял глухой тишины безлесной равнины. Разбуженные ящерицы испуганно шмыгали из-под колес велосипеда.

На горизонте сквозь дымку марева в бесцветном небе вырисовывались ломаные линии гор, безжизненных под жгучими лучами солнца; они, казалось, убегали прочь. Убегало и угадывавшееся за деревьями село, к которому были прикованы жадные взоры Матвеева. Как это обычно бывает в минуты нетерпения на равнине, дорога казалась бесконечной и цель отдалялась, точно обманчивый мираж.

Матвеев уже раскаивался, что увлекся ездой в самый зной. Пересохшее горло горело, ему казалось, будто мозг в голове воспламенился, голод напоминал о себе острыми спазмами в желудке.

Не помни себя от радости, Матвеев подъехал к первой попавшейся

корчме на сельской площади. Он прислонил велосипед к облупившейся стене и повернулся к стоявшему на пороге шопу, намереваясь попросить у него воды.

В эту минуту на дороге показался всадник в кепи и гетрах, во весь опор скакавший в Софию.

Узнав в нем своего приятеля, чиновника одного иностранного учреждения в Софии, Матвеев поздоровался с ним по-немецки.

— Жара африканская, — сказал всадник, на минуту остановив коня и отирая пот со лба.

Потом оглядел пустынную площадь, окруженную плетнями и жалкими домишками, и добавил:

— И село африканское!

Закурив сигарету, он игриво продолжал:

— Да, африканская страна... Я даю этому симпатичному народцу срок в тысячу лет на цивилизацию... Верно я говорю? Встречи со здешними крестьянами доставляют мне удовольствие, и знаете, почему? По какой-то ассоциации идей я вспоминаю волков и вепрей, на которых мы охотились в лесах внутренней Бразилии... О! Там великолепная охота, любезнейший. Здесь убогость, одни перепела... Вы только взгляните на этого усача, что стоит в дверях! Барнум⁷⁵ дорого бы дал за него. Ну и народец... Я же вам говорю: даю тысячу лет сроку. Вы, мой дорогой, допустили величайшую глупость, какую только знает история. Прощайте!

Всадник с улыбкой откланялся и ускакал.

Матвеев обратился к корчмарю:

— Эй, давай мене хладна вода!

Он, хоть и жил в Болгарии довольно долго, не умел мало-мальски сносно изъясняться по-болгарски. В столице русскую речь понимали все, и у него не было нужды — да и желания — выучить местный язык. Из-за этой легкости общения с болгарами русские с большим трудом, хуже всех славянских народов усваивают болгарский язык.

Корчмарь, крепкий, дородный, краснощекий шоп с хитрыми глазами, длинными, до ушей, пышными усами, какие часто можно увидеть у местных крестьян, не шевельнулся, будто не слышал его слов. Видно, на него произвели неблагоприятное впечатление лицо путника, обрамленное русой бородой, которое выдавало в нем иностранца, его грубый тон и чужой акцент. К тому же его, наверное, рассердил наглый взгляд всадника.

Матвеев прясел на треногую табуретку в тени дома и, отирая пот со лба, стал ждать, пока принесут ему воды.

Увидев, что корчмарь стоит как ни в чем не бывало, небрежно прислонившись к косяку двери и почесывая волосатую грудь, Матвеев удивился.

— Дай воды! — крикнул он нетерпеливо.

Этим окриком он окончательно погубил себя в глазах шопы. Тот откашлялся и заявил:

— У нас нет воды.

— Как — нет воды? — удивленно переспросил русский.

⁷⁵ Барум (немец.) — содержатель цирка.

— Нету, господин.

— А в селе?

— И в селе нету.

— Как так?

Матвеев рассердился.

— Ты врешь! — сказал он.

— А?

— Фонтан нет?

Шоп ничего не понял.

— Кто тебя разберет, чего ты лопочешь! — пробормотал он пренебрежительно и скрылся в корчме.

Матвеев вскипел, но решил добром сломить упрямство негостеприимного хозяина корчмы.

— Просим, платим... — начал он, встав в дверях.

— Просишь, да поздно... Нету воды... — прервал его шоп и начал прибирать на полках, где стояли стаканы и другая посуда.

Подошли и еще крестьяне, привлеченные велосипедом, который в те времена был новинкой. Несмотря на жару, они были в овчинных тулупах. Корчмарь вышел и стал шептаться с ними. Вероятно, он объяснял, с каким человеком они имеют дело. Те одобрительно кивали головами, полностью согласные с тем, что он им говорил.

Возмущенный русский спросил у крестьян, где они берут воду, и кивнул в сторону находившегося неподалеку колодца.

— Из этого колодца мы только скотину поим, для людей вода не годится, господин. Нехорошая вода, — ответили они.

— А люди откуда пьют?

— Мы-то? Мы берем воду во-о-он там — из источника, что под курганом... — и крестьяне указали на одинокий голый холм, до которого было не меньше пяти километров, а затем, с ухмылками кивая на велосипед, добавили: — Ты, ваша милость, на этих чертовых колесиках одним духом слетаешь туда.

Русский посмотрел на них с ужасом. Его мучает жажда, а они посылают его за пять километров в такую жару! Да как может существовать село, если поблизости нет воды? Он достал из бумажника деньги, сказал, что заплатит тому, кто принесет ему попить из дому. Но ему ответили, что воды ни у кого нет. Как так? Он уже было хотел пойти напиться мутной воды из колодца, но почувствовал отвращение и попросил вина, чтоб хоть немного утолить жажду.

— Вино кончилось, господин, — ответил корчмарь. — Нету...

Матвеев сказал, что хотел бы поесть.

— Яйцо есть?

— Нету.

— Брынза есть?

— Нету.

— А цыпленок?

— И цыплят нету.

— А это что? — спросил он, указывая на кур, копошившихся на площади.

Корчмарь ответил:

— Они хворые, их нельзя есть

Матвеев вытаращил глаза.

— Дайте хоть хлеба!

— Бог даст...

— Что?

— И хлеб кончился, не взыщи, господин.

Остальные крестьяне подтвердили, что весь хлеб съели дети.

Ну и дела!

Матвеев чувствовал себя, словно путник, затерявшийся в пустыне, — беспомощный, умирающий от жажды и голода. И горькое чувство обиды всколыхнулось в его душе.

«А мы-то проливали кровь за этот народ! — подумал он с ожесточением. — Пожалуй, прав фон Шпигель... И он повторил в уме его последнюю фразу по-немецки: Sie haben die grösste Dumheit in der Geschichte gemacht. Да, да! Величайшую глупость! Прав фон Шпигель...»

Нужно было принять какое-то решение; или ехать дальше к обетованному кургану, или вернуться назад и напиться из ручья, который он видел по дороге.

Пока он размышлял, как ему быть, крестьяне шептались, поглядывая на чужеземца с насмешкой, в которой, как ему казалось, сквозило злорадство.

При виде такого бессердечия — ведь не могло же в селе не быть воды, хлеба и всего прочего, — Матвеев вскипел от ярости и в сердцах выкрикнул русское ругательство, которое было известно нашим крестьянам еще с русской войны. Это был единственный способ облегчить грудь, чтобы не задохнуться от распиравшего ее гнева, а там — будь что будет, пусть даже его поколотят за это.

Но странное дело! Вместо того чтобы рассвирепеть, крестьяне радостно загалдели и подошли к нему поближе.

Корчмарь, который был к тому же и кметом, заговорил первым:

— Извиняй, наша милость, ты какого же народу будешь?

Матвеев желчно ответил:

— Русский я!

Хозяин корчмы схватил его за руку и затряс ее.

— Что ж ты, мил человек, сразу не сказал, а морочил нас, ввел в грех?

И крестьяне наперебой стали пожимать ему руку. Корчмарь со смехом объяснил, что принял его за «шваба» — так шопы из софийских сел называют неславянских подданных Франца-Иосифа — по виду и по тому, что он говорил с проезжим по-немецки.

— Да и разговор твой был... не для людских ушей.

Подошли и другие крестьяне и тоже стали здороваться с Матвеевым за руку.

Корчмарь оттеснил их:

— Оставьте человека в покое!.. Пойдем-ка, господин, всего нам дал бог: и холодной водицы, и вина, и хлеба, и цыпленка для христианина вроде нашей милости. Фу ты, какая жалость! И чего ты не обругал нас пораньше, мы бы догадались, что ты свой человек. Мы люди темные, без понятия...

Знатный гость был с триумфом введен в прохладную корчму.

* * *

А тем временем Стамболов⁷⁶, в ту перу всемогущий властитель, говорил корреспонденту «Кельнише Цейтунг»:

— Я ослабил русское обаяние в Болгарии на пятьдесят лет.

Если Стамболов говорил искренне, то это показывает, что сей государственный муж был плохой психолог.

София, июнь 1901 г.

Мои учителя

(Воспоминания о школьных годах)

Мысль уносит меня в далекое, далекое прошлое: она кружит по туманной, призрачной области забытых, потонувших в океане вечности времен. Мое воображение, подобно археологу на раскопках, ищет, роется в воспоминаниях детства и юношества, вгрызается в них. Все больше и больше увлекаясь этим занятием, оно находит в этой далекой эпохе милые предметы и странные образы, покрытые бурьяном забвенья, с наслаждением останавливается на них и не хочет с ними расстаться.

Боже мой! Стоило моей мотыге копнуть прошлое, как целый рой призраков встал с кладбища давно похороненных дел и событий.

Откуда-то из глубины памяти возникают бледные тени: все они милы и дороги моему сердцу. И душа в сладком томленьи стремится побыть подольше в ясном сиянии детских лет, освежиться в этом мире невинности, радости и простодушной веры в добро — веры, ныне разрушенной разочарованиями и жизненными бурями, изъеденной горькими сомнениями, низвергнутой житейским опытом.

Нельзя сказать, чтоб это были безмятежные годы: отведал я и страданий и горечи; ведь это — спутники человека с самой колыбели. Но они изгладились из памяти, теперь в ней остались лишь светлые стороны предметов, и благодаря расстоянию, с которого мы глядим на ту эпоху, все в ней кажется мне светлым и радостным. Она встает передо мной волшебная, лазурная, словно дальняя гора на горизонте: пропастей, рвов, утесов не видно; на небе вырисовываются только ее восхитительно прелестные, гармоничные линии...

Погружаясь сегодня в тихое море воспоминаний, я хочу задержаться только на отдельных фигурах, глядящих на меня из глубины моего прошлого, то улыбающихся, то суровых, но одинаково милых душе моей: на фигурах моих учителей.

Первый, кто вспоминается мне более отчетливо, — это учитель Атанас из Карлова.

Помню высокого, черноглазого человека с бледным, кротким лицом, в

⁷⁶ Стамболов — Стамболов Стефан Николов (1854–1895). С 1887 г. — премьер-министр Болгарии. Руководимое им правительство выражало интересы болгарской, англо-австрийской торгово-промышленной буржуазии, проводило антинародную внутреннюю и антирусскую внешнюю политику, Стамболов установил в стране жестокую диктатуру. Под угрозой всенародного возмущения князь Фердинанд был вынужден потребовать его отставку (18 мая 1894 г.). Убит агентами царского двора.

черном костюме европейского покроя из грубого крестьянского сукна, в фесе и с палкой в руке.

Больше я ничего о нем не знаю. Его нрав, характер, весь его духовный облик исчезли из моей памяти. Перед моими глазами стоит только высокий человек с бледным, кротким лицом, — кажется, красивым. Вот и все.

Он был учителем начальной школы («взаимного обучения» — тогдашнему), куда меня, по седьмому году (это было в 1857 году), торжественно привел отец, обутого в новые красные башмаки и короткие штаны.

В то время первоначальное обучение велось по аллелодидактическому или мак-ланкастерскому методу⁷⁷. Помню, как учитель водил моим пальцем по рассыпанному на парте песку, заставляя выводить крупные буквы; как сильно пахло табаком от его пиджака; как стучала по парте его палка, чтобы дети перестали галдеть, или била их по ладони за непослушание.

Эта фигура воскрешает в моей памяти сложную и странную обстановку школы начального обучения, целый арсенал мудрого ланкастерского метода: железные «полукружия» у стен, висящие на стенах «таблицы», по которым мы должны были читать вслух по складам напечатанные крупными буквами слова под руководством старшего ученика с заостренной палочкой-«указкой» в руке, вращающиеся квадратные дощечки, укрепленные на первых партах и регулировавшие занятия классов.

Там был целый сонм учеников, наделенных высокими полномочиями квесторов и начальников: «старших надзирателей», «общих надзирателей», следивших за соблюдением тишины с высоты «седалища» (чего-то вроде кафедры) и оглашавших помещение протяжными возгласами: «Аврам Петков невнимателен!», «Чоно Иванов не слушается!», «Васил Димов безобразничает!» Имелись также «привратники». Вокруг этих церберов у дверей училища постоянно толпились ученики, выразительные движения которых показывали, что у них — настоятельная нужда выйти.

На стенах были развешаны большие куски картона с мудрыми, назидательными изречениями: «Бога бойся, царя почитай!», «Каждой вещи — свое место, каждому делу — свое время!», «Леность — мать порока!», «Сделал добро — забудь об этом!» и другими афоризмами в том же роде. Возле кафедры на черных шнурах висели черные дощечки с надписями: «неприлежный», «бесчинный», «ленивый», «непослушный», «испорченный» и т. п. Эти таблички имели страшное назначение. Они были орудиями морального наказания для тех, кто провинился в вышеуказанных смертных грехах. После троекратного предупредительного вызова к «общему» надзирателю неисправимого ученика ставили перед кафедрой и вешали ему на шею одну из этих табличек, а иногда сразу несколько, в зависимости от характера и количества преступлений. Так, с этими позорными эмблемами на груди, он стоял перед учениками несколько часов либо прямо, либо на коленях.

⁷⁷ Аллелодидактический или мак-ланкастерский метод — возникший в начале XIX века в Англии метод так называемого взаимного обучения, при котором старшие учащиеся начальных школ под наблюдением учителя обучают младших чтению, письму и счету. Распространение этого метода в Болгарии связано с реформой болгарских школ в середине XIX века.

Этим запас наказаний не исчерпывался. Более серьезных грешников запирали в «темницу», находившуюся под кафедрой. Это был темный, тесный, низкий закуток, куда приходилось входить ползком; внутри пахло плесенью, мышами и кишели стаи крыс и мышей, наводя ужас на заключенных.

Помимо битья по рукам, применялось еще битье по задней части тела, причем наказываемого взгромождали к кому-нибудь на спину. Самым жестоким наказанием считалась «фалага»⁷⁸: два здоровяка валили провинившегося, поднимали кверху его босые ноги (все ходили тогда босиком по методу Кнейппа⁷⁹), соединили их вместе и, под раздирающие вопли наказываемого, подставляли его пятки под учительскую палку.

Но самым страшным наказанием, страшней черных досок, темницы и побоев, было еще одно, скорей нравственное, чем физическое, считавшееся и самым позорным: ученику мазали лицо чернилами и в таком виде выставляли его под безжалостные, злорадные насмешки ребят, потому что дети, в своей ангельской простоте, жестоки, как звери...

За этим наказанием следовало исключение.

Пресловутый ланкастерский метод предусматривал также награды за добродетель. В противовес черным доскам имелись и красные, меньшего размера и на красных шнурах, с надписями: «достойный похвалы», «прилежный», «благоденный», «трудолюбивый», «примерный». Счастливым, отличившимся этими доблестными качествами, вешали на грудь красные таблицы, и они так и занимались с ними — на зависть их товарищам.

Хорошие ученики награждались ярлычками — «фулями». Фули представляли собой бумажку размером в четвертушку с печатью училища, на которой был изображен петух — эмблема пробуждения! Их печатали красной, желтой и черной краской. Главной, высшей, наградой были красные. Эти «фули» представляли собой большую ценность, так как ими можно было откупаться от наказания. Прегрешивший мог избежать черных досок, битья по рукам, «темницы» и даже «фалаги», уплатив столько-то «фулей»; учитель определял потребное их количество в соответствии с размерами вины.

Были такие хитрецы, которые приобретали эти спасительные бумажки незаконным путем: подкупали школьного служителя мешочком орехов или табака, и тот вытаскивал из учительской целую пачку фулей. Некоторые добывали их при помощи своих родственников, имевших честь быть в близких, приятельских отношениях с учителем Атанасом. А многие прибегали к более изысканному способу: носили учителю вкусный обед из дома, и тот щедро расплачивался красными петушками.

Помню, однако, что мы приберегали наше богатство для важных случаев, героически подставляя руки под палку, чтоб сохранить ярлычки про черный день. Мы были страшные пройдохи!

Учитель Атанас, это непостижимо высокое для нас существо, этот Юпитер, раздающий наказания и награды, вдруг исчез из наших глаз, покинул школу.

⁷⁸ Фалага — деревянное приспособление, которым стягивали ноги наказываемых.

⁷⁹ Метод Кнейппа (здесь — иронически) — метод лечения холодной водой.

Я кончил начальное училище уже при других преподавателях. Но по тому ли, что они преподавали недолго, или из-за своей незначительности они не оставили в душе моей никаких следов.

Глубокий след оставила в ней яркая, своеобразная личность учителя прогимназии (тогда называвшейся «главным училищем»), в которую я перешел из «взаимного».

* * *

Это был учитель Юрдан (Ненов) из Пазарджика.

Лет сорока, живой, подвижный, нетерпеливый, полный энергии, он обладал даром слова: речь его была ясная, увлекательная, голос — сильный, становившийся страшным в минуты гнева.

Высшего образования он вовсе не имел, познания у него были отрывочные, бессистемные, но добрая воля и трудолюбие восполняли у него недостаток педагогической подготовки. При нем сопотское училище, резко вырвавшись на первое место в отношении организованности и реформ, достигло процветания. Сюда устремлялись ученики из разных районов Болгарии, и оно выпустило из своих стен целый рой учителей.

Курьезный случай, неудивительный для нравов учителей того времени и их соперничества между собой, дал возможность учителю Юрдану прослыть человеком ученым и вместе с тем прославить училище.

По приглашению карловского старшего учителя Димитра, получившего воспитание в России, Юрдан вместе со своими учениками из старших классов отправился в Карлово, чтобы присутствовать на экзаменах. Там, не знаю уж каким образом, к немалому изумлению множества присутствующих ученых людей, он затеял с учителем Димитром спор о том, есть ли у животных разум? Учитель Димитр доказывал, что есть, так как «когда пробуешь поймать муху, она улетает», а учитель Юрдан утверждал, что у них — только инстинкт. Этот диспут, напоминавший публичные дискуссии древних афинских мудрецов, увлек оба города и, разделив их на два враждебных стана, перекинулся на столбцы царьградских газет⁸⁰. Царьградские ученые стали на сторону учителя Юрдана. После такого приговора, нанесшего жестокий удар честолюбию учителя Димитра, карловское училище оказалось посрамленным, ученики лучших семейств покинули его и перешли в Сопот, чтобы внимать мудрым речам сопотского Аристотеля.

(Я учился тогда в первом классе и был еще слишком мал, чтобы понимать как следует эти дела, — передаю их поэтому, как и остальные, за ними последовавшие, в том виде, в каком слышал о них спустя некоторое время.)

Но, восторжествовав, учитель Юрдан не почил на лаврах. Чтобы еще сильнее поразить умы своей всесторонней ученостью, он придал больше пышности учебной программе. Помимо десятка общеобразовательных

⁸⁰ Царьградские газеты. — В Царьграде (Константинополе) в период болгарского национального Возрождения (вторая половина XVIII–XIX вв.) жило много болгар; там издавалось значительное количество болгарских газет и журналов: «България» под редакцией Драгана Цанкова, «Гайда» и «Македония» — П. Р. Славейкова, «Напредък» — Ив. Найденова, «Век» — М. Балабанова и др. Большинство из них выражало взгляды болгарской крупной либеральной буржуазии.

предметов да греческого и турецкого языков впридачу, он ввел в старших классах русский и французский языки, тайком изучая их одновременно с учениками; ввел изучение «Истории турецкого царства» на сербском языке; ввел пиитику, астрономию, этику, метафизику! Это была какая-то оргия наук, программа, ослепляющая взор, хаос обрывков знаний, вколачиваемых в ученические мозги шомполом!

Геометрию он преподавал на Трапе — возвышающемся над Сопотом голом холме, куда ученики приносили колья (вехи) и компас на треножнике, производя там геометрические измерения и «межевание» на глазах у ошеломленных этой таинственной, глубокомысленной наукой сопотцов.

В один прекрасный день учитель Юрдан возомнил себя поэтом. Помню, как он, сидя по-турецки на школьном дворе, в своем зеленом тулупчике, с чубуком в левой руке, сдвинув фес на затылок, важно, сосредоточенно отсчитывал слоги на пальцах. Над поэтическим произведением своим он работал очень долго, а закончив, придумал к нему мелодию и научил нас ей. До сих пор помню первое четверостишие:

На известном пригорке
у отрогов Балкана
Вот уж четверть века
Стоит храм Минервы!

Эти путанные стихи с темным смыслом и чуждыми болгарскому языку славянскими падежами представляли собой славословие сопотскому училищу, а косвенно и жрецу, священнодействующему в этом храме Минервы.

У него была реформаторская жилка. Весь школьный двор занимало кладбище. Он настоял на том, чтобы половина двора была освобождена и ученикам было где играть. Могилы оградили деревянным забором, разбили сад, привезли большие деревья, посадили их там. Во дворе построили еще одно школьное здание; купили глобусы — земной и небесный, разные физические приборы, геометрические приспособления и другие учебные пособия. Была создана и скромная школьная библиотека — с русскими книгами и сербским журналом «Гласник»⁸¹. Попечители прислушивались к просьбам учителя, а город, в то время богатый благодаря расцвету производства галунов и ситца, не скупился на расходы.

Человек сообразительный, с практическим умом и хваткой, Юрдан знал слабые стороны граждан, угождал и их вкусам, уважал воззрения своего времени, не пренебрегая и хитростями, чтобы возвысить себя в глазах сопотцов. Он требовал строгой дисциплины и вне школы: возвращаясь домой, ученики его шли по улицам добрые полкилометра чинными рядами, цепочкой. Он следил за исправным посещением ими церкви, был там певчим и произносил проповеди с амвона. В дни больших праздников он водил нас по домам именитых граждан города и чорбаджиев, чтобы мы славили их подходящими к случаю песнями, сочиненными Якимом Груевым⁸².

81 «Вестник» (серб.)

82 Яким Груев (1828–1912) — известный болгарский учитель (в Копривштице и Пловдиве) периода до Освобождения Болгарии от турецкого ига; вел активную борьбу против эллинизации; переводчик, поэт, автор ряда учебников по грамматике, истории, арифметике, логике, физике и др.

И слава новых Афин росла!

Но у учителя Юрдана был один маленький недостаток: он жестоко дрался и впадал в необузданный гнев при малейшей провинности своих воспитанников.

Особенно вспыльчивым он стал в последний год, когда понял, что беспокойные гьопсенские⁸³ афиняне пресытились им и положение его пошатнулось. Впрочем, он разнообразил наказания. Помню, как однажды, за плохое знание урока, он обрек человек десять учеников, в том числе и меня, на голод. Мало того, что нас не пустили обедать: он еще вдобавок позабыл отпустить нас ужинать. На дворе совсем стемнело, и нам пришлось остаться на ночь голодными в школе. Мы особенно страдали потому, что в тот вечер в городе была «донанма» (иллюминация) по случаю какого-то праздника султана. Мы с завистью глядели из окна на зажженные внизу на площади бурдюки со смолой, при свете которых происходило народное ликование в честь Абдула Меджида. Не смея уйти из-под ареста, мы решили рассеять грусть заточения, выполнив в то же время свой верноподданнический долг по отношению к султану. Собрав штук пятьдесят кладбищенских лампад, мы зажгли их и расставили по партам и окнам школы взаимного обучения; и в то время как наши товарищи пели внизу на площади гимн султану «Нешири нур Абдул джихан»⁸⁴, сочиненный Якимом Груевым, мы грянули «Захотел гордый Никифор...» — сочинения того же автора. Эта песня была тогда своего рода болгарской марсельезой, и ее даже пели на мотив французской: бунтарские песни Чинтулова еще не появились. Участвовавший в торжестве учитель Юрдан, увидав снизу ярко освещенную школу, решил, что там пожар, кинулся туда со всех ног и застал нас в самом разгаре нашего буйства — как раз когда мы, геройски и кровожадно размахивая руками, пели слова царя Крума, обращенные к войску:

Руби, коли,
Отечество освободи!

Увидав зажженные в честь султана надгробные лампадки, он устремил на нас свирепый, угрожающий взгляд. Но, то ли почувствовав свою вину, что не отпустил нас вовремя или хотя бы не предупредил наших обеспокоенных родственников, то ли побоявшись нашей многочисленности, — он сдержал свой гнев, ограничившись строгим криком:

— Вы школу спалите! Марш отсюда!
И бросился тушить загоревшееся окошко.
Мы и на улице продолжали победоносно петь марсельезу.

Учитель Юрдан преподавал семь лет — срок для того времени долгий. Преподавание его составило эпоху в истории сопотской школы.

Теперь он — глубокий старик и доживает дни свои в нищете, на скромной пенсии, в своем родном городе.

* * *

83 Гьопсенские — от Гьопси (турецкое название Карловской околии).

84 «Абдул, дающий свет всему миру» (турец.)

При нем преподавателем турецкого языка был турок Иланоолу из Карлова.

Иланоолу принадлежал к той разновидности турок, которые наполовину оевропеились, но скрывают под сюртуком неприкрашенного азиата. Это был рослый человек с бородой, как у эфенди, с вытаращенными сонными глазами, с тупым, опухшим лицом, выдававшим склонность к ракии. Он носил с философской небрежностью грязный фес на бритой голове, грубого крестьянского сукна поношенный черный костюм европейского покроя с широченными обтрепанными панталонами и стоптанные туфли на босу ногу.

За ничтожное вознаграждение от общины он каждое утро приходил из Карлова учить нас своим крикливым голосом по учебнику с картинками. В осеннюю непогоду штаны и длиннополый кафтан его были покрыты грязью, разбрызгиваемой его шлепанцами.

Этот симпатичный проводник турецкой премудрости в сопотской школе обладал изумительной способностью лгать. Он лгал без нужды, без цели, просто из любви к искусству! По этой причине имя его переделали из Иланоолу (сын змеи) в Яланоолу (сын лжи).

Растерзанный, небрежный наряд его и в особенности нелюбовь к пуговицам увековечили память о нем в городе. Отец, браня сына за неряшливый вид, говорил:

— Посмешище! Ходишь с расстегнутыми штанами, как Иланоолу!

Или:

— У тебя штаны грязью заляпаны, как у Иланоолу!

Как-то раз с ним произошло невероятно комическое приключение, пробудившее, однако, сладкий трепет в душе его.

Одна молодая монашка пошла в Карлово одна, по спешному делу. В поле — никого; опасаясь встречи с каким-нибудь турком, она боязливо озиралась: не видно ли какого попутчика-болгарина? Спустившись в глубокую долину Сопотницы, она, к своей радости, заметила путницу, тоже монахиню, которая над чем-то наклонилась, спиной к ней. Монашка быстро подошла к наклонившейся, весело хлопнула ее по спине и сказала:

— Слава богу! Как хорошо, что я тебя нагнала! Пойдем дальше вместе!

Но каково же было ее смущение, когда перед ней во всем своем величии предстал Иланоолу.

Она ошибочно приняла его за монахиню, когда он стоял, наклонившись, спиной к ней, вытаскивая камешек из своего старого башмака.

Сладко польщенный таким игривым обращением монашки, Иланоолу ответил, что совместное путешествие доставит и ему большую радость. Праведница готова была сквозь землю провалиться от стыда, но покорила судьбе и продолжала путь до Карлова вместе со своим необыкновенным кавалером, к великому изумлению попадавших навстречу болгар.

Эта маленькая история долго веселила весь Сопот, особенно самое болтливую молодую монашку, которая рассказывала ее встречному и поперечному.

А Иланоолу сохранил в душе светлое воспоминание об этом

романтическом приключении.

В непринужденных беседах с близкими приятелями он всячески раздувал эту историю, превращая ее в любовную сказку из «Тысячи и одной ночи».

Достопамятный турок этот кончил свою преподавательскую деятельность в Сопотской главной школе, как только ее покинул учитель Юрдан.

* * *

Старшим учителем назначили учителя Калиста (Хамамджиева).

Высокий, бледный старик с крупными благородными чертами лица, он был из видного сопотского семейства. В молодости учительствовал, потом стал известным торговцем в Царьграде, но вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств разорился и дошел до банкротства.

Беспечные подростки, мы все же с грустью замечали, как гнетет почтенного Калиста его злосчастное крушение на торговом поприще. Не до преподавания было этому человеку с разбитой душой и карьерой, с неизлечимыми ранами, нанесенными его чести и честолюбию. Ведь то жестокое время резко отличалось от нынешнего своим первобытным представлением о чести. Тогда банкротство торговца означало для него смерть, смерть нравственную и общественную, независимо от того, было ли банкротство злостным, или нет. Теперь оно считается чем-то несущественным, не лишает человека уважения и не является препятствием для достижения самой высокой ступени общественной лестницы... Но в узком кругу своих сограждан учитель Калист продолжал пользоваться уважением и симпатией, что не делало его счастливей. Он страдал, был всегда озабочен. Мы смотрели, как он целыми часами ходит вдоль забора на дворе, опустив голову, вынужденный на старости лет вернуться к обязанностям учителя, которые он выполнял добросовестно, но без всякой охоты и воодушевления.

Через несколько месяцев он умер от удара.

* * *

На неделю или две школа осиротела, пока не пришел новый учитель.

С трепетным любопытством, даже с тревогой, ждали мы своего нового наставника. Каков-то он будет? Из каких мест? Злой? Добрый? Вот вопросы, овладевшие нашим юным воображением.

Однажды к нам в класс вошел незнакомый господин с большой головой на короткой шее, плотный, коренастый, с сухим испитым лицом, курносый, в богатой русской шубе с большим бобровым воротником.

Он поклонился нам, бледный от волнения.

Это был наш новый учитель Партений (Белчев) из Трояна.

Холодный, нелюдимый, диковатый, как настоящий русский семинарист (он кончил киевскую семинарию), учитель Партений не произвел на нас внушительного впечатления. Он показался нам несимпатичным, сухим и духовно нам чуждым, как будто вместе с ним к нам в школу ворвалась струя русского мороза.

Сидя на кафедре в своей огромной русской шубе, с торжественно-чопорным видом немецкого профессора теологии, он глухим, дребезжащим голосом быстро читал нам урок по своим русским учебникам: сначала одну фразу по-русски, потом ее же в переводе на болгарский, — все это каким-то безжизненным, скучным тоном. Глядя на него, мы жалели о нашем учителе Юрдане, вспоминая, как он расхаживал взад и вперед по классу в своем зеленом тулупчике, объясняя нам урок живо, понятно, увлекательно, так что невольно все мы внимательно слушали.

После каждого урока учитель Партений удалялся в комнатку позади кафедры, чтобы покурить: он был страстным курильщиком, так что даже от одежды его пахло табаком, особенно когда он проходил мимо.

Мало-помалу он свыкся со своей должностью, стал двигаться уверенней, приобрел свободу и мягкость в обращении, заинтересовал учеников своими рассказами и расположил их к себе. На его холодном лице, осунувшемся и побледневшем в результате усиленной подготовки к экзаменам в России, а может быть, и от полуголодного студенческого существования, появилась добродушная улыбка; оно приобрело здоровый румянец, быстро пополнело и округлилось.

Он стал даже нас поколачивать.

И как бил! Палка впивалась в тело, словно топор в дерево. Из-под мантии семинарского воспитания выглядывал настоящий загорец⁸⁵. Он пускал в ход по-русски восклицания: «Ну!» и «Дурак!» — значение которых до нас тогда не доходило.

Но колотил он нас только под сердитую руку. В обычное же время учитель Партений был добродушен, и мы забывали о его приступах бешенства... Он любил отклоняться от урока и, по-своему увлекательно, рассказывал нам разные эпизоды из своего студенческого житья-бытья, о России и русских нравах, излагал содержание шекспировских драм: «Короля Лира», «Макбета», «Ромео и Джульетты». Несмотря на загорские колотушки, он был натурой поэтической, с чувством декламировал стихотворения Державина, Ломоносова, Крылова, а в особенности панславистские стихотворения Хомякова:

Высоко крылья ты расставил,
Славян полуночный орел,
Далеко ты гнездо поставил,
Глубоко в небо ты ушел!

Тут он воспламенялся, начинал размахивать рукой в воздухе с выражением восторга на лице — и черные глаза его вдохновенно сверкали.

Мы слышали русские стихи впервые. Музыка их очаровала мой слух и сердце. До тех пор я читал только песни Славейкова, которые выучил наизусть, но страстно любил бунтарские и народные; последние я находил в «Български книжици»⁸⁶. Однако попытаться самому написать стихи — от

⁸⁵ Загорец — житель Загорья, т. е. территории южнее Средна-горы и Стара-планины (районы городов Стара-и Нова-Загора, Сливен, Ямбол).

⁸⁶ «Български книжици» — один из первых болгарских журналов, издававшийся в Константинополе в 1858–1862 гг.; носил сначала историко-филологический, а затем общественно-политический характер. В конце каждого номера помещались народные песни.

этой мысли я был на сто тысяч морских миль!

Партений ввел также обучение русскому языку, который он преподавал по определенной системе и очень умело; а потом по методу Олендорфа стал преподавать и французский, который знал плохо. Помню, слово *femme*⁸⁷ (фамм) он выговаривал: фем, и мы так и заучили. Он ввел также риторику, пиитику (опять!) и патологию, поскольку все остальные сокровища науки мы уже исчерпали.

К нам на уроки часто приходили попечители. В таких случаях, не желая докучать им этими высокими материями, а может быть, чтоб не смущать учеников, учитель Партений переходил к более легким предметам. Часто он предлагал ученику рассказать что-нибудь из русской истории: о Петре Великом, о Суворове, о поражении Наполеона в России, о московском пожаре. При этом он сам подхватывал начатый учеником рассказ и красноречиво развивал его перед глядящими прямо ему в рот попечителями. Или заставлял ученика показать на карте, как велика Россия, и сам торжественно обводил пальцем величественный круг, очерчивая бескрайные пределы российской империи. И гордый, торжествующий, обращал свой взгляд к восхищенным гостям, восклицая:

— Ну?!

И попечители всегда покидали школу с посветлевшими лицами, на которых, казалось, можно было прочесть:

— Вот это учитель!

Как и учитель Юрдан, он тоже стал особенно свирепствовать напоследок. Сердился из-за всякого пустяка, дрался, бранился по малейшему поводу. Когда началось повторение пройденного перед экзаменами, мы, ученики самого старшего, четвертого, класса, решили помучить его очень оригинальным способом: сговорились сделать вид, будто забыли все, что прошли за год, а сами потихоньку стали готовиться к испытаниям.

Мы хорошо сыграли свою роль. Экзамен приближался, а мы еще ничего не знали. На вопросы Партения либо молчали, либо давали нелепые ответы. Он просто с ума сходил. Мы же втайне наслаждались, глядя на его бессильную ярость, на его страдание и отчаяние. Он понять не мог, чем объясняется это внезапное умственное отупение всего старшего класса. Он повторял свои объяснения, ворчал, ругался, пугал, дрался, умолял, — все бесполезно. Провал на экзамене самого старшего класса, самых развитых его учеников страшил его. Вечером накануне критического дня Партений от нервного напряжения и тревоги слег. Тогда мы сжалились, сообщили ему через помощника учителя Начо, что к экзамену подготовились. Бедный Партений тотчас выздоровел. Помню до сих пор счастливую, ласковую улыбку на лице его, с которой он вошел в класс и сказал:

— Ну, прекрасно! У вас — римские характеры!

Своего он, однако, не изменил: оставался добродушным, пока экзамены не прошли благополучно; но затаенное чувство мести тлело в душе его и в новом учебном году вспыхнуло по ничтожному поводу: когда мы опять проявили наш «римский характер». Но об этом ниже.

87 Женщина (франц.)

Турецкий язык преподавал у нас тогда учитель «взаимного обучения» Стефан (Кушев) из Клисурь.

Он был и певчим в церкви. Этот молодой человек с доброй, благодушной, всегда улыбающейся физиономией, обладал хорошим голосом. Кроме турецкого языка, в котором я проявлял ужасающую бездарность, он учил нас еще пению и псалмам по греческой нотной книге. Но я, как ни бился, не мог постичь таинственных иероглифов этой науки. Такая невосприимчивость к византийской музыке очень огорчала моего отца, страстно желавшего, чтобы я пел в церкви «Херувимскую» по всем правилам искусства.

Все же я отчасти удовлетворял его тем, что пел «Достойно есть!», глас пятый, соло, перед иконой пресвятой богородицы и, скажу не хвалясь, производил необычайное впечатление своим звонким, высоким тенором. Старухи, расчувствовавшись, плакали, а отец Станчо, выходя из алтаря, чтоб совершать миропомазание, благословлял меня со словами:

— Да ты просто ангел, сукин сын!

А лицо моего отца? Оно сняло, как яркое солнце, от гордости и счастья, когда чорбаджи поздравляли его:

— Молодец твой Минчо! Быть ему архиереем.

Благодаря своему сладкогласию я каждый раз пожинал на святой новые лавры.

Это обходилось мне очень дорого: под перекрестным огнем стольких внимательных глаз я из-за своей застенчивости сам не знал, где я — на небе или на земле. И к аналою возвращался весь дрожа.

Но посреди всех этих музыкальных триумфов одно неприятное событие огорчило меня до глубины души, вселив отвращение к церковной музыке.

Несколько учеников четвертого класса, обладавших лучшими голосами, — в том числе и я — удостоились завидной чести подпевать учителю Стефану во время «Херувимской». Иными словами, мы должны были подтягивать певчому непрерывным протяжным мычанием: а-а-а! В один прекрасный день мы почувствовали такое отвращение к этой бесславной роли, что заупрямились и не стали подтягивать. Напрасно учитель Стефан делал нам убедительные знаки глазами и рукой. Его «Херувимская» продолжала разноситься в тишине одиноко, сиротливо, невыразительно. Молящиеся были озадачены; на их лицах изобразилось полное недоумение. Как же так: «Херувимская» без сопровождения? Неслыханный соблазн! Взгляд певчего пылал гневом. Лицо его, и без того всегда красное, от охватившей его ярости побагровело. Что до учителя Партения, то он, сидя рядом, на одном из тронов, побледнел как известка. Но мы, опустив глаза, упорно не раскрывали рта.

Наутро ученики с удивлением увидели, что в каменном корыте школьного источника мокнет пук кизилowych прутьев. Этот подозрительный предмет заронил в нас тревогу. Скоро его назначенье стало понятным.

Один за другим появились попечители, среди них мой отец, тоже принадлежавший к их числу, и прошли в учительскую. Немного спустя они вышли оттуда мрачные, хмурые, вместе с учителем Партением, который был бледен, так как всегда бледнел от гнева. Все вошли в школу «взаимного обучения». Вызвали и нас, бунтовщиков. Мы сразу поняли, что

над головой у нас собралась гроза. Ни слова нам не говоря, учитель Партений вызвал одного здорового ученика, обладавшего мышцами и силой гладиатора, и велел ему начинать экзекуцию. Розги захлестали по телу. Крики, вопли, рев! За вторым, третьим, четвертым и так далее наступила очередь самого гладиатора. Среди треска кизилковых розг, от которых отлетали обломки, и крика подвергающихся порке бунтовщиков послышался зычный, львиный голос старого попечителя хаджи Пенчо:

— Мы нам покажем, как бунтовать, ослы!

Мой отец стоял молча, хмурый, холодный как лед.

Тут мы поняли, что это расплата и за старый долг: первое проявление «римского характера».

Непоротым остался только главный виновник — организатор страшного бунта.

Он внутренне поздравлял себя с этой удачей, в то время как выпоротые, еще корчась от боли, бросали на него злобные взгляды, возмущенные такой несправедливостью. Но скоро мы узнали, что в учительской подписан приговор и ему. Зачинщик был наказан следующим образом: ему вымазали лицо сажей так, что он стал похож на негра, потом заставили учеников, выстроившись в линейку, проходить мимо него и глумиться над ним. Однако ученики отнеслись к этому без восторга. Движимые чувством доброго товарищества и жалости, они проходили, не глядя.

Но он вдруг отчаянно вскрикнул и упал без сознания...

Его отнесли к источнику, чтобы привести в чувство.

Вот какой печальный результат имела наша первая попытка возмущения против начальства.

Мой обморок, — потому что негром был пишущий эти строки, — сильно поразил отца. Когда мы встретились с ним дома, он был ласков со мной. Домашние рассказали мне, что он вернулся из школы со слезами на глазах...

Видимо, желая дать мне некоторое удовлетворение, он делал вид, будто не замечает, что я перестал подтягивать у аналая. И «Достойно», глас пятый, перестало звучать перед иконой пресвятой богородицы, умиляя до слез благочестивые души. Так что я победил. Как Франциск I после битвы при Павии, я имел право воскликнуть: «Tout est perdu, hors l'honneur!»⁸⁸

Да и учитель Партений как будто устыдился дикой жестокости наказания. На первом же уроке он обиняком выразил нечто вроде сожаления, подслащенного его ласковой добродушной улыбкой. И даже как-то вечером, после заговенья, у меня дома, воспользовавшись случаем, расцеловался со мной, прося простить его и забыть прошлое...

Но я, как видите, не простил и не забыл!..

Эти варварские истязания, эти унижительные кары, навлекаемые ничтожными проступками, нельзя объяснить одним только неправильным подходом к задаче воспитания в ту эпоху: в них проглядывает, кроме того, врожденная свирепость рабского племени, огрубевшего под тяжестью

⁸⁸ Все потеряно, кроме чести! (франц.)

многовекового ярма, оупелого, утратившего человеческие чувства и милосердие к слабым, поскольку само оно никогда не встречало всего этого по отношению к себе со стороны тиранов. Грубые нравы и грубые понятия о воспитании соединились для того, чтобы превратить школу из священного храма облагораживающей науки в место инквизиции, в застенки, одна мысль о котором заставляла ученика бледнеть, когда он утром отправлялся в училище. Родители и ученики придерживались одинакового взгляда на святость лозы, — «растения, произраставшего в раю». Приведя первый раз сына в школу, отец торжественно говорил учителю:

— Учитель, отдаю тебе его мясо, а ты верни мне кости! Сделай из него человека!

И учитель, очень часто добрый человек, — каким были, например, всегда улыбающийся учитель Стефан или восторженный энтузиаст и поэт, учитель Партений, — в полной уверенности, что делает хорошее дело, зверствовал над своей беззащитной жертвой, чтобы сделать из нее порядочного человека...

Не будем же упрекать наших наставников, ни обвинять наших отцов, жестоких в своей слепоте, свирепых в любви своей. Они не виноваты; они были сыновьями своего века.

Помянем с признательностью и болгарскую школу того времени. Какова бы она ни была, у нее великая заслуга: она подготовила будущее...

* * *

Должность помощника учителя занимал тогда учитель Начо (Трувчев), тоже из Клисуры.

Я у него не учился, но так часто его видел, он казался мне настолько неотделимым от двух предыдущих — в стенах школы, на прогулках, на гуляньях, — что я не могу не упомянуть и его.

О нем могу сказать только одно: это был красавец. Белолицый, черноглазый, румяный, с изящными усиками и певучим голосом. Он тоже был певчим в церкви. Тогда Клисура поставляла певчих в окрестные города, как Сопот — лук и стручковый перец. Любитель турецких песен и страстных взглядов, законодатель мод, он пользовался огромным успехом у женщин, прославивших его, вставив его имя в простонародную песенку:

Кто тебе подарит пояс?

Купит мне учитель Начко;

Я надену, он посмотрит...

Впоследствии учитель Партений позаботился и о своем благополучии: женился на красивой девушке, дочери одного богатея. Одновременно с ним так же поступил и учитель Стефан. Породнившись с именитым горожанином, Партений как честный человек выиграл, но как учитель проиграл. Тесть его принадлежал к одной из двух враждующих партий, и противная партия, державшая школьное попечительство в своих руках, в разгаре борьбы, желая отомстить тестю, прогнала зятя со службы посреди учебного года.

Партений Белчев умер несколько лет назад, уже учителем гимназии в Пловдиве, в бедности, обремененный большой семьей.

Учитель Стефан погиб еще во время русско-турецкой войны: он был повешен в Пловдиве, как повстанец.

Еще жив учитель Начо — теперь седой, суровый нотариус в Пловдиве. Куда девались его черные усики? Где его былая, воспетая слава?

* * *

После увольнения учителя Партения, при котором я, пройдя пиитику и патологию, исчерпал все сокровища человеческого знания, отец отправил меня в Калофер изучать Гомера и Платона у главного учителя Ботю⁸⁹.

Я удостоился двойной чести стать его учеником и коллегой, так как получил должность младшего преподавателя в тамошней основной школе.

Отец знаменитого нашего революционера и поэта был замечательной личностью.

Статный, высокий, почти гигант, подобно своему знаменитому сыну, в то время уже старый и одряхлевший, но бодрый духом и с ясным умом, он внушал невольное уважение. На крупном, продолговатом, сухощавом лице его, изрытом оспой, лежала суровая печать тяжелой трудовой жизни и забот. Редко случалось, чтобы улыбка озарила сумрак этой суровой физиономии.

До сих пор вижу его как живого. Вот он ходит, задумавшись, по школьному двору, медленной, тяжелой поступью: на нем белое шаячное сако (тогда носили такие пальто) и широкие панталоны, болтающиеся на его худых ногах. Вижу его и в часы духовного подъема, в торжественные дни, когда он с юношеским пылом произносил глухим, дрожащим от волнения голосом пламенные речи перед тысячной толпой слушателей.

Старый, больной, он продолжал служить — из любви к делу народного просвещения и из нужды, так как разорился, издав переведенную им самим «Болгарскую историю» Венелина⁹⁰: продал все свое имущество, но не мог покрыть долга.

Учитель Ботю, хороший эллинист, учил меня по какой-то книге исторических рассказов на греческом языке, которую мы переводили в библиотеке. После урока он беседовал с учителями.

Часто говорил он о сыне своем Тинко — как в Калофере произносят имя Христо — с тревогой и огорчением, что сын вышел непутевый и под старость от него нельзя ждать никакой помощи. Таким считали Христо и калоферцы, сочувствуя отцу. Никто тогда не подозревал, какой дерзкой славой озарит этот скиталец скромное, почтенное имя старого калоферского учителя.

Однажды Ботю пришел очень печальный и сказал нам:

— Знаете, нашего сумасброда выгнали из одесской гимназии.

⁸⁹ Учитель Ботю — Ботю Петков, деятель церковно-освободительного и просветительского движения в Болгарии, известный учитель, основатель одного из первых классных болгарских училищ (в Калофере); отец великого болгарского поэта и революционера Христо Ботева.

⁹⁰ «Болгарская история» Венелина. — Юрий Венелин (1802–1839) — видный русский историк и славяновед, закарпатский украинец по происхождению. Познакомившись с болгарскими колонистами в Кишиневе, решил посвятить свою жизнь изучению истории болгарского народа. Автор целого ряда исторических и историко-философских трудов. Особенно большое значение для болгарского просвещения имела его книга «Древние и нынешние болгары в их отношениях к россиянам». Составил грамматику на новоболгарском языке (не издана).

На глазах его блестели слезы.

Фингов и Сыйков пробовали утешить его, говоря, что известие, может быть, и ложно, хотя сами были убеждены, что оно верно... Это было в 1865 году.

После этого никто не смел и заикнуться при старике о его сыне: малейшее напоминание о последнем заставляло его сердце сжиматься от боли, причиняло страдание.

Через год после моего приезда Христо вернулся в Калофер бедно одетый, с длинными волосами, какие носили тогда русские студенты, и с головой, полной революционных мечтаний, которых он не скрывал. Ему дали место учителя, но он пробыл на этой должности только два месяца: в день празднования святых Кирилла и Мефодия⁹¹ он держал перед народом речь об их просветительной деятельности, но, неожиданно отклонившись от темы и указывая на разряженных, набеленных калоферок, воскликнул:

— Всюду бедность и мрак! А посмотрите, как лоснятся эти лица: ни дать ни взять начищенные медные блюда!

После такой дерзости красноречивого революционера его пребывание в Калофере стало невозможным, и отец отправил его в Румынию, к великой радости калоферских граждан и гражданок.

Учитель Ботю не дожидаясь героической смерти сына и не мог вместе со всем народом с гордым удовлетворением повторить пророческие слова, которыми заканчивается его «Прощание»:

Он умер, бедняга, за правду,
За правду и за свободу!..⁹²

* * *

Поскольку я упомянул еще двух коллег — Фингова и Сыйкова, скажу о них два слова.

Они не были моими учителями или, вернее, были ими по части обтесывания и полировки. Отец мой отправил меня туда еще и для того, чтобы я мог потереться среди бойких калоферцев, стал развязней, общительнее и освободился бы наконец от своей непреодолимой, доходящей до дикости застенчивости. Но и в Калофере я избегал болгар, по целым дням не выходил из дому и вел беседу только с русскими, то есть читал русские книги, затворившись в богатой школьной библиотеке, к великому огорчению Сыйкова, которому не удавалось вытащить меня на улицу и заставить принять участие в прогулках с веселой молодежью. Я все больше дичал...

Учитель классного училища, уроженец Калофера, Фингов был воспитанником Московского университета и в качестве такового остался студентом «шестидесятых годов». Он отличался отзывчивостью и способностью к великодушным порывам, одевался небрежно, любил пламенные споры по отвлеченным вопросам, сопровождаемые энергичной

⁹¹ День празднования святых Кирилла и Мефодия — 24 мая; отмечается в Болгарии как праздник славянской письменности и культуры.

⁹² Перевод Л. Мартынова

жестикуляцией.

Я не встречал человека более живого, подвижного, порывистого. Он преподавал историю; на уроках он грозно хмурился и громко кричал как глашатай, так что все школьное здание сотрясалось и даже прохожим на улице было слышно. Многие из них заглядывали на школьный двор: уж не поругались ли учителя? Но дрался он редко. В калоферском училище я застал более человеческие отношения.

* * *

Павел Сыйков, учитель приготовительного класса и певчий, принадлежал к первому выпуску академии учителя Юрдана, но по хладнокровию, сдержанности и флегматичности был его полной противоположностью.

При небольшом росте он носил длинное пальто и, верный традициям сопотского училища, длинную палку. Он был не только певчим, но и стихотворцем; писал гладкие стихи и читал их тихим, напевным голосом. Я слушал их с большим наслаждением. Мы жили с ним в комнате для учителей в нижнем этаже. Часто я ночью спросонок открывал глаза и видел, как он вскакивал в подштанниках с постели и принимался царапать при свете свечи пером по бумаге, время от времени с таинственным видом что-то отсчитывая на пальцах. В такие минуты мы напоминали, наверно, сцену из «Бориса Годунова», когда чернец Гришка Отрепьев благоговейно созерцает со своего ложа отца Пимена, пишущего летопись.

* * *

Через полтора года я перебрался в Пловдив.

Пловдивская шестиклассная гимназия по своей плодотворной деятельности и царившему в ней порядку была самым известным учебным заведением и Болгарии. В те времена она представляла собой яркий очаг просвещения, рассадник науки, духовную фабрику учителей и апостолов народного пробуждения. Благодаря ей Пловдив стал главным культурным центром Болгарии. Царьград был ее головным мозгом, Пловдив — мозжечком и пульсом всей Фракии.

На посту директора этого учебного заведения находился славный Яким Груев.

В то время имя его имело большое обаяние. До тех пор я знал Груева только благодаря этому обаянию — по оболгаренной «Бедной Цветане»⁹³, которую читал с наслаждением, да по его школьным песням, которые мы распевали в Сопоте после экзаменов. Груев считался великим знатоком турецкого литературного языка, а также арабского и персидского, которые являются главными его элементами. Это ставило Груева очень высоко в глазах властей. Во время экзаменов в присутствии мютесарифа⁹⁴ и других турецких сановников он произносил речи в высоком стиле по-турецки. Ему

93 ...оболгаренная «бедная Цветана». — Имеется в виду повесть «Сирота Цветана» (1858) — обработанная Я. Груевым «Бедная Лиза» Карамзина.

94 Мютесариф — правитель округа в старой Турции.

принадлежит даже несколько турецких песен во славу султана, распеваемых в школах. Часто его вызывали в конак мютесарифа, чтоб он разъяснил туманный смысл какого-нибудь послания Высокой Порты⁹⁵, а иной раз, чтобы составил ответ. Благодаря этому он пользовался большим влиянием, и при встрече с ним турки приветствовали его почтительным темане⁹⁶.

Впервые я увидел знаменитого учителя у него в кабинете в гимназии, куда меня привел отец. Передо мною был коренастый человек со строгим смуглым лицом, острым взглядом и черной турецкой бородой. На столе у него лежали книжки «Revue des deux mondes»⁹⁷. Он был близорук и смотрел на меня, прищурившись, — как мне показалось, надменно, пренебрежительно. Только потом я понял, что это его обычная манера глядеть на нижестоящих. Вид его внушал почтение, смешанное со страхом, и я сильно смутился.

Он стал меня расспрашивать, чему я учился.

Когда я привел ему длинный список высоких и важных наук, поглощенных мною в сопотской школе, он с удивлением взялся за бороду, как бы желая сказать моему отцу:

— Зачем же вы привели его? Он может быть моим профессором...

Затем, прищурившись, пристально посмотрел на меня и сказал:

— Вы будете приняты в четвертый класс.

Это решение обидело меня. Когда мы вышли, я высказал отцу свое возмущение.

Он холодно ответил мне:

— В Сопоте ты учился всему, но, видно, не так как надо... Учитель Яким лучше понимает, куда тебя зачислить... Не будь всезнайкой... Для меня самое важное, чтобы ты не жалел сил на греческий язык и выучился по-турецки. Ведь ты до сих пор ни одного документа не в состоянии прочесть: тебе не учителем и не священником быть, а торговцем, как твой отец.

Груев преподавал турецкий язык в старших классах по турецкому переводу «Телемаха», а в младших — по нравоучительной турецкой книжке «Ри-саале Ахляк». Класс звенел от его высокого, певучего голоса, когда он произносил торжественно-витиеватые и образные арабские фразы, пленявшие слух своей своеобразной музыкальной мелодией. Видимо, он сам испытывал наслаждение, вникая в сокровенные тайны богатой азиатской речи.

Груев был превосходным преподавателем и тех предметов, которые мы проходили на болгарском языке. Он выражался ясно, точно, логично, хотя суховато. Никогда не повторялся и не запинался. Он умел держать наше внимание напряженным и сохранял достоинство, даже изысканную чопорность в обращении, избегая малейшей фамильярности с учениками.

Учась в четвертом, я все же любил присутствовать на его уроках и в

⁹⁵ Высокая Порта — принятое в европейских документах и литературе официальное название правительства султанской Турции.

⁹⁶ Темане — турецкое приветствие (прикосновением руки ко рту и лбу).

⁹⁷ «Ревю-де-де-монд» — «Обозрение старого и нового света» (франц.)

старших классах. Особенно по всеобщей истории. В этот предмет я был влюблен и читал много исторических сочинений. Как-то раз на уроке в шестом классе Груев задал вопрос:

— Чем кончилась тридцатилетняя война?

Он спрашивал одного за другим, подолгу дожидаясь ответа, — шестиклассники хранили молчание. А у меня ответ был на языке! Я терпел, терпел, наконец не выдержал, вскочил и сказал:

— Вестфальским миром!

И тотчас сам смутился собственной дерзости и бесцеремонности.

Все с удивлением обернулись в мою сторону.

Груев поднял глаза, посмотрел на меня, прищурившись, и промолвил:

— Верно.

С этого дня укрепилась, прогремев по всей гимназии, моя слава как непререкаемого авторитета в вопросах истории. Многие ученики старших классов пожелали познакомиться со мной. Тогда я свел знакомство и с шестиклассником Константином Стоиловым⁹⁸, лучшим учеником гимназии, обычно державшимся неприступно и избегавшим общения с учениками младших классов.

После этого Груев во всех случаях подобного молчания в пятом и шестом классе искал меня глазами на последних скамьях и вызывал:

— Ну-ка, сопотец, скажи!

Он всегда называл меня «сопотец», не то забывая мою фамилию, не то не достаивая ее произносить.

И я своими ответами поддерживал завоеванную мной репутацию.

Однако по математике и турецкому языку у меня были очень плохие отметки: я не мог решить ни одной задачи на дроби потруднее, ни прочесть как следует строчку по-турецки.

Груев махнул на меня рукой и перестал вызывать по этим предметам.

Но зато с какой любовью изучал я французский язык!

* * *

Французский, как и греческий, преподавал учитель Зафиров.

Он был уже пожилой, с сухим, морщинистым, холодным лицом, — учитель добросовестный, но лишенный дара слова: он говорил быстро, неясно и запинаясь.

Этот серьезный, почти мрачный человек, был автором — кто бы подумал? — эротического сборника песен «Гусли». Эти любовные песни — подражание греческим — я выучил наизусть, еще будучи юношей, вместе с славейковскими лирическими песнями того же характера. Удивительно, как в ту эпоху рабства процветала любовная и анакреонтическая поэзия: старые и молодые, дети и девушки прямо глотали ее. Бунтарские песни еще не вытеснили из обращения эту безвкусную сентиментальную поэзию.

Ой, Лада, Лада,

Моя отрада,

Нету красавицы лучше тебя... —

эти стишки Зафирова упорно приходили мне на ум каждый раз, когда

⁹⁸ Константин Стоилов (1853–1901) — реакционный политический и государственный деятель Болгарии, представитель консервативной партии, а затем партии «народняков»; в 1894 по 1899 г. — премьер-министр.

я слышал, как он шевелит своими сморщенными, сухими губами, и я задавал себе вопрос: неужто в самом деле этот строгий человек с постным лицом и суровым, но в то же время испуганным взглядом — сочинитель легкомысленных любовных виршей?

Французский язык он преподавал сухо. Из-за него я, можно сказать, стал самоучкой, переведя с помощью словаря всего «Télémaque»⁹⁹. Но греческий Зафиров преподавал с увлечением, с явной любовью. Получив образование, кажется, в Афинах, он с наслаждением углублялся в бесконечный лабиринт эллинского красноречия, в совершенстве постигнув разницу произношения теты и дельты.

Образцы языка Фукидида и Сократа до сих пор сохранились в моей памяти, и я пользуюсь ими иной раз, чтоб удивить какого-нибудь почтенного грека своей эллинской ученостью, не умея в то же время спросить маслин в греческой бакалейной лавочке в Варне...

* * *

С успехом изучал я французский язык только при Богдане Горанове из Карлова, к которому, после его возвращения из Гейдельберга, этот предмет перешел от Зафирова.

Богдан Горанов был в то время интересным молодым человеком. Приятное смуглое лицо с выразительными чертами и живой юношеский взгляд соединялись у него с элегантностью и изящными манерами: от него веяло европеизмом и светскостью.

Он был не лишен и поэтической жилки. С каким увлечением читал он нам ламартиновские «Méditations»¹⁰⁰ и песни Беранже, быстро шагая взад и вперед по классу! Глаза его горели, пряди черных волос падали на лоб. В пылу восторга он тогда забывал о нас и читал для собственного удовольствия. Потом, спохватившись, начинал переводить. Однако он отвык от болгарского языка, и слова у него получались нескладные. Так *humanité* — человечество, человеколюбие, человечность — он переводил «человечность», а *grandeur* — «величность»... Само собой разумеется, это не был *un cas pendable*¹⁰¹ по выражению Рабле: меня интересовал только французский язык. В Пловдиве я впервые, благодаря Горанову, был пленен французской поэзией, точнее — музыкальностью французской речи. Увы, не в возможностях учителя Партения было познакомить меня с этой стороной дела! Я упивался сильными, полными звуками, которые скрещивались, гармонически сливались, образуя музыкальный напев, подобно клавишам рояля, поющим вихревую вагнеровскую мелодию.

Беранже и Ламартин были первыми французскими поэтами, которых я узнал и полюбил. К экзамену Горанов задал мне выучить прекрасную песню Беранже «La sainte Hélène»¹⁰². Я без конца твердил это поэтическое произведение, упоительное для слуха и для души благодаря его

99 «Телемаха» (франц.)

100 «Размышления» (франц.)

101 Преступление, за которое полагается смертная казнь через повешение.

102 «Святая Елена»

мужественному звучанию и созданным величавой и мрачной фантазией обрадам:

Sur un volcan dont la bouche enflammée
Jette sa lave à la mer qui l'étreint,
Parmi des flots de cendre et de fumée
Descend un ange, et le volcan s'éteint.
Un noir démon s'élançe du cratère:
— Que me veux tu, toi, resté pur et beau?
L'ange répond: — Que ce roc solitaire,
Dieu l'a dit, devienne un tombeau.¹⁰³

Годы стерли из моей памяти остальные куплеты, не изгладив, однако, общего впечатления от могучего чувства и фантазии, одушевляющих эту песню.

Именно в это время я начал пробовать свои силы в стихотворстве, и первым моим трудом был перевод песни Беранже «La mère aveugle»¹⁰⁴. Само собой разумеется, стихи мои хромали в отношении просодии, размера, звучности и даже рифм, поскольку я считал таковыми только слова с одинаковыми буквами на конце: я ничего не постиг в тайнах пиитики учителя Партения!..

* * *

Последним моим учителем турецкого языка, преподававшим только этот предмет, был Ковачев (Никола) из Сопота.

Он стал моим преподавателем случайно, по недоразумению, изблотившему мое позорное невежество в этом языке.

Как только я в 1868 году вернулся в Сопот, отец показал мне телеграмму на турецком языке из пяти слов и попросил перевести ее, уверенный в том, что я вернулся из Пловдива ученым самого Иланоолу. Но как же он был озадачен, когда оказалось, что я не в состоянии даже ее прочесть!

— Ты в Пловдиве ворон считал, сынок, — с грустью сказал он мне. — Это телеграмма от Ковачева, которого мы вызвали из Ловеча, чтоб у нас учителем быть, и он сообщает, что едет. Ты у него турецкому языку учиться будешь.

И вот я опять ученик. С Николой Ковачевым я был на равной ноге и, будучи уже мужчиной с усами и чувством собственного достоинства, дружил с ним, проводя время на прогулках и «гулянках», — это русское слово было введено в Сопоте еще учителем Партением.

103 К вулкану, что из огненного зева
Потоки лавы гонит в океан,
К печи, отверстой в судорогах гнева,
Слетает ангел, чтоб задуть вулкан.
Но черный дух встает ему навстречу:
— Зачем ты здесь: о ты, что дня светлей?
— Веленьем божьим этот риф я мечу,
Он превратится в мавзолей!
(Перевод М. Тарловского)

Дородный, белолицый, красивый молодой человек с русой бородкой и умными, насмешливыми глазами, очень остроумный и всесторонне развитый, Ковачев был вдобавок чудаком и шутником, любителем вина, песен и сумасбродств. Его происхождение и приятный характер заставляли его сограждан прощать ему эти невинные слабости. Не будучи свободолобом, он был вольнодумцем, философом, врагом приличий и общественных условностей. Часто за десяток домов слышалась принесенная им из Ловеча любовная песня, которую распевала на лужайке у них в саду веселая компания, звеня стаканами пенистого вина:

Где, о голубь мой,
Ты стремишь свой лет?
Ревность злой змеей
Сердце мне сосет.¹⁰⁵

Сначала местные жители возмущались таким распущенным поведением. Но Ковачев, верный своим философским воззрениям на достоинство человека и глупость предрассудков и считая, что он учитель только в школе, не обращал на это внимания и продолжал наслаждаться жизнью под благодатным родным небом. В городе терпели его вольнодумие, ценя его прекрасное знание турецкого языка и мелодичное пение псалмов в церкви, не мешавшее ему вне ее стен быть открытым безбожником и в великий пост жарить вяленое мясо в задних комнатах корчмы, читая над жаровней Ренана...

Как-то раз, возвращаясь с пирушки в поле, он прошел по улицам в сопровождении цыганских барабанов и рожков, заявляя таким способом свое равноправие с остальными гражданами. На этот раз против него возмутились и перестали его щадить: наконец уволили.

Естественно, что у этого добродушного сибарита, столь ревностно преподававшего жизнерадостную науку Анакреона, я, постоянный его товарищ, плохо учился турецкому языку... Между тем он, наделенный даром красноречия и полный любви к делу, был в стенах училища превосходным наставником, — правда, с тем же рвением прибегая к райской лозе.

Умер Ковачев, учительствуя уже в Ловече.

* * *

Это последний из моих учителей. О тех из них, чьи образы встают теперь в моей памяти, я сумел очень мало рассказать. Но я и так слишком распространился... Положительная оценка их заключается в том, что я с глубокой симпатией и глубокой признательностью в душе вспоминаю всех честных работников народного просвещения, заслуживших это в меру своих сил, умения и темперамента. Каждый из них живым словом, будто снопом лучей, озарил мое сознание, кинул пригоршню благородных семян в восприимчивую, нетронутую почву души моей, обогатил мое сердце добрым чувством. Великое им спасибо!

София, февраль 1901 г.

Болгарка

*Аферим, бабо, машаллах!*¹⁰⁶ (Болгарская народная песня)

I

В послеобеденную пору 20 мая 1876 года, в день, когда чета Ботева была разбита в горах у вершины Вол, недалеко от Врацы¹⁰⁷, и сам Ботев пал, сраженный пулей черкеса из карательного отряда свирепого головореза Джамбалаза, на левом берегу реки Искыр против села Лютиброд¹⁰⁸, стояла кучка крестьянок. Они ждали очереди, чтобы переправиться на другой берег. Большинство из них плохо разбиралось в происходящем, а кое-кому ни до чего не было дела. Шнырявшие по селам второй день кряду турецкие карательные отряды, прибывшие из-под Врацы, не трогали их, они как и раньше ходили на работу в поле. Правда, возле переправы толпились одни только женщины, мужчины не отваживались покинуть село, Хотя место кровавых столкновений между четой и ее преследователями находилось довольно далеко от Лютиброда, тревожная молва докатилась и сюда, заставив мужское население быть начеку. В этот самый день несколько турецких солдат заявилось в село выслеживать подозрительных лиц; возле переправы тоже обосновались солдаты, которые наблюдали за тем, кого перевозит с берега на берег лодка. Сейчас она находилась у того берега, и крестьянки с нетерпением ждали ее возвращения. Наконец лодка подошла. Лодочник — житель Лютиброда, что работал по найму от села, — уперся веслом в речное дно и, причалив посудину к берегу, крикнул крестьянкам:

— Ну-ка, прыгай, да поживее!

В это время со стороны Челопека¹⁰⁹ прискакали два конных жандарма. Торопливо спешившись, они растолкали женщин, приготовившихся прыгать и лодку. Один из жандармов, старый толстый турок, замахнулся на крестьянок плетью и закричал:

— Назад, гяурские свиньи! Пошли прочь!

Женщины расступились, отошли чуть подальше и приготовились ждать.

— Убирайтесь! — заорал на них другой жандарм, огрев первую попавшуюся плетью. Крестьянки с причитаниями кинулись врассыпную.

Лодочник между тем ввел в лодку лошадей. За ними вошли и жандармы; толстый, повернувшись к лодочнику, сердито приказал:

106 Ай да старуха, молодец! (турецко-болг.)

107 Враца — город в северо-западной Болгарии, центр 3-го революционного округа во время Апрельского восстания 1876 г.

108 Лютиброд — село на правом берегу реки Искыр.

109 Челопек — село на реке Искыр.

— Чтоб ин одной собаки здесь я не видел. Пошли прочь! — закричал он на женщин, и те понуро побрели в сторону поля.

— Погоди, ага, будь милостив!

Жандармы оглянулись.

Кричала какая-то женщина, чуть не бегом спускавшаяся к реке по дороге, что вела из Челопека.

— Чего тебе? — спросил толстый турок по-болгарски.

Женщине было лет шестьдесят; эта высокая, костлявая крестьянка больше смахивала на мужика. На руках она держала закутанного в дерюжку ребенка.

— Позволь сесть в лодку, ага! Дай тебе бог здоровья, тебе и твоим детям!

— Это ты, Илийца? Эй ты, злосчастная гяурка!

Он узнал старуху: она пекла ему баницу в Челопеке.

— Она самая, Хасан-ага. Позволь сесть ради дитятка.

— Куда ты тащишь этого червяка?

— Внучком он мне приходится, Хасан-ага. Мать померла, а он захворал... Мне бы надобно в монастырь...

— Чего ты там не видала?

— Пойду помолюсь за его здоровье, ага, — промолвила крестьянка с мучительной тревогой в глазах.

Хасан-ага и его товарищ уселись поудобнее. Лодочник взялся за весла.

— Ради бога, ага, сделай доброе дело. У тебя ведь тоже дети есть, я и за тебя помолюсь...

Толстый турок, немного подумав, презрительно бросил:

— Ладно, полезай, ослица!

Старуха проворно забралась в лодку и села рядом с лодочником. Он оттолкнулся от берега, и лодка поплыла по мутной реке, вздувшейся после проливных дождей; тронутая мелкой рябью речная гладь серебрилась в лучах предзакатного солнца, которое, пробившись сквозь пелену облаков, садилось за гряды гор.

II

Бедная женщина и впрямь торопилась в монастырь. На руках у нее лежал полуживой двухлетний внучек, сирота, хворавший уже целых две недели. Ребенок медленно угасал, ему делалось все хуже; не помогли ни снадобья знахарок, ни заговоры, ни лекарь, к которому она его носила во Врацу. Сельский священник читал над ним молитвы — не помогло и это. Осталась последняя надежда — на пресвятую богородицу. «Надобно в монастырь его снести, пускай почитают молитвы за здравие!» — в один голос твердили соседки.

В этот день после обеда Илийца глянула на ребенка и обмерла: он лежал, будто неживой. Скорее, скорее! Поди, пресвятая богородица сжалится, поможет... Времена были тревожные, смутные, но Илийца решила податься в Черепишский монастырь Пресвятой Богородицы. Когда она спускалась через дубовый лес к Искыру, из-за деревьев вдруг вышел парень в странной одежде с галунами на груди, в руках — ружье, сам исхудалый, бледный, краше в гроб кладут.

— Бабушка, дай хлеба! Помираю с голоду! — сказал он, перегородив

старухе дорогу.

«Видно, из тех¹¹⁰, кого ищут! — сразу догадалась Илийца и испуганно шепнула про себя: — Господи, помилуй!»

Пошарив рукой в мешке, она вспомнила, что забыла взять в дорогу хлеба. Найдя на дне несколько сухих корок, отдала их парню.

— Бабушка, в этом селе можно укрыться?

Укрыться в Чelopeке? Боже упаси! Там теперь такое творится, чего доброго кто выдаст туркам. А тут еще эта одежда.

— Нет, сынок, нельзя! — молвила она, ласково глядя в его изможденное лицо, выражавшее крайнее отчаяние.

Немного подумав, она сказала:

— Ты, сынок, пока спрячься в лесу, как бы кто не увидал тебя. А ночью жди меня на этом самом месте. Я приду. Принесу хлеба и одежду другую... В этой негоже... Как же, небось, христиане мы.

Измученное лицо парня озарилось надеждой.

— Я буду ждать тебя, бабушка! Иди, спасибо тебе!

Илийца смотрела, как он уходит в лес, припадая на одну ногу. Глаза ее наполнились слезами. Спohватившись, она бегом стала спускаться к берегу. «Сделать доброе дело... Сердешный! Может, бог смилостивится, не даст помереть внучку! Пресвятая богородица, помоги мне только добраться до монастыря. Боже милосердный, защити его, болгарин ведь он, жизни своей не пожалел ради нашей христианской веры!»

Илийца решила, что все расскажет старому игумену, человеку добросердечному, истому болгарину, попросит у него хлеба и одежду крестьянскую, а как только отец игумен сотворит молитву над болящим, она сразу же тронется в путь, чтобы до света свидеться с беглецом.

И она заторопилась с утроенной силой, исполненная желаний спасти, коли на то божья воля, две жизни.

III

Ночь уже окутала черным покровом Черепишский монастырь. Ущелье Искыра, придавленное темным небом, настороженно молчало; река шумела внизу монотонно и глухо, теряясь за поворотом среди высоких крутых утесов. Напротив сплошной стеной чернели скалы. Они стояли, мрачные и хмурые, с невидимыми во тьме черными провалами пещер и одинокими каменными обелисками вершин, на которых гнездятся горные орлы. Монастырь — глухой, безлюдный, был погружен в сон.

Вдруг раздался громкий стук в ворота.

Залаяли собаки. Стук повторился. Еще раз и еще.

На стук вышел работник, потом из кельи показался монах без рясы и камилавки.

— Иван, кто там стучит? — спросил монах с тревогой в голосе, остановившись возле перил, на которых чернела развешанная монашеская одежда.

Стук не прекращался.

— Может, кто из тех? Как же быть?! Я не пушу! А тут еще отца игумена нету... как на грех... погоди открывать, сперва спроси, кто там!

— Кто там? — громко спросил работник и прислушался. — Вроде баба

110 Видно из тех... — то есть из отряда (четы) Христо Ботева.

кричит, — сказал он.

— Какая еще баба в такую пору?.. Это либо «те», либо турки... Турки скорее всего... Чего доброго, перережут нас этой ночью... Небось, ищут тех... Никого у нас нет, я и близко никого не подпущу... Господи, помилуй!..

Из-за ворот донесся женский голос.

— Баба кричит, — повторил работник.

— Кто там?

— Это я, Иван. Илийца из Челопека. Отвори! Слышишь? Буду век за тебя бога молить. Отопри!

— Ты одна? — спросил Иван.

— Одна, с внучонком.

— Гляди, как бы не было обмана! — сказал монах, отец Евфимий, работнику.

Собравшись с духом, тот подошел к воротам и заглянул в скважину. Удостоверившись, насколько позволял ночной мрак, что за воротами стоит женщина и что она одна, монах велел Ивану отпереть ворота. Створка приоткрылась и, пропустив Илийцу, тут же захлопнулась.

— И чего тебя нелегкая принесла в такую пору? — грубо спросил монах.

— Внучек у меня захворал, худо ему... А где отец игумен?

— В Берковице. Зачем он тебе?

— Хочу, чтоб молитву почитал... Как же теперь быть?.. Почитай ты.

— Среди ночи?.. Что я могу поделать, коли внучек твой болен! — сердито заворчал монах.

— Ты не можешь, но господь всемогущ.

— Ложись-ка ты лучше спать, а там видно будет.

Но старуха настаивала. Кто знает, что может случиться до завтра. Малец-то совсем плох, болезнь не ждет... Один господь может его спасти. Она заплатит, сколько положено.

— Да ты совсем рехнулась! Заставляешь среди ночи открывать монастырские ворота, чего доброго, бунтовщики ворвутся или турки нагрянут, разорят обитель!

Не переставая ворчать, он сходил в келью и спустя минуты две вышел оттуда в рясе, но по-прежнему с непокрытой головой и в шлепанцах на босу ногу.

— Идем!

Илийца вошла за ним в церковь. Он зажег свечу, надел епитрахиль, взял в руки молитвенник.

— Неси сюда больного!

Илийца поднесла ребенка поближе к свету. Личико его было желто, как воск.

— Да ведь он помер! — сказал монах.

Словно чтобы опровергнуть эти слова, глубоко запавшие глазки приоткрылись и засияли, точно звездочки, — в них отразилось пламя горящей свечи.

Монах прикрыл голову ребенка епитрахилью, наспех прочел молитву за здравие, перекрестил больного и захлопнул книгу. Старуха поцеловала ему руку и вложила в нее два гроша.

— Коли ему на роду написано поправиться, то поправится, — сказал

монах. — Ну, а теперь ступай на галерею да ложись спать.

Взяв свечу, монах направился к выходу.

— Погоди, отец Евфимий, — нерешительно позвала его старуха.

Монах оглянулся.

— Ну, чего тебе еще?

— Надобно кое-что сказать тебе... послушай, небось, мы христиане... — сказала она, понизив голос.

Монах рассердился.

— Чего ты мелешь? Какие еще христиане? Иди-ка лучше спать да свечу погаси, а то увидят те, что в горах сидят, да в гости пожалуют.

Под словами «те, что в горах сидят» монах подразумевал бунтовщиков. Илийца сразу поняла это. На лицо ее набежала тень. Дрогнувшим голосом она промолвила:

— Не бойся. Никто сюда не придет...

И, приняв таинственный вид, начала было рассказывать:

— Иду я от села через лес, гляжу, а там...

Хмурое лицо монаха перекопилось от страха и ярости. Поняв, что старая крестьянка хочет рассказать ему о чем-то опасном, он закричал на нее:

— Не желаю слушать! Ничего не рассказывай. Знаешь — знай про себя. А может, ты затем и пришла, чтоб погибель наслать на нашу обитель!

Старуха хотела возразить ему, но слова застряли в горле; с убитым видом она поплелась следом за монахом во двор.

— Коли так, не останусь я у вас ночевать...

Монах глянул на нее с удивлением.

— Куда же ты денешься?

— Домой уйду. Сразу же...

— Да ты в своем ли уме?

— В своем или нет, а уйду. С утра чуть свет работа ждет. Дай мне хлеба, проголодалась я...

— Бери сколько хочешь... Иван, дай ей хлеба! А ворота отпирать не позволю.

Но старуха ни за что не хотела оставаться на ночь. Монах принялся ее ругать на чем свет стоит. Как? Отпереть ворота? Чего доброго, нагрянут худые люди. Мало ли что может случиться... Потом ему вдруг пришло в голову, что старуха, уже повидавшая «тех», может навлечь на него беду, коли турки пронюхают об этом. Нет, пускай лучше убирается подобра-поздорову, чтоб и духу ее не было.

— Ладно, уходи, — сказал монах.

Старуха положила ребенка на широкие перила, засунула в мешок полкаравая хлеба, который принес Иван, потом снова взяла ребенка на руки и вышла за ворота. Створки ворот захлопнулись за ней, и работник их запер.

IV

Илийца в темноте направилась к Искыру, за которым в лесу ее ждал беглец. На душе у нее было беспокойно: она не решилась посоветоваться с сердитым монахом, принявшим ее в отсутствие игумена. Поднявшись со дна ущелья на взгорок, она пошла по дороге, которая вилась по берегу реки. В ночном сумраке довольно ясно проступали силуэты утесов на том

берегу, хмурые даже при дневном свете, ночью они казались зловещими... И все вокруг виделось Илийце зловещим, потому что душа ее была истерзана тревогой. Поднявшись на перевал, Илийца села на холодную землю под огромным вязом, ей хотелось передохнуть. Горы спали; мрачная тишина царила в природе; одна только река неумолчно шумела внизу, в глубоком ущелье, где у подножия скал чуть мреяли купола монастыря. В его окнах не видно было ни единого огонька. Справа, со стороны Лютиброда, доносился собачий лай. Илийца побоялась идти через село и, свернув налево, по кромке оврага проворно спустилась вниз.

Вскоре она подошла к реке.

Лодка стояла у берега. Илийца подошла к шалашу, где обычно ночевал лодочник, — хотела попросить, чтобы он ее перевез. Но в шалаше никого не оказалось: лодочник, видно, побоялся ночевать в нем. Старуха не знала, как быть. Она подошла к лодке. Река страшно шумела; ее свинцовые воды мрачно поблескивали. У бедной женщины по спине поползли мурашки. Что теперь делать? Неужто придется ждать до утра? Она не хотела и думать об этом, хотя в Лютиброде уже пропели первые петухи, предвещая скорый рассвет. Как быть? А может, попробовать самой переправиться на тот берег? Ей приходилось видеть, как лодочник управляется веслом... Переправа ее страшила, но другого выхода не было, надо было во что бы то ни стало спасти парня, что ждал ее в лесу, голодный, с сердцем, исполненным тревоги и страха. Ребенок лежал на песке — старуха совсем забыла о нем! Она наклонилась, чтобы отвязать прикольную цепь, и обмерла: цепь была на замке. Видно, замок повесили турки, чтоб никто не смог переправиться ночью через реку. Илийца растерянно выпрямилась. Петухи в Лютиброде горланили вовсю; небо на востоке чуть посветлело, еще час, другой — и рассветет. Бедная женщина в отчаянии застонала и принялась что есть силы дергать цепь, чтобы оборвать замок. Поняв, что это ей не удастся, она поднялась с колен и печально задумалась. Потом вдруг наклонилась, схватила кол обеими руками и начала истошно расшатывать его. Кол, глубоко вбитый в землю, не поддавался. Старуха дергала изо всех сил, ее черные натруженные руки напряглись, жилы вздулись, даже кости, казалось, трещали от натуги, горячий пот застилал ей глаза. Илийца совсем выбилась из сил, словно ей пришлось переколоть целый воз дров. Немного передохнув, она опять наклонилась и принялась за дело с еще большим рвением. Дыхание с шумом вырывалось из ее старческой груди, ноги по щиколотки увязали в песке. Через полчаса, когда кол расшатался, старухе наконец удалось выдернуть его из земли. Цепь глухо звякнула, нарушив тишину.

Илийца вздохнула с облегчением и, обессиленная, повалилась на песок. Спустя несколько минут лодка со старухой и ребенком уже плыла по мутной полноводной реке, на дне ее лежал выдернутый кол.

V

Вырвавшись из утесистого ущелья, широко разлившийся Искыр катил свои воды в пологих берегах. Лодку сносило течением, она плохо слушалась весла, которым неумело управлялась старая крестьянка. Место, где лодочник обычно приставал к берегу, осталось в стороне. Илийца испугалась, что ее отнесет к оставленному берегу. Наконец быстрое течение подхватило лодку и прибило ее к суше. Старуха с трудом

выбралась на берег, взяла ребенка и, не теряя ни минуты, подалась в гору, к лесу. Подойдя к тому месту, где она вчера повстречалась с парнем, Илийца увидела в лесу тень человека. Она узнала его. Парень вышел ей навстречу,

— Здравствуй, сынок. Вот, бери.

Достав из мешка хлеб, старуха протянула ему, она знала, что ему прежде всего нужно подкрепиться.

— Благодарствуй, бабушка, — промолвил парень дрогнувшим голосом.

— погоди, накинь вот это сверху. — Старуха протянула ему одежду, которой был накрыт ребенок. — Господи, прости меня, грешную, унесла монастырское тайком.

Перед тем как уйти из монастыря, Илийца сняла это одеяние, думая, что оно принадлежит работнику. Когда же парень оделся, она с удивлением увидела, что это монашеская ряса.

— Ничего, — сказал парень, запахивая полы сухой шерстяной одежды. — Главное — согреться.

Они пошли дальше вдвоем. Парень ел на ходу; он дрожал от холода и сильно хромал. Ему было лет двадцать, он был высокий и тонкий. Чтобы дать ему спокойно поесть, Илийца не спрашивала, кто он такой, откуда взялся, — говорила сама, понизив голос; потом любопытство взяло верх, и она спросила, откуда он пришел. Парень сказал, что идет с равнины. Прошлой ночью отстал от четы в виноградниках возле Веслеца, оттуда с большим трудом добрался до этих мест, двое суток ничего не ел, обезножел, выбился из сил, а тут еще проклятая лихорадка не дает жизни. Он держит путь в горы, чтобы разыскать там товарищей или укрыться.

— Да ты еле ноги передвигаешь, сынок. Дай-ка ружье, я понесу, — сказала Илийца. — Легче будет идти,

Она взяла ружье в левую руку, а правой крепче прижала к груди ребенка.

— Крепись, сынок. Идем!

— Куда же я теперь денусь, бабушка?

— Как куда? Ко мне!

— Правда? Спасибо тебе, бабушка, за доброту! — растроганный парень наклонился и поцеловал жилистую натруженную руку, которой старуха прижимала к груди ребенка.

— Народ-то нынче напуган; коли узнают, живьем меня спалят, — промолвила старуха. — Только как же я оставлю тебя тут, в лесу? Уйти ты не сможешь: того гляди на черкесов наткнешься — разрази их бог! — их и в селе довольно... И чего это вы вздумали бунтовать? Не так-то легко побороть султана, чтоб ему пусто было!.. Перебили вас, как цыплят. Нет, в горы тебе не дойти!

Она переложила ружье в правую руку, а левой стала поддерживать парня. Они все дальше углублялись в дубовый лес. Небо на востоке над верхушками деревьев посветлело, петухи в Челопеке орали вовсю, звезды меркли. Наступал рассвет, а до села оставалось еще с полчаса ходьбы, если идти напрямик. А шагом, каким шел парень, и за два часа не добраться. Старуха совсем приуныла. Эх, были бы у нее крылья: подхватила бы его и полетела! Парень огляделся.

— Светает, бабушка, — сказал он.

— Худо это, сынок. Не поспеть нам, — вздохнула она.
Они прошли еще немного. Где-то впереди слышались голоса.
Старуха остановилась.

— Нет, милый, так не годится...

— А как? — спросил парень, для которого эта незнакомая старуха стала матерью, спасительницей, провидением.

— Ты пока укройся в лесу, посиди до вечера. А когда стемнеет, я приду за тобой на это самое место, уведу, спрячу у себя.

Парень согласился, что так будет лучше. Старуха отдала ему ружье.

— Прощай!

Илийца ощупала ребенка и вдруг заплакала.

— Ой, беда-то какая! Внучек мой помер: ручонки холодные, как лед!

Парень остановился, как громом пораженный. Скорбь старой крестьянки потрясла его; он хотел что-то сказать, утешить ее, но не мог найти слов. Он понял, что не имеет права рассчитывать на помощь этой великодушной женщины, которую постигло такое большое горе.

— Ой, мамочка! Голубчик ты мой... — причитала Илийца, не сводя глаз с детского личика.

Обескураженный, потрясенный до глубины души парень свернул в лес. Старуха сквозь слезы крикнула ему вдогонку:

— Спрячься как следует, сынок, а вечером приходи на это место, я тебя найду.

Она исчезла за темными стволами деревьев.

VI

В то утро майское солнце взошло на чистом небе радостно. Дождливые облака, несколько дней кряду закрывавшие небосклон, рассеялись. Лежавшая за Шишмановой скалой разубранная внешней зеленью живописная долина, по которой серебряной лентой вилась река, сверкала под лучами солнца, дивно прекрасная. Здесь, среди поросших дубовыми и буковыми лесами крутых скатов гор, угрюмых скал, исколупанных пещерами, ощетиженных утесами, которые издали напоминали замки и причудливые обелиски, сотворенные своенравной игрой стихий и времени, у подножия Шишмановой скалы, кончались странствия реки по узким извилистым ущельям.

Не успело солнце подняться над горизонтом, как на дороге, ведущей из Врацы, показалась турецкая конница, затем во ржи зачернели толпы пехотинцев, которым не видно было конца. Подойдя к Искыру, конные и пешие отряды остановились. Пехотинцев было душ триста. В передних рядах шли турки-башибузуки¹¹¹, вооруженные до зубов; главную же силу составляли черкесы, тоже вооруженные — кто чем. Конные отряды пропустили черкесов вперед, а сами остались на месте.

Этим шумным сбродом предводительствовал Джамбалаз, кровожадный кавказский разбойник-головорез; это из его шайки вчера была выпущена пуля, насмерть сразившая Ботева.

Джамбалаз, ехавший верхом, остановился на опушке леса, неподалеку от старой полуразрушенной церкви. Слева высились неприступные скалы,

¹¹¹ Башибузуки (турец.) — иррегулярные части турецкой армии, формировавшиеся специально для разграбления и терроризирования захваченных территорий.

справа до самого голого кургана тянулись поля и огороды. За деревьями, на склоне горы, виднелась брошенная хозяином уединенная овчарня.

Взгляды разбойников были обращены в сторону леса — густого, пустынного, безмолвного, — того самого леса, в котором скрывался бунтовщик. Но каратели охотились не за ним... Ночью во Врацу пришло донесение, что за час до рассвета в этот лес с гор спустилась чета, видимо, намереваясь переправиться через Искыр и податься в леса Стара-планины.

Взбудораженные вчерашней победой разбойники ждали знака, между тем как Джамбалаз, сойдя с коня, обсуждал с главарями башибузуков обстановку и план преследования. Это был высокий, смуглый, чернобородый человек лет сорока в черкеске, весь увешанный оружием; из-под высокой косматой папахи зло сверкали колючие глаза.

Вдруг со стороны овчарни грянул выстрел, разбудив в горах раскатистое эхо.

— Комиты! Комиты! — загалдели разбойники.

Взгляды всех обратились к овчарне, над которой взвилось облачко дыма; утренний ветерок подхватил его и развеял среди деревьев. После минутного смятения отряд дал залп, повторенный оглушительным раскатистым эхом. Опушку заволокло дымом. Раздались крики:

— Джамбалаз убит!

Джамбалаз и, впрямь упал. Пуля пронзила ему горло, изо рта хлынула кровь. Он был сражен пулей, посланной из загона.

При этом известии отряды карателей мгновенно охватила паника; разбойники кинулись врассыпную и попрятались кто где. Труп предводителя исчез, конный отряд ускакал. Но выстрелов не последовало.

Прошло довольно много времени прежде чем башибузуки догадались, что комиты попрятались в лесу; несколько черкесов похрабрее вошли в лес со стороны челопокской дороги и принялись его прочесывать. Наткнувшись на убитого четника — чернобородого мужчину лет тридцати с перевязанной тряпками раненой ногой, они смекнули, что чета ушла в горы.

(В самом деле, после гибели Ботева часть его четы, человек сорок, которую вел славный юнак Перо¹¹², раненный в ногу, ушла в горы; четники целую ночь скитались в лесах, усталые, голодные, а к рассвету спустились в Челопокский лес и заснули там мертвым сном, не подозревая, что по их следу уже идет погоня).

Шальная черкесская пуля настигла Перо в лесу. Других жертв не оказалось. И только в овчарне черкесы увидели еще один труп.

— Поп-комита! — удивленно закричали они.

Там лежал молодой, безбородый парень в распахнутой монашеской рясе, из-под которой виднелась залитая кровью одежда четника. Почерневшие от пороха губы говорили о том, что парень застрелился сам, — застрелился из того самого ружья, из которого уложил Джамбалаза. Виделся ли он ночью с четниками, того никто не знал.

Противно обычаю, башибузуки не отрубили бунтовщику голову, не стали носить ее на шесте по селам, как трофей — так подействовала на них смерть предводителя. Они ограничились тем, что подожгли овчарню,

¹¹² Юнак-Перо — Перо Македонец (Перо Спасов Симеонов) — (1846–1884) — боец отряда (четы) Христо Ботева.

где лежал труп. Она дымилась до самого вечера. К вечеру же два отряда карателей настигли в ущелье на берегу Искыра тринадцать четников, которые после полудня спустились туда, надеясь перебраться через реку вброд, и уложили их всех.

* * *

Илийца давно умерла. А полумертвый ее внук выжил; нынче это крепкий, статный мужчина — майор П. Покойная его бабка говаривала, что своим выздоровлением он обязан не столько небрежной молитве сердитого монаха, сколько тому добру, которое она от всей души хотела сотворить, но не смогла.

Октябрь 1899 г.

Павле Фертиг

В Хисаря его знали все. Он встречал приезжих у южных ворот крепостной стены — так называемых «Верблюдов»¹¹³ — с радостными приветствиями, прыжками и веселыми шутками. Он и потом веселил их как умел. И все знали Павле Фертига, любили его и давали ему денег.

Павле Фертигу было лет восемнадцать-двадцать. Дурковатый, полусумасшедший, незлобивый, шалый, часто остроумный, он никогда не унывал, несмотря на свои лохмотья и жалкую внешность. Его длинное немывтое веснушчатое лицо озаряли большие чернью глаза, в которых светилось выражение постоянной беспричинной радости. Беспричинно веселый, настроенный на шутливый лад, всегда готовый сказать что-нибудь оригинальное, неожиданное, глупое или глубокомысленное; всегда готовый услужить, сделать то, о чем его попросят, сказать, о чем не просят, удивить и рассмешить, он стал любимцем посетителей хисарских вод; его мальчишеская болтовня, его нелепые замечания таили в себе язвительную иронию, они забавляли, передавались из уст в уста, вносили оживление в собрания и беседы...

Особый предмет его шуток составляли женщины, молоденькие и хорошенькие, а для ветрениц Павле был просто опасен... Он вынюхивал, выслеживал все хисарские идиллии, которые должны были остаться тайной и которые его простодушно-беспощадная, прозрачная речь делала достоянием сметливых умов...

Павле Фертиг был родом из городка С., где жила его мать, последняя беднячка, оставившая его на произвол судьбы; был у него и брат, исчезнувший неизвестно куда. Павле Фертиг жил на подаяния, получаемые за услужливость, за то, что потешал гостей Хисаря, носил их узлы в баню, ходил пешком с разными поручениями в Карлово, встречал возле «Верблюдов» новых курортников, осыпая их благопожеланиями; бегал, выслушивал приказания, пел, кувыркался. Гривенники, полуфранковые монеты, а то и целые франки густо сыпались в его шапку.

Павле Фертиг обладал особым искусством изображать движение

¹¹³ «Верблюды» — остатки крепостных стен древнего Хисара (VI в.), напоминающие фигуры двух верблюдов.

поезда. Крикнув «Фертиг!»¹¹⁴, он прижимал руки к телу и начинал бегать вприпрыжку, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, издавая звуки «пых-пых, пых-пых» и тем самым подражая пыхтению паровоза. Затем бег и шум постепенно замедлялись, поезд прибывал на станцию... Ни один экипаж с курортниками не отбывал из Хисаря без того, чтобы в ту минуту, когда лошади должны были тронуться, рядом не появился Павле, не протянул на прощанье свою шапку и не подал свою любимую команду «Фертиг!»

За это его и прозвали Павле Фертиг.

Но несмотря на постоянные подачки, Павле ходил в лохмотьях, босой, полуголодный и ни на что не тратил денег. Драная одежонка на нем была с чужого плеча, голод он утолял скудными остатками с чужого стола; спал у околицы, возле «Верблюдов», в лачужке, сооруженной из кольев, камыша и банок из-под керосина, а порой — возле какой-нибудь лавки, завернувшись в свой потертый пиджак; тощий, грязный, всем довольный, подобно философу-цинику, не знающий желаний и забот. Его бережливость и попрошайничество вызывали удивление. Некоторые думали, что он зашивает деньги в одежду или зарывает их в землю, но это были одни предположения, для всех оставалось загадкой, куда они деваются. Нередко к нему приставали с расспросами:

— Эй, Фертиг, ты, наверное, собираешь деньги на свадьбу; где ты их прячешь?

— Господу богу, господу богу посылаю!.. Туда! Да здравствует швейцарское царство! Фертиг!

Название Швейцария составляло и исчерпывало весь запас его познаний по всемирной географии. Это слово в его голове связывалось с понятием обо всем, что есть в мире прекрасного, благородного и ученого.

— Она настоящая швейцарка! Ах, ах, что за красавица!.. — восклицал он восхищенно, когда мимо проходила какая-нибудь пригожая девушка или дама, вся пунцовая от комплимента Фертига.

Я имел честь снискать одобрение Павле и потому сходил за «швейцарца». Он награждал меня этим титулом каждый раз, когда его шапка проплывала мимо меня... Наблюдая за забавлявшими нас его шалостями и дурачествами, я нередко испытывал непонятную грусть. Этот почти двадцатилетний парень, юродивый, обиженный природой, предмет издевательств праздных бездельников, казался мне необъяснимой жестокой загадкой, укором веселости, вызванной величайшим несчастьем, какое только может постичь человеческую душу. А бедная, больная душа Павле, безвозвратно утратившая равновесие, лишенная здоровой опоры разума, тонущая в беспросветном мраке, была вольна смеяться и возбуждать смех, который заглушал чувство сожаления... Счастлив он был или несчастлив... Таились ли в его душе какие-нибудь другие, более возвышенные человеческие чувства, кроме несознательной склонности к грубым шуткам и проявлений мелочной, животной корысти? Это было неизвестно. Вероятно, нет. Страдал ли он от сознания своего положения? Ведь это сознание существовало! Так или иначе, но он был всегда весел! Он был неизменно весел и обречен, смешая и потешая людей своими

114 «Готово!» (нем.) В описываемые времена его употребляли кондуктора Восточной железной дороги в Болгарии. (Прим. автора)

глупостями и паясничаньем, получать подаяния, которыми не пользовался...

Но выпал случай, который пролил обильный свет на эту загадочную душу и возвысил Павле в моих глазах.

Однажды я сидел в кофейне своей гостиницы и курил, глядя на выщербленные временем крепостные стены, от которых веяло духом минувших веков, седой стариной.

Откуда ни возьмись появился веселый, улыбающийся Павле. Он озирался по сторонам.

— Кто тебе нужен, Павле?

— Ты, но смотрю, нет ли здесь еще кого, — ответил он.

— Почему?

— Нет ли какой-нибудь дурьей башки...

— Нету, нету. Здесь только двое швейцарцев: ты да я, — сказал я ему, улыбаясь.

Павле начал рыться за пазухой своей рваной рубахи.

— Ты умеешь писать по-франкски, так ведь? — спросил он, вынимая голубой конверт без надписи.

— Что это за письмо?

— В швейцарское царство. Оп!

Он подпрыгнул и протянул мне конверт.

— Напиши здесь по-франкски имя моего брата.

— Хорошо. Куда же пойдет это письмо?

— В швейцарское царство. Свояк Матю написал внутри, а снаружи не умеет... дурья башка...

— А! В Швейцарию? Твой брат там? — сказал я, и мне сразу же стало ясно, почему бедный ум Павле ставил Швейцарию так высоко. — А в какой город?

— Пиши: Фрибур!

Я исполнил его просьбу и написал по-французски адрес, не переставая удивляться, что Павле помнит и правильно произносит это название.

— Ай да швейцарец, браво! — похвалил он меня.

— Что там делает твой брат?

— Ума набирается, учится.

— На кого учится?

— На дохтура.

— Очень хорошо.

— Нынче кончит учиться и приедет сюда лечить людей. Кто больной, того лечить будет...

И Павле, перекувырнувшись два раза, схватил письмо и собрался уходить.

— Постой, куда ты спешишь?

Он указал на ресторан напротив. Возле него под тентом сидела на стульях группа мужчин и женщин.

— Пойду туда, поведу поезд в Пловдив. Фертиг!

На его бледном веснушчатом лице сияла счастливая улыбка, в глазах светилось радостное нетерпение.

— Что ты написал брату? Пожелал ему здоровья?

- Пожелал здоровья, да только одного здоровья мало...
- А кто содержит твоего брата?
- А?
- У твоего брата есть деньги?
- Деньги? Какие еще деньги!
- Он получает стипендию?
- Что?
- Государство дает ему деньги?
- Господь бог.
- Как это, господь бог?
- Не бог, а дурья башка!..

Я посмотрел на него с недоумением.

— Павле, почему не отвечаешь по-человечески, почему строишь из себя дурака? — рассердился я.

— Я же сказал тебе! Фертиг, фертиг, фертиг!.. Пых-пых, пых-пых, — запыхтел он и побежал к сидевшим напротив людям.

Вечером я встретил бакалейщика Матю, который доводился Павле родней. Мне захотелось узнать, правильно ли я понял туманные намеки Павле. Матю долго мялся, потом сказал:

— Павле сердится, просит молчать, не срамить его брата, но вашей милости я скажу. Дело в том, что вот уже два года он содержит брата на подаяния, как видите... У брата сперва водились кое-какие деньжата, да скоро вышли, он хотел бросить учение... Но Павле, узнав про это, сказал: «Нельзя. Пусть доучится там!» Монетки не истратит, все туда посылает. От зари до зари не знает передыху, чтобы сделать брата человеком... Братская любовь, господин. Малоумный он, да лучше многих здравомыслящих...

Слова Матю заглушил взрыв хохота, донесшегося из ближней кофейни, где Павле Фертиг ходил на руках, выставив кверху босые ноги...

От орала до «ура»

1

Известный столичный врач М., прекрасный хирург и охотник, отличный рассказчик, поведал мне следующее:

«Однажды, охотясь на диких уток, я бродил в окрестностях Софии. Темнота застигла меня у села Горни-Богров; пришлось остановиться там на ночлег. Ночевал я в доме деда Мине, крестьянина зажиточного, умного и доброго. Вечером воротился с пахоты его сын Стоичко. Об этом Стоичко я и хочу вам рассказать. Он был парень расторопный, работающий, весельчак и крепыш. Один сын у отца, он сам управлялся в поле. Видели бы вы его черные глаза, в которых светился природный ум, его пышущее здоровьем и силой лицо! Стоичко повел речь о хозяйственных делах, о нивах и волах, о видах на урожай... Ничто другое на свете его не интересовало. Был он грамотный. Старый Мине не мог нарадоваться, что вырастил такого доброго сына, которому вверит хозяйство на старости лет. Мне как-то сразу полюбился этот парень, я всем сердцем почувствовал радость, царившую в этой счастливой, работающей крестьянской семье. Когда наутро, с восходом солнца я вышел из села, мне опять попался на глаза

Стоичко. Он с видимой легкостью пахал отцовскую ниву. Встав на полоз рала, вел глубокую, ровную борозду, и земля весело похрустывала, казалось, приговаривая: «Паши меня, парень, я воздам тебе сторицей!» Стоичко узнал меня, и, не отрываясь от работы, махнул рукой в знак приветия. Я долго еще оборачивался и с наслаждением созерцал силуэты волов и самого Стоичко, видя в них живой символ труда и божьего благословения.

2

Спустя три года рассыльный принес мне служебное письмо. Парень этот мне как-то сразу приглянулся: не то, чтобы он выглядел бравым в своей форме с золотыми пуговицами, — просто его вид пробудил во мне какие-то светлые воспоминания, память о чем-то хорошем, приятном, некогда мною увиденном и пережитом. Лицо рассыльного показалось мне знакомым. Он тоже смотрел на меня с улыбкой, явно стесняясь вступить в разговор.

— Послушай, парень, я вроде бы тебя знаю?

— Знаете, господин доктор, нам доводилось встречаться, — ответил он с той же застенчивой улыбкой.

— Где?

— В селе Горни-Богров. Вы у нас ночевали.

Я вспомнил. Полюбопытствовал, как он попал в город. Стоичко сказал, что уже целый год служит рассыльным в министерстве. Я хотел было спросить его, как поживает дед Мине, пожурить за то, что забросил хозяйство, отцовские нивы, раздружил с честным трудом пахаря и напялил на себя этот унижительный лакейский мундир, но меня позвали к больному, и я вышел. Кусок свинца, казалось, засел у меня в сердце после этой встречи. Я просто не мог себе представить того, прежнего Стоичко в форме рассыльного, он рисовался мне таким, каким я видел его раньше: в опрятной поношенной крестьянской одежде — шароварах домотканого сукна и поршнях, — держась за чапыги рала, благородного, честного рала, он шагал в черной борозде по ниве, дающей обильные урожаи благодаря его крепким мышцам и пролитому поту; я видел, как он приветливо машет рукой — просто, с улыбкой, как равный равному, как свободный человек. Что за недруг искусил его, привел сюда, в столицу, сунул ему в руки книгу рассыльного, тогда как они, эти руки, нужны его отцу, Болгарии, в них нуждается болгарский производительный труд! Дьявольщина да и только!

3

Я встретил Стоичко и в третий раз. Он брел по улице в простой одежде, без золотых пуговиц, оборванный, осунувшийся, хмурый. Я подошел к нему, заговорил. Он пожаловался, что его уволили со службы. Попросил, чтобы я порекомендовал его куда-нибудь на должность рассыльного.

— Ничего я для тебя не сделаю, поезжай к отцу!.. Жив отец-то?

— Жив, — ответил он с виноватым видом.

— Кто ему помогает?

Стоичко промолчал.

— Отчего бы тебе не поехать к отцу, не заняться хозяйством? Зачем тебе служба?

Он пожал плечами, опустил голову и отошел. Вне всякого сомнения

этот несчастный пристрастился к праздной жизни, ему не хотелось трудиться... Отходя, он бросил на меня многозначительный взгляд, исполненный вызова, как бы говоря: «А ты-то сам почему не пашешь?» Да, я понял: передо мной уже не прежний Стоичко, а совсем другой человек, пропащий и испорченный. Я спрашивал себя: кто в этом повинен? Кто заманил его сюда из села мнотить толпы голодных бездельников, что осаждают казенный пирог, точно мухи падаль? Печальные мысли овладели мной. Я думал о старом Мине, о том, каково ему, дряхлому, изнуренному, было остаться без единственного сына. Бедный, несчастный старик! Кто теперь печется о его поле?

4

Прошло не помню сколько времени — два или три года, я больше не встречал Стоичко и решил, что парню опостылела бродяжья жизнь, он уехал в село и взялся за отцовское ремесло. Эта мысль тешила меня. Мне хотелось отправиться на охоту в те места, навестить старика, своими глазами увериться, что его блудный сын вернулся к исполнению своего долга, к честному, благородному труду крестьянина. И от души порадоваться за него, как за сына. Но однажды, возвращаясь от больного, я увидел на площади возле церкви Святого Краля шумный митинг против правительства. Толпа ревела: «Долой!» «Давай» «Ура!» Потом заколебалась и с неистовыми криками хлынула, точно река, в одну из улиц. Пьяная лавина толкнула меня, я чуть не упал. А обернувшись, увидел Стоичко. Озверелого, неузнаваемого. Он горланил громче всех. А сам был весь в лохмотьях!.. Узнал он меня или нет — не могу сказать, но я сделал вид, что знать его не знаю... Скотина! Значит, он никуда не уехал! И ударился в политику! Мне стало горько, я весь кипел негодованием. Ах, эта наша столица — злой Минотавр: кто попадет в ее чрево, тот навеки пропал. Вся дорогу до самого дома у меня в ушах звучал рев Стоичко.

5

Спустя некоторое время как-то случилось мне побывать в селе Горни-Богров. Я первым делом направился к дому деда Мине и узнал, что его уже нет и живых. Несладко жилось старику после ухода сына, год тому назад он умер. Старая Миневица, больная, немощная, увидев меня, заплакала, запричитала по сыну, как по покойнику. Я не знал, что ей сказать: Стоичко и впрямь был мертв для своих родителей и для самого себя... Наутро я, не подстрелив ни одной утки, отправился в Софию. При выходе из села по старой памяти посмотрел налево и увидел поле деда Мине. Зброшенное, сплошь заросшее бурьяном и колючим кустарником, оно превратилось в пустырь. Поле напомнило мне мертвеца, и я чуть не заплакал... И опять в памяти воскресло светлое видение. Ловкий, проворный Стоичко машет мне рукой. Веселый, независимый, он бороздит землю ралом — честным, благородным болгарским ралом. Где он теперь? Никогда больше не добывать ему хлеб насущный с этого поля. Пока жив, он будет добывать его криками «ура» и «долой».

София, 1900 г.

Отвергнутый марш

(Воспоминание о России)

Не успели мы войти в фойе театра, как нам навстречу бросился г-н Кривцов и торопливо сказал:

— Господа, большая неприятность!

— Какая? — спросили мы в один голос.

— Вероятно, это какое-то недоразумение! — воскликнул он. Его лицо, озаренное светом бра, выражало озадаченность и тревогу.

— Что, может, переносят концерт?

— Нет. Подойдите и сами увидите! — сказал Кривцов, указав рукой в сторону висевшей на стене афиши.

Мы подошли и принялись читать. Это была программа музыкального вечера. Она включала марши и гимны славянских народов в исполнении капеллы Славянского¹¹⁵. Первым значился русский гимн «Боже, царя храни», а дальше шли все остальные. Наш гимн — «Шумит Марица»¹¹⁶ находился где-то посередине.

Через эти два слова кто-то провел жирную черту синим карандашом, вымарав их.

Мы так и остолбенели.

Сцена эта происходила вечером 18 июля 1888 года в фойе Киевского театра русской драмы. В тот день завершались семидневные празднества в Киеве в ознаменование девятисотой годовщины (15 июля) со дня крещения русского народа. На юбилей съехалось огромное множество народа; прибыли представители со всех концов России — от официальных властей, высшего духовенства, интеллигенции; депутации из всех славянских стран, представленные видными гражданами, публицистами, политическими деятелями, писателями, поэтами. Народы и правительства славянских земель выразили желание принять живое участие в этом братском празднике, чтобы подтвердить верность кровным духовным узам с великой Россией, воздать ей дань уважения, придать большую торжественность ознаменованию одного из величайших событий в жизни русского народа. На праздник прибыли и депутации из неславянских стран с православным населением — Румынии, Греции, Абиссинии. Из Англии — от англиканской церкви. Из Японии — от православных японцев. Только из Болгарии, из православной Болгарии, освобожденной русской кровью, не ожидалось никого.

Верное своей антирусской политике, тогдашнее болгарское правительство не только ничего не сделало, чтобы Болгария была представлена на празднике, но и постаралось не допустить этого. Неучастие Болгарии в этом братском, всероссийском, можно сказать, всеславянском торжестве было ужасной нелепостью, дурным примером для остальных славян, позором для нас.

Ухудшение отношений с Россией не должно было помешать Болгарии выполнить свой долг вежливости, свой человеческий долг: политика

115 Капелла Славянского — Создана известным певцом народных песен Д. А. Славянским; в 60-е годы капелла предприняла успешное турне по Европе, в 1897 г. гастролировала в Болгарии.

116 «Шумит Марица» — популярная песня, исполнявшаяся с 1886 г. роль гимна; текст и первая редакция песни принадлежат Н. Живкову, мелодия заимствована из популярной в свое время немецкой песни.

момента не могла служить оправданием пренебрежения, которое в данном случае оборачивалось новым неслыханным оскорблением, примыкавшим к веренице предыдущих...

Когда в самый канун юбилея болгарским эмигрантам в Константинополе и Одессе стало известно, что от Болгарии никого не будет, что она предпочитает отмалчиваться и что даже экзархия не пошлет своих представителей, они решили исполнить свой долг. В Киев немедленно выехала депутация во главе со старым Цанковым¹¹⁷, в которую вошли видные представители эмиграции из этих городов. Эта депутация, в которой имел честь состоять и я¹¹⁸, не получившая полномочий ни от правительства, ни от народа Болгарии, прибыла на юбилей как болгарская депутация. Скандала удалось избежать.

Юбилей был отпразднован с необычайной пышностью и великолепием, с небывалой торжественностью. Киев, украшенный флагами, а вечерами иллюминированный, приобрел праздничный вид: улицы города кишели людьми, добросердечный русский народ с почетом и радостным умилением приветствовал посланцев славянских стран, на груди у которых сверкали золотые жетоны. Памятная юбилейная неделя была заполнена молебнами, водокроплениями, шествиями к Днепру, на место, где некогда святой князь Владимир крестил свой народ; военными парадами, обедами, речами, увеселительными прогулками по реке на пароходах с музыкой, громом пушек и звоном колоколов, посещениями монастырей и скитов, приютившихся в лесах окрест Киева, официальными приемами.

Нас везде встречали с любовью. Русские, славящиеся своим гостеприимством, превзошли самих себя в старании уважить дорогих славянских братьев, обласкать их, проявить внимание и почитание, чтобы в их сердцах навсегда запечатлелись неизгладимые воспоминания о кратковременном пребывании в стенах «матери городов русских» и о событии, которое их сюда привело.

Я никогда не забуду этих дней.

Были, однако, у нас, членов болгарской депутации, и минуты огорчений. В отношении к Болгарии чувствовался некий холодок, особенно заметный во влиятельных русских кругах. При всей исключительности и чрезвычайности момента было ясно, что в душе русских живут обида и огорчение, вызванные поведением Болгарии, неблагодарностью освобожденного народа по отношению к своим освободителям (в данном

117 Старый Цанков. — Драган Цанков (1828–1911), общественный и политический деятель до и после освобождения страны.

118 В нее входили также господа М. Маджаров, С. Бобчев, А. Люцканов, Светослав Миларов (политические и общественные деятели, русофилы), старший брат Цанкова дед Константин (он и еще один болгарин приехали из Румынии как депутаты от тамошних болгар), капитан Бахчеванов, Д. Брычков и еще двое-трое эмигрантов, чьи имена я запомнил. С нами был и македонец из Дебырской околии в крестьянской одежде своего края, приехавший в Киев по частному делу, которого сперва заполучила сербская депутация (сербь водили его повсюду с агитационной целью, им хотелось убедить русских, что македонцы — те же сербы) и которого мы потом перетянули к себе. А 16 июля к нам присоединились прибывший из Харькова г-н профессор Дринов и г-н А. В. Ракшеев, депутат от Одесского болгарского попечительства (Прим. автора.) Одесское попечительство — общественная благотворительная организация болгарских эмигрантов, созданная в 1884 г. С ее помощью в русских учебных заведениях получили образование десятки болгар, многие болгарские училища были снабжены учебной литературой, а болгарские церкви — славянскими богослужебными книгами. Наряду с просветительскими целями имело целью создание с помощью России болгарского независимого конституционного княжества: придерживалось либерально-буржуазной идеологии.

случае, в представлении русских понятия болгарский «народ» и болгарское «правительство» сливались воедино, отождествлялись). Поводом для такого отношения послужила цепь прискорбных событий и разочарование в преданности болгарского народа. Мы это особенно ясно чувствовали, сравнивая отношение к нам и к сербской депутации, состоявшей из двух десятков сербов, прибывших главным образом из Белграда. В нее входили митрополит Михаил, генерал Груич и сам Пашич¹¹⁹. Русские относились к ним с особой теплотой и благорасположением, что являлось отражением новых веяний в русском обществе. Симпатии к Сербии росли по мере того как Болгария теряла их; это сквозило в печати и в русской политике, чувствовалось в настроении интеллигенции и народа... Холодок проник повсюду, поколебав совесть самых стойких наших друзей. Болгария лишилась благосклонности России — симпатии последней, по всему видно, были перенесены на Сербию.

Итак, 18 июля в Киеве устраивался музыкальный вечер, как бы эпилог празднеств. Этот вечер устраивался в честь славянских гостей, и все они были приглашены. Мы знали, что знаменитый хор Славянского будет петь национальные гимны всех славянских народов. Славянская душа выльется в упоительные звуки, и ее струны затрепещут в опьяняющем чувстве любви, братства, взаимности, высоких исторических идеалов, подвластные волшебной силе славянской музыки...

Легко понять нашу растерянность при виде того, что болгарский исторический марш, один из всех, был отвергнут, «изгнан» из программы, признан недостойным звучать в концерте наряду с остальными славянскими песнями.

Обида была жестока, от нее веяло презрением, брошенным в лицо Болгарии на виду у всего славянства; мы стояли, сокрушенно переглядываясь, и спрашивали друг друга, удобно ли нам после этого присутствовать на концерте.

Бедняга Кривцов сгорал со стыда, лоб его покрылся испариной. Русский до корня волос, член славянского благотворительного общества в Одессе, он был пламенным болгарофилом, добрым гением тамошних эмигрантов. Будучи членом русской депутации своего города, он добровольно взвалил на свои плечи бремя оказывать нам всяческое содействие.

Приближалось начало концерта; последние посетители входили в фойе и, поздоровавшись с нами, направлялись в зал. Некоторые останавливались и пробегали глазами афишу, после чего мы замечали (а может, это нам только казалось) на их лицах тень недоумения...

Мы стояли в нерешительности, вполголоса переговариваясь.

Старый Цанков сердито ворчал:

— Лучше бы уж не вписывали в программу этой штуковины... А то написали «Шумит Марица», а потом взяли да вымарали. Срамотища да и только!

— Нас, болгар, выставили на посмешище перед всем светом, — возмущался депутат из Дебыра.

— Распорядителей... Надо найти распорядителей! — воскликнул

119 Пашич — Никола Пашич (1845–1926), сербский политический и государственный деятель.

Кривцов. — Надо выяснить это... недоразумение. Это невозможно!

Трудно сказать, кто был больше поражен случившимся, — мы или он; на его полном, открытом и красивом лице застыли горечь и негодование.

— Господа, будьте добры, подождите меня здесь, я сейчас вернусь... Посмотрим, кому мы обязаны таким безобразием. Это, господа, пощечина не вам, а нашему русскому гостеприимству, — сказал он и отошел.

Мы с нетерпением стали ждать его возвращения. Спустя некоторое время Кривцов вернулся.

— Господа, — пробормотал он, вытирая платком потное лицо, — входите, пожалуйста, вам отведены ложи в первом ярусе.

— А как же быть с гимном?

Он махнул рукой. И, понизив голос, объяснил нам, что болгарский марш вычеркнут из программы отнюдь не с целью обидеть нас, а по соображениям иного, деликатного свойства, и передал нам извинения организационного комитета. Кривцов успокаивал нас довольно долго, так и не объяснив толком, в чем заключались эти соображения, наверное, ему было неудобно сказать правду. Но мы продолжали настаивать, и он вынужден был признаться, что гимн «Шумит Марица» пришлось убрать, чтобы не задеть кое-чьих чувств и самолюбия. О чьих чувствах и самолюбии шла речь, мы сразу догадались: было ясно, что это делается в угоду сербам. То ли сами они выразили свои претензии, восприняв наш гимн, под звуки которого два с половиной года тому назад болгарские знамена реяли на сербской земле, как гнетущее напоминание об их поруганной чести, то ли распорядители праздника по собственному почину, из чувства чрезмерной деликатности по отношению к гостям из Сербии приняли такое решение, мы так и не узнали. Кривцов дал нам понять, что не обошлось без вмешательства более высокой инстанции. Нам не трудно было поверить в это, имея в виду признаки охлаждения и недовольства Болгарией, о которых шла речь выше.

Кривцов всячески успокаивал нас, уговаривал войти в зал. Он говорил о том, что отсутствие болгарской делегации произведет плохое впечатление, что может выйти скандал, что мы поставим в трудное положение хозяев и в первую очередь его самого. Он просил нас не обижаться, войти в положение, он умолял, советовал не падать духом.

Взвесив все это, мы сочли благоразумным послушаться его и заняли отведенные нам места.

Не успели мы рассестись — каждый с камнем на сердце — в своих ложах, как занавес поднялся и на сцену вышел мужчина, русский, если не ошибаюсь, профессор, и начал читать лекцию об огромном историческом значении для России события, годовщина которого отмечалась. Он кончил свое выступление под дружные рукоплескания всего театра, три яруса лож и партер которого были до отказа заполнены гостями-славянами и русскими. Среди последних выделялись председатель благотворительного славянского общества Петербурга граф Игнатъев, генеральный прокурор Святого синода г-н Победоносцев, г-н Саблер, его помощник г-н Витте, проф. Ламанский, проф. Антонович, абиссинский герой Ашинов, сопровождающий абиссинского патриарха и темнокожую абиссинскую принцессу, внучку Менелика¹²⁰, представлявших на празднестве империю

120 Менелик — Менелик II (1844–1913), император Эфиопии. Получил большую популярность в Болгарии

последнего; были и другие знатные и известные особы.

Громкими овациями публика встретила появление на сцене Славянского, одетого в богатый костюм древнерусского боярина, его жены и дочери.

Вначале хор спел русский гимн, который публика выслушала стоя. Когда он кончил, зал разразился восторженными рукоплесканиями. После небольшого антракта Славянский опять вышел на сцену и спел чешский марш, и зал опять бурно зааплодировал; затем последовал новый перерыв и новый славянский гимн. Так были исполнены все включенные в программу песни за исключением опального болгарского марша.

Это обстоятельство мешало нам присоединиться ко всеобщему энтузиазму, возвыситься сердцами до восторга остальных гостей, которые с трепетным волнением внимали родным славянским мелодиям в этом интимном, почти семейном славянском собрании. Мы рукоплескали вместе со всеми, но на душе было тяжело, смутно, мы сидели, как в воду опущенные.

Вот уже Славянский вышел кланяться в последний раз, слушатели, наградив его еще более продолжительными и горячими рукоплесканиями, зашевелились, собираясь покинуть зал, как вдруг в одном из первых рядов партера поднялся Ашинов с его странным, очень светлым, женоподобным лицом, обрамленным шелковистой русой бородой, в нарядной черкеске, с абиссинским орденом на груди; он встал и выкрикнул тонким визгливым голосом:

— Шумит Марица!

Все взоры обратились к нему.

Шум смолк.

Славянский стоял на сцене с видом недоумения.

— Шумит Марица! — Закричал какой-то старый генерал из средних кресел партера.

Возглас «Шумит Марица!» был подхвачен и другими присутствующими; он был повторен довольно внятно с мест, где сидели депутаты; особенно громко кричали чехи и русские офицеры. И вот уже весь зал гремел:

— Шумит Марица!

Вняв этому общему пожеланию, выраженному столь неожиданно и столь дружно, Славянский повернулся к хору, подал знак, и среди воцарившейся тишины зазвучали слова болгарского марша.

Можете представить себе, какие чувства испытывали мы, болгары. Мы встали и, дрожа от непередаваемого волнения и счастья, исполненные святой гордости, слушали наш дорогой, прославленный марш; мы чувствовали, что на наши ложи, особенно на ложу, в которой сидел старый Цанков, устремлено множество сочувственных взглядов. Хор пел стройно, с воодушевлением; эта песня, написанная на слащаво-игривый немецкий мотив, прозвучала с потрясающей силой, навевая воспоминания о днях борьбы, о знаменательных событиях. Эта песня, гремевшая в дыму сражений под аккомпанемент победоносного, триумфального «ура», всколыхнула до дна наши истерзанные унижениями души изгнанников.

Она, казалось, выражала бурный протест против посягательства на болгарскую честь; она как бы выкристаллизовала в звуки все лучшее, все доброе, что было в нас, всю славу болгарского народа. В тех обстоятельствах, в те минуты она имела над нами неслыханную, магическую власть.

Когда хор допел первый куплет, после слов припева:

Марш, марш, генерал ты наш! —

слушатели повскакивали с мест, и своды зала содрогнулись от урагана рукоплесканий. Раздались возгласы «браво!», «ура!» Кривцов хлопал в ладоши и кричал «браво!» как одержимый... Взволнованный, уставший Славянский несколько раз низко поклонился. Разразился новый шквал аплодисментов, театр сотрясаясь от возгласов «бис!» Волшебная сила этой песни пленила сердца и остальных слушателей, затронув, вероятно, иные нотки с той же чарующей силой.

Хор повторил первый куплет:

Шумит Марица,
черна от крови,
вдова рыдает,
убита горем.

Марш, марш, генерал ты наш.

Новый взрыв рукоплесканий заглушил последние слова припева, снова грянуло многоголосое «бис». И хор запел наш марш в третий раз, тогда как все остальные исполнялись по разу! Что такое? Мы ничего не понимали. Казалось, публика своим горячим сочувствием старалась возместить испытанное нами огорчение, как будто она знала... Да, это был триумф! Кривцов рядом со мной стоял, как окаменелый. Я еще раз взглянул на него. Бедняга утирал слезы. Все взоры были обращены на нас. Славянский кончил петь под гром оваций; партер и ложи приветствовали нас взглядами, в которых светились теплые улыбки. Граф Игнатьев, весь сияя, приветливо помахал нам рукой; многие русские подходили к нашей ложе и протягивали вверх руки, как бы намереваясь пожать наши; генерал, что вслед за Ашиновым выкрикнул: «Шумит Марица!», устремился в нашу ложу; по его морщинистым щекам катились слезы, а он, горячо пожимая нам руки, твердил:

— Господа! Поймите! Это дорого нам, русским людям. Под эти звуки я водил болгарскую дружину в бой под Стара-Загорой, и сейчас в старом сердце воскресли незабываемые воспоминания...

Но самым радостным, самым счастливым и растроганным был Кривцов. В его взгляде светилось торжество. Прерываемым от сильного волнения голосом он произнес:

— Господа, вы понимаете, что все это означает? Это любовь, вспыхнувшая неудержимо. Сердца, отвернувшиеся от Болгарии, наглухо закрытые, распахнулись, запылали от первой же искры. Мы и хотели бы сердиться на вас, ненавидеть вас, но не можем... И если мы делаем вид, что ненавидим вас, вы знайте: мы вас любим, любим против своей воли... За вас голосует наше сердце, голосует кровь русского человека, пролитая ради вас... Узы, соединяющие нас и вас, неразрывны, взаимная симпатия —

бессмертна... Помните это всегда, расскажите об этом у себя, когда вернетесь!

Этот русский человек, так сильно болевший за нас перед началом концерта, радовался больше нашего неслыханному триумфу отвергнутого, вычеркнутого из программы гимна «Шумит Марица», радовался победе изгнанника.

Правда, он тоже кое-что сделал для этой победы: это он шепнул несколько слов неустрашимому казаку, который задал тон. Кривцов хорошо знал русскую душу — добрую, любящую, возвышенную, такой была и его душа.

Он умер несколько лет тому назад. Царство небесное этому доброму русскому человеку!

София, 19 декабря 1890 г.

Урок

Обежав с душераздирающим скрежетом садик вокруг старого памятника царю-освободителю, княжевский трамвай опять покати́л прямо на юго-запад.

Передо мной развернулась во всем своем обаянии дивная панорама зеленой равнины и благородных могучих очертаний Витоши на небосклоне.

Я не мог оторвать глаз от этого волшебного зрелища, столько раз виденного, но все такого же нового и дорогого моему сердцу.

Вдруг в музыку моих чувств, навеянную неповторимой болгарской природой, грубым диссонансом ворвался немецкий говор. Тут я заметил компанию, занимавшую в первом классе трамвайного вагона две расположенные друг против друга скамьи. На ближней, спиной ко мне, сидели три дамы: одна пожилая и две молодые, — худенькие, бледные, черноволосые болгарки в модных летних нарядах. Я никогда не встречал их, но по изяществу их костюмов и манер видно было, что они принадлежат к избранному столичному обществу.

Против них сидел молодой человек с русыми усами, румяный, голубоглазый и тоже изящно одетый. Он был немец — близкий знакомый или, может быть, родственник, судя по непринужденному дружескому обращению. Короткий разговор его с кондуктором показал мне, что он неплохо владеет болгарским языком. В ногах у них вертелась резвая белая собачонка.

Обе молодые дамы, без умолку щебетавшие по-немецки со своим кавалером, явно наслаждаясь этим, бросали на окружающих дерзкие взгляды, как будто — так мне показалось по крайней мере — испытывали тщеславную гордость, болтая на языке культурного народа, чуждом и непонятном нескольким болгарам, сидевшим на соседних скамьях. До болгарского они нисходили лишь в тех случаях, когда обращались к старой даме да к собачонке, которая не понимала по-немецки.

Во всем этом не было ничего удивительного. Но, слушая их и глядя на них, таких самодовольных и надменных, я почему-то испытал чувство неприязни, какого-то нерасположения к этим европеизированным

болгаркам, без нужды пренебрегающим родным языком. Я, может быть, не обратил бы внимания на их поведение или даже извинил бы его, если бы тщеславие этих модниц оправдывалось их красотой: увы, красота искупает множество недостатков! Прошу их великодушно простить мне это грешное признание — в случае, если данные строки случайно попадутся им на глаза и если только они... еще не разучились читать по-болгарски.

Трамвай остановился на минуту среди поля — там, где начинаются новые сады и дачи. Из одной выбежал какой-то болгарин и, вскочив на ходу, сел возле немца. Это был пожилой человек с небритым, почернелым от солнца лицом, старомодно и бедно одетый. По выпачканной землей одежде в нем можно было узнать земледельца.

Немец вежливо потеснился. Молодые болгарки поморщились от такого неприятного соседства, и одна сказала кавалеру по-немецки:

— Пересядьте к нам!

Представляю, как смутился бы бедный болгарин, если бы тот, послушавшись дамы, сбежал от него. Но немец ответил с улыбкой:

— Ведь мы с вами как будто сторонники демократии?

И не стал пересаживаться.

Дама, слегка задетая этой тонкой укоризной под видом шутки, кисло улыбнулась.

Ее подруга сердито проворчала — тоже по-немецки:

— Этот деревенщина, видно, не знает, что здесь — первый класс. А во втором есть свободные места...

Мне стало обидно, что эти аристократизированные болгарки, отцы которых стояли за прилавком бакалейной лавчонки либо ходили за сохой, не стыдятся открыто выказывать перед иностранцем свое презрение к соотечественнику, наверно, честному и уж конечно куда более полезному для общества, чем эти ветреные, пустые куклы, душой и сердцем чуждые болгарской земле, которой он отдавал все свои силы. Их утонченные вкусы оскорбляла грубая внешность небритого труженика-болгарина, осмелившегося сесть рядом с ними на том основании, что он тоже уплатил за проезд. Я видел, какие презрительные взгляды метали их черные глаза в его сторону: таким способом мстили они ему за его невоспитанность.

А болгарин сидел молча, как будто ничего не замечая. Было ясно: он ничего не понимает по-немецки и даже не подозревает, что речь идет о нем... А может, все-таки догадывается об этом? Я заметил, что при первых недоброжелательных словах дамы у него нервно задергалась щека. Или это было случайное совпадение? Но потом он всю дорогу смотрел в окно на поля.

Долго не мог подавить я чувство негодования, вызванное этим отсутствием доброты и деликатности, столь свойственных мягкой женской природе. И подумал опять: какие они некрасивые! Уж не это ли заставляет их быть злыми? Ведь как часто красивое лицо говорит о духовной красоте, благородстве! Видимо, в данном случае теория о гармонии физического и духовного подтверждалась.

После минутной заминки веселая немецкая болтовня продолжалась до самого Павлово. Там трамвай остановился. В тот самый момент, когда болгарин поднялся, чтобы выходить, дама, обозвавшая его «деревенщиной», нечаянно уронила свой красный зонтик. Болгарин

поднял его и, любезно подавая даме, произнес подчеркнуто по-немецки же:

— Fräuleine, bitte, nehmen Sie ihren Schirm!¹²¹

Молодая болгарка, как и ее подруга, вспыхнула до корней волос; дрожащей рукой взяла она зонтик, забыв даже поблагодарить незнакомца.

Напрасно немец старался завязать разговор, чтобы вывести дам из неловкого положения: красные от стыда, они не раскрывали рта до самого Княжево.

Мне до сих пор не довелось встретить того болгарина и крепко, от всего сердца, пожать ему руку за тот урок человечности, который он преподавал «цивилизованным» болгаркам.

1902 г.

Безвестный герой

(Рассказ о смутных временах)

I

Ненко вернулся домой поздно. И в этот вечер он опять пришел хмурый, сердитый. Он был еще не стар, но похож на старика: спина согнута, лоб покрыт морщинами — следами забот; взгляд печальный, убитый; поступь тяжелая, медленная, как у больного; на лице — оттенок строгости, печать долгих скорбей и постоянных огорчений.

Прикрикнув на шумевших во дворе ребят, он вошел в одну из двух занимаемых им комнат. Там уже горела маленькая керосиновая лампа. На постели в углу лежала жена — с молодым, но изможденным лицом. Девочка в рваном платке давала ей пить из глиняного горшка.

При виде входящего мужа женщина приподняла голову и слабым голосом спросила:

— Ну как, Ненко?

Он кинул шапку на лавку, тяжело опустился на сундук и мрачно подпер голову руками, не произнося ни слова.

Жена поняла.

— Опять ничего? — с болью прошептала она.

— Как ты? — резко спросил он, вставая.

— Все так же, — был ответ.

— Не легче от нового лекарства?

— Да мы еще не покупали.

Ненко сердито повернулся к девочке.

— Я дал тебе лев, Дела. Куда ты его девала?

Дочь что-то пробормотала и заплакала.

— Послушай, не сердись, Ненко, — побледнев, промолвила больная. — Мы на пол-лева хлеба купили, потому что — знаешь?.. Ребят не уговоришь... А на другую половину — керосину и мыла...

Ненко отвернулся: лицо его изобразило жестокую муку. Он зашагал взад и вперед по комнате, опустив взгляд в землю.

— А завтра опять деньги доставать... Восемь ртов — и ни гроша

121 Возьмите, пожалуйста, свой зонтик, сударыня! (нем.)

ломаного в доме, — проворчал он.

— Господи! — застонала больная. — Что же мне с ними делать? Завтра опять заревут: есть давай!.. Пока здорова была, хоть малость зарабатывала... А только вот свалилась — и что делать, не знаю. Погоди, Ненко, погоди... Когда ты такой печальный, а я двинуться не могу... Погоди, погоди, Ненко...

— Чего годить-то, Ана? Я столько времени во все двери стучу — и хоть бы что... Бай Филипп хотел меня сборщиком пошлины устроить, а другого назначили...

— Что может бай Филипп? Мещанин простой. Ты сильных держись, Ненко... Ступай опять к господину Хайкову.

Ненко нахмурился.

— К Хайкову? Не пойду: когда ни придешь — только «может быть» да «подумаю». Не до меня ему! Я ему нужен был, когда надо было его в депутаты выбирать... Тогда чего только мне не обещал, лишь бы Стояна Кунчова свалить! А теперь?.. О нищем и господь бог забывает.

— Сходи завтра еще раз, — возразила жена. — Он мне сказал, что постарается... Он может; он сильный...

Ненко надел шапку и пошел к двери.

— Куда ты?

— Пойду опять к бай Филиппу. Он теперь в лавке... Попрошу у него займы. Завтра на лекарство нужно, на то, на другое.

— Дай бог счастья этому человеку: жалеет нас, не оставляет. Как к родному сыну к тебе относится, Ненко.

— Стыдно мне, Ана, к бай Филиппу ходить... Все-то я его обманываю, заплакать обещаю: дескать, не нынче — завтра работу найду... А он дает без отказа... Говорю тебе, просто стыдно. Да ведь тебя лечить нужно. Схожу еще раз, закрою глаза и схожу. А там хоть в тартарары!

И Ненко поспешно вышел вон.

II

Положение Ненко и в самом деле было очень тяжелым. Он впал в крайнюю нужду. Будь он одинок — полбеды: сам себя как-нибудь да прокормил бы. Но на руках у него была большая семья: шесть человек детей, из которых самому младшему пять месяцев, и больная жена, не встававшая с постели после родов. Ребятишки с утра до вечера просили есть, но часто оставались весь день голодными. А больная ничего не могла делать и не поправлялась. Говорят, своя ноша не тянет; но какая мука быть отцом многочисленного семейства и не иметь заработка! Ненко дошел до такой крайности после целого ряда неудач. Этот честный малый во время русско-турецкой войны занимался мелкой торговлей; но война, разорившая тысячи и тысячи болгар во Фракии, не пощадила и его. После ее окончания он вернулся в полуразрушенный родной город и с тех пор оставался там. Пробовал снова заняться торговлей или ремеслом, вообще каким-нибудь делом, — но за что ни брался, все валилось из рук; ему ни в чем не везло, его ничтожный капитал таял. За год до описываемых событий он закрыл свою лавчонку, задолжав при этом бай Филиппу. С тех пор он сидел совсем без работы и занимался поисками какой-нибудь службишки, чтобы прокормить себя и детей.

«Как ни крутись, как ни изворачивайся, ничего не выходит. Надо на

службу поступать, больше некуда податься. Покрупней меня торговцы так делали: закроют заведение и — на жалованье», — думал Ненко.

И стал искать места. Попробовал было поступить рассыльным в какую-нибудь канцелярию (будучи малограмотным, он не метил высоко), потом служащим на таможню или куда-нибудь на станцию, а под конец уж был бы рад, если б его поставили на дороге — пошлину за провозимый товар взимать. Но всюду занято. Правда, ему дважды удалось отыскать свободное место рассыльного, но в обоих случаях он получил отказ, так как не принадлежал к «защитникам отечества».

— Я разорился, — возражал он, но напрасно.

Таким-то образом уже больше полутора лет ходил он безработным, обивая пороги и стучась во все двери в поисках службы — все без толку. С каждым днем положение ухудшалось: из всех углов дома глядела сперва бедность, а теперь уже нищета. Жена круглые сутки без устали пряла, как машина, и вся семья существовала на ее скудный заработок. Но пять месяцев тому назад она слегла — и с тех пор голод стал частым гостем в доме... Ненко весь день пропадал, возвращаясь лишь поздно вечером — пасмурный, туча тучей. При его появлении дети притихали. Они казались ему маленькими мучителями, тиранами, посланными ему от бога в наказание, с вечно открытыми в ожидании пищи ртами, а он им каким-то страшилищем с хмурой физиономией, от которого в доме становится мрачно, как в тюрьме, чьи голые стены давят и душат, но из них невозможно вырваться...

III

Видя, что отец ушел, дети шумно побежали в дом, к матери, каждый с куском хлеба в руке. Босые, оборванные, бледненькие, они жадно кусали хлеб. Окружив мать, устремили свои невинные, удивленные, грустные глаза на ее изнуренное долгой болезнью лицо. Она, полузакрыв глаза, ушла в свои думы. Тягостный разговор с мужем, еще раз показавший ей действительность во всей ее безотрадности и непоправимости, страшно расстроил и утомил ее. Ей хотелось отдохнуть, отрешиться от шума, поднимаемого непоседливыми ребятами. Дела хлопотала по хозяйству — то выйдет из комнаты, то вернется обратно. Но не ужин готовила для отца: отец дома не ел, с тех пор как заболела мать. Несмотря на малолетство, девочка под влиянием нужды рано научилась работать и терпеть, и теперь на ней лежала вся работа по дому и, кроме того, она ухаживала за больной, ходила на базар и покупала лекарства в аптеке, а также мало-помалу таскала к еврею Соломону последние кухонные принадлежности и предметы домашнего обихода... Но отсутствие в доме обстановки и пустота на полках ясно говорили, что тут давно уже нечего носить в заклад и продавать.

Вдруг дети замолчали и вспугнутой стайкой кинулись вон из дома: стукнула калитка, — наверно, опять отец. Это и вправду был Ненко с каким-то узелком в руке... И удивительное дело, у него совсем другое лицо! Озаренное доброй улыбкой, оно давно не было таким ласковым, приветливым.

— Анка, ты спишь? — спросил он больную,

Она открыла глаза и сейчас же заметила выражение его лица. Опершись на локоть, слегка приподнялась над подушкой.

— Я с доброй вестью, — продолжал он,
— Что? Бай Филипп?.. — взволнованно спросила она.

— Я у него был, но перед этим встретил господина Хайкова, и он мне вдруг говорит, что искал меня. Дескать, нашел тебе место, и это уж наверняка. Приходи, говорит, завтра в полицию.

Лицо больной посветлело.

— А какое место, Ненко?

— Жандарма! — ответил он.

Он произнес это без воодушевления. Видимо, работа была ему не по душе: он никогда не собирался быть жандармом.

И у жены радость на лице сменилась удивлением.

— Господину Хайкову удалось выхлопотать для меня это место, — прибавил Ненко. — Что ж, был торговцем, стану жандармом. Надо брать, ничего не поделаешь... Не воровать же идти... Спасибо и на том.

— Мать пресвятая богородица, в добрый час! — пробормотала Ана, взволнованно крестясь.

— Где ребята? Надо их позвать. Поужинаем вместе. Я тут купил кое-чего, — сказал Ненко, развязывая узелок.

— Ну-ка, Делка, кликни этих пострелов.

Ненко уже много месяцев дома ни разу не улыбался и не говорил детям ласковых слов. Теперь, когда ему улыбнулась судьба, в его добром сердце опять проснулись отцовская ласка и любовь к детям. Ребята, с удивленно раскрытыми, полными бесконечной детской радости глазами, окружили отца, который впервые за много месяцев, вместо злых взглядов и оплеух, оделял их нежными улыбками... Добро родит добро. Благодаря какому-то таинственному психическому воздействию мать тоже почувствовала себя лучше. Она приняла участие в ужине и с большим удовольствием выпила чашку славного винца, за которым Ненко послал Делу. Весь дом сиял в этот вечер общей искренней радостью: наконец-то в него заглянула надежда.

IV

Хотя новые обязанности и были не по душе Ненко, не по его характеру, он выполнял их толково и с усердием, понимая, что в этом спасение для него самого и для семьи. Это подстрекало его рвение и заставляло чуть не полюбить свою работу.

Вскоре начальство, заметив его энергию и сообразительность, стало наиболее важные поручения возлагать на него. Даже наружно Ненко как будто ожил, прибодрился, изменился: лицо посветлело, помолодело, взгляд стал уверенный, живой. Темно-желтая жандармская форма очень к нему шла, красиво облекая его расправившиеся плечи. Когда он приходил домой, дети в восторге кидались к нему — потрогать красные аксельбанты и поддержать в руках тяжелую саблю. Они испытывали безмерную радость, видя отца в этом ярком «капитанском» мундире. Даже Ана стала полегоньку поправляться: она уже бродила по дому, понемногу бралась за работу.

На первое жалованье Ненко заштопал кое-какие дыры: в доме появились разные необходимые предметы, и каждый вечер, когда Ненко не дежурил, его ждал ужин на столе; а из следующего он рассчитывал вернуть долг бай Филиппу. Благодаря разумному распределению

маленького заработка хозяйство Ненко быстро становилось на ноги. И он все больше увлекался работой, вносившей столько света в его темное и многотрудное существование. Ретивость подогревалась в нем также хорошим отношением к нему пристава, его непосредственного начальника, человека строгого, но справедливого.

На второй месяц дела пошли еще лучше. Прежнее предубеждение Ненко против службы в полиции совсем исчезло. Он понял, что отныне это — его профессия, и решил крепко за нее держаться. Но через две недели на горизонте появилась туча: на место прежнего пристава назначили другого. Он оказался грубым и жестоким самодуром. Не обладая ни способностями своего предшественника, ни его чувством справедливости, он не мог оценить своих подчиненных по достоинству и внушить им симпатию к себе: он сумел внушить им только страх... Но они заметили, что новый пристав сильнее прежнего, так как позволяет себе разный произвол, не опасаясь ответственности; видно, имеет поддержку где-то наверху. Ненко утроил энергию и усердие, чтобы не подать ни малейшего повода к недовольству. Он безропотно сносил все придирки и обиды нового начальника. Возмущался, но мирился со всем. Призрак былой нищеты пугал его, заставляя терпеть нынешние невзгоды, Они так ничтожны по сравнению с прежними. И он совсем забывал о них, как только попадал домой, в свою семью, для которой был теперь провидением. Домашняя обстановка вытесняла из сознания холодный, мрачный участок. И Ненково существование текло опять тихо, почти безмятежно.

V

Третий месяц службы Ненко в полиции, — а он пришелся на август 1886 года — был ознаменован, как известно, политическими смутами¹²², оказавшими огромное влияние и на его судьбу.

Работа полиции приобрела лихорадочный, бурный характер. Все места заключения и участки, в том числе и участок Ненко, — были полны арестованных. Ненко усердствовал в этом деле как только мог. Никого не было расторопней. Человек простой и в гражданском отношении очень мало развитый, он плохо разбирался в сложных событиях, в которых и ему выпала маленькая роль. Он видел в них только удобный повод развить еще более энергичную деятельность и этим добиться расположения начальника. Какие-либо другие нравственные побуждения или политические мотивы были ему чужды. «Политика — для господ, а мы, люди маленькие, должны исполнять, что прикажут, и дорожить куском хлеба, который дает государство», — думал Ненко. Целую неделю он падал, как коршун, на всех, кого ему указывал пристав. В нем проснулся инстинкт легавой: ему доставляла наслаждение эта охота на людей. Один только случай огорчил его: ему пришлось отвести в тюрьму бай Филиппа, который так выручал его в трудные времена. Когда он вечером рассказал об этом жене, она страшно рассердилась, но потом тоже признала, что Ненко ничего другого не оставалось: приказ есть приказ! Вообще же в эти тревожные дни Ненко мало бывал дома: закусит наскоро и быстрее в

¹²² ...ознаменован, как известно, политическими смутами... — Имеется в виду низложение группой офицеров-русофилов князя Александра Баттенбергского (9 августа 1886 г.) и последовавший за ним контрпереворот.

участок, где его ждала куча дел, так что и ночевать приходилось там.

Как-то вечером, примерно через час после ужина и ухода Ненко обратно в участок, — только они собрались лечь, — кто-то постучал у калитки. Ана по стуку сразу узнала: это вернулся муж. «Что такое?» — подумала она.

— Дела, походи отвори отцу.

Ненко прошел по двору молча, не говоря ни слова вышедшей ему навстречу жене. В комнате, при свете лампы, она увидела, что лицо у него выражает растерянность и печаль, и с тревогой спросила, что случилось.

Он положил свою жандармскую фуражку на сундук, вытер обильный пот со лба и глубоко, тяжело вздохнул.

— Видно, опять много бегать пришлось. Ишь вспотел... Что такое, Ненко? — повторила она свой вопрос.

— Плохо, плохо, Ана. Лучше не спрашивай... — глухо промолвил он.

У Аны сердце сжалось от этих страшных слов. На глазах ее выступили слезы.

— Что такое? Неужто уволили? — спросила она упавшим голосом.

При виде ее страшной бледности Ненко испугался, даже вздрогнул,

— Нет, нет, Аил, — поспешил он ее успокоить. — Послушай...

— Нет? Так что же? Почему ты вернулся?..

И она вперила и нею полный муки горящий взгляд.

— Говорю тебе, нет, Ана... Ты послушай, — пробормотал он.

— Говори скорей, Ненко, в чем дело?

Он вздохнул долгим глубоким вздохом.

— Дело вот в чем, — начал он, встав и устремив решительный взгляд на бледное лицо жены. — Пристав только что вызывал меня в канцелярию... Вхожу — пьяный сидит, злющий, сатана сатаной, как всегда... «Ненко, говорит, сколько у нас человек в подвале?» — «Одиннадцать, господин пристав». — «А Стоян Кунчев там?» — «Так точно», — говорю. «Возьми, говорит, их всех оттуда, переведи в другое место, а Кунчева в подвале оставь». — «Слушаю, господин пристав. Они как раз нынче просили, чтоб их перевести. Задохлись, мол...» — «Зря не болтай, а слушай, что я тебе говорю: Кунчева одного оставишь в подвале. Руки связать». — «Слушаю, господин пристав». — «И вот еще что. Видишь эту палочку?» В угол показывает. Смотрю: а там не то что палочка — целая дубина... Начинаю понимать, к чему он речь клонит... — «Возьми, говорит, эту палочку; руки у тебя крепкие. И валяй, валяй, валяй, пока ни одной кости целой не останется. Понял?» У меня волосы на голове дыбом. «Виноват, господин пристав, говорю, я на такие дела не гожусь... Я торговлей занимался...» — «За каким чертом мне знать, чем ты занимался? Теперь ты отечеству служишь, а за отечество не то, что это, а жизнью жертвовать надо! Понимаешь, жизнью жертвовать за спасение отечества. А рассуждать вздумал — снимай сейчас же мундир и саблю!..» Глаза, как у зверя, горят. У меня голова кругом. Как же это? Бить человека дубиной, словно собаку! Что мне сделал Кунчев? Как поднять руку на ни в чем не повинного человека, грех такой на душу взять? Хотел я все это приставу сказать, да вижу, он совсем ошалел... Потом о тебе подумал, о детях: опять без куска хлеба останемся, коли прогонит меня... Как подумал об этом, Ана, небо с овчинку мне показалось. Думал, думал и решил: будь что

будет. Да...

Ненко замолчал, не договорив.

— Пошел в подвал бить человека? — в испуге воскликнула Ана.

Ненко взглянул на нее, как потерянный.

— А что было делать? — робко спросил он.

— Уйти со службы! — воскликнула Ана, пронзив его взглядом.

— Я так и сделал, жена. Бить не стал... И нам теперь — голод... — тихо промолвил Ненко.

— Да? Ну что ж. Я уже здорова, буду работать... Господь нас не оставит! — радостно, как ребенок, воскликнула Ана.

Но через две минуты, когда Ненко пошел в участок за своими вещами, у нее сжалось горло, и она, безумно рыдая, рухнула на пол: с завтрашнего дня опять голод, мученье и горе.

VI

На другой день между жандармами шел веселый разговор.

— Ну и дурак! — удивлялся один. — Плюнуть на заработок из-за Кунчевой задницы... А толк какой? Все равно Кунчев свое получил...

— Да еще как получил-то. До могилы память останется, — остроумно заметил другой.

— Экая пугливая баба, этот Ненчо!

— Уж не Кунчев ли теперь будет платить ему жалованье?

— Зато мы славно поработали. Я даже руку вывихнул, — промолвил смуглый сухопарый жандарм, вытягивая вперед правую руку.

— Сколько же палок Кунчеву вlepили? Вы считали?

— Я сперва считал, а потом бросил.

— А я все сосчитал, — отозвался молодой жандарм с еле пробивающимися усиками.

— Сколько же? Десять да шесть?

— Подымай выше, Христо, — промолвил с гордым видом молодой парень. — Ты был в Царьграде? Сколько раз там во время байрама пушка стреляет?..

— Сто один раз.

— Ну вот.

И молодой жандарм окинул товарищей победоносным взглядом.

— И все по голому телу?

— Да.

— Вроде как барабан из него сделали, — с громким, веселым смехом заметил один.

— Он и ревел, как турецкая труба, — отозвался другой.

— А за что били-то?

— Черт его знает. Хайков с приставом вечером о чем-то все шептались, а потом... Больно занятно мне было, как у него из шкуры красный фонтан прыскал...

Все засмеялись.

От этих приятных подробностей вернулись опять к Ненко: стали заглазно осыпать его насмешками и укоризнами за вчерашнюю глупость. И поделом!.. Ведь для этих людей было непонятно, просто уму непостижимо, как мог Ненко отказаться от места из-за такого пустяка, такой мелочи.

О, жестокие времена! Жестокое племя!

Героизм милосердия неведом душе твоей! Жестокость — элемент, присущий нашей болгарской натуре. Она проникла в нашу плоть и кровь вместе с первым дыханием жизни, вместе с отравленным молоком наших матерей-рабынь. Не говорите мне об исключительных временах; не оправдывайте политическими бурями, потрясавшими нашу страну, это ужасное свойство нашего народного характера. Ни одна европейская революция XIX века не отмечена такими беспощадными зверствами и подлыми жестокостями. Ни одна из этих революций не имеет ни Конарета, ни Старопатицы с их зверскими истязаниями! Текли кровавые реки, головы падали тысячами, рушились троны и царства, но события эти были только страшны, а не гнусны своей жестокостью. Убить вооруженного и опасного для тебя врага прощительно; тут естественный — жестокий, но естественный — закон самозащиты, хотя граф Толстой и такие поступки считает преступлением — делом, не совместимым с высоким идеалом христианства. Но истязать самому или заставлять других истязать связанную, беззащитную жертву без цели, без нужды, часто даже не зная ее, — это варварство каннибала, объяснимое только предельно низким культурным уровнем. Но поскольку мы — европейцы и прогрессивный народ, то чему же еще приписать наличие у нас этого отвратительного явления, как не врожденному нашей душе, пустившему в нас корни еще с детства чувству жестокости, безжалостности к ближнему? Недавно мы были свидетелями казни нескольких злодеев, которых повесили в столице. Знаете, кто совершил этот ужасный, отвратительный акт? Несколько жандармов, добровольно взявших на себя роль палачей... Некоторые из них, наверно, люди женатые, семейные и вечером без содрогания обнимают своих ни в чем не повинных деток теми самыми руками, которыми надевали петлю на шею одетого в позорный наряд висельника. Во Франции, где существует смертная казнь, властям пришлось бы изрядно попотеть, прежде чем найти за какое угодно вознаграждение охотников заменить официального палача, если бы тот вдруг исчез. Это жестокосердие свойственно у нас не только представителям низших слоев, деклассированным: оно характерно и для людей просвещенных, имеющих высшее образование!.. Не решаюсь приводить примеры: краска стыда покрывает мне лицо... «Гони природу в дверь, она войдет в окно», — гласит пословица. Так и у нас: книги, наука, идеология лишь на время усыпляют жестокие инстинкты в нашей душе, но не изгоняют их оттуда. Подобные перерождения совершаются не так-то легко; для этого должны потрудиться целые поколения. Нужны гигантские усилия для того, чтобы нравы этого народа смягчились, для того, чтобы те, кто носит саблю, и те, кто держит в руках книгу, поняли, что, прежде чем стать болгарами и тиграми, надо быть людьми. Я хотел бы, чтобы в наших школах, наряду с другими науками, преподавалась новая: о человеколюбии. Пусть великий принцип гуманности проникнет и в хижину, и во дворец, и в церковь. Вместо слов: «В единении сила» — девиза высокополитического, пусть над порогом Народного Собрания будет начертан кроткий призыв Иисуса Христа: «Любите друг друга!» — девиз высокочеловеческий.

К нам проникли из-за моря всякие новые прогрессивные теории: у нас есть либералы, есть сторонники социализма, есть поборники демократии, есть даже партии республиканская и радикальная. Неужели некому

основать партию милосердия?..

1891 г.

Гость-краснобай на казенном пиру

*«...легион имя мне,
потому что нас много».*

Евангелие от Марка, V, 9.

I

Пивная «Красный рак» была полна народа и в этот вечер. За всеми столиками в густых клубах табачного дыма сидели посетители, попивая пиво, громко разговаривая и смеясь. Лишь немногие читали газеты при тусклом свете висячих ламп. С каждой минутой, по мере того, как входили все новые и новые посетители, нарастал шум, выкрики: «Гарсон!» «Счет!» «Плачу!» — и стук кружек по столу. Ведь уже пробил час, когда кончался рабочий день в министерствах и присутственных местах, и толпы чиновников, хлынув на улицы, растекались во всех направлениях, вскоре исчезая в кофейнях, пивных, ресторанах, кабаках, кафешантанах и тому подобных столичных заведениях, этих бочках Данаид, которые поглощают одну восьмую болгарского народного дохода.

Шум и толкучка в пивной нарастали еще и потому, что в воздухе похолодало; резкий ветер беспощадно загонял всех в дома, и улицы пустели.

Входная дверь пивной то и дело открывалась и закрывалась, и вот в нее вошел высокий, прилично одетый господин с продолговатым, упитанным румяным лицом, выразившим крайнее довольство собой, и с черной бородой, подстриженной по моде. Он остановился у двери и, стягивая с правой руки черную перчатку, окинул взглядом пивную и стал всматриваться в посетителей, скучившихся у столиков. Вероятно, он искал или свободного места, или кого-то из сидевших здесь. Можно было догадаться и по его самоуверенному взгляду и по тому, как небрежно и непринужденно он себя держал, что здесь его знают, что он завсегдатай этого заведения, где каждый вечер его встречают все такой же шум и дым и все то же общество, так что ничто уже не может ни удивить его, ни стеснить.

Поглядев по сторонам, господин этот спустя полминуты покинул свой наблюдательный пост и быстро пошел между столиками в глубину зала, дружески кивая и подавая руку приятелям. Он остановился в углу, перед столиком, за которым сидели два человека. Старший из них, смуглолицый сухощавый муж чина с бородой, подстриженной «а ля Баттенберг», смотрел спокойно и немного насмешливо. Он был изящно одет и держал на коленях черный портфель, какие носят адвокаты. У его соседа, молодого человека в сером костюме из грубого домотканого сукна, было живое лицо, а взгляд застенчиво-удивленный и любопытный — очевидно, он не был столичным жителем, а приехал из провинции.

— Здравствуй, Балтов, — крикнул вошедший смуглолицему.

— А! Жорж! — Балтов встал и протянул руку новому посетителю в то время, как тот вешал свое пальто на гвоздь. — Что тебе заказать?

— Мерси, мерси... пожалуй, выпью рюмочку коньяку, совсем заоченел, — ответил Жорж и, придвинув стул, тяжело плюхнулся на него. Потом устремил глаза на молодого человека, который машинально взял со стола немецкую газету и стал ее просматривать, вероятно, чувствуя себя неловко оттого, что Балтов не познакомил его с Жоржем.

— Ах да, надо же вас познакомить! — сказал Балтов. — Аврамов, учитель из Добрича¹²³.

— Аврамов? Уж не брат ли нашего архивариуса Аврамова? Ведь он тоже из Добрича! Очень рад! — выкрикнул Жорж, перебив Балтова, так что тот даже не успел назвать его фамилию. — Аврамов — мой сослуживец, чудесный человек... Так, значит, вы его брат?

— Нет, мы не братья; в Добриче есть и другие Аврамовы, — застенчиво ответил провинциальный учитель и покраснел.

— Все равно... Очень приятно. Вы давно здесь?

— Он приехал третьего дня, — ответил Балтов.

— Кельнер!.. Еще два пива и один коньяк... А вы изволили приехать в столицу впервые?

— Впервые.

— Что же так — посреди зимы?

— Так уж получилось.

— Ну, и какое же впечатление произвела на вас София? — равнодушно, почти машинально спросил Жорж, разглядывая рисунки на объявлениях в немецкой газете.

— Замечательное впечатление, — ответил Аврамов с жаром.

— То есть как это замечательное? Чем же она вам понравилась? — произнес Жорж слегка недовольным и укоризненным тоном, положив газету на столик.

Аврамов немного смутился и ответил:

— Чем? Прежде всего мне понравились улицы, красивые здания, богатые магазины... Город уже стал походить на столицу...

— И культура наша тоже понравилась? — спросил Жорж со смехом.

Аврамов удивленно взглянул на него.

— Почему же нет? И культура тоже! — вмешался Балтов, приходя на помощь провинциалу. — Где же и быть культуре, как не в столице? Уж не в Бейлер-чифлике¹²⁴ ли?

Жорж с жадностью опрокинул рюмку коньяку, впился решительным и воинственным взглядом в Балтова и сказал негромко:

— Культура?.. Скажи лучше — еврейское засилье, немецкое засилье, дурацкие моды и прожигание жизни, а никак не культура! Ни тени ее нет... Надо быть слепым, чтобы не понимать, что такое наша культура... Его высокоблагородие приехал из провинции; немудрено, что все его чарует и восхищает... Но кто смотрит в корень, кто знает, на чем построены все эти столичные декорации, тот видит только фальшь, позолоту и расточительство... Господин... простите, запямятовал, как вас величают.

— Аврамов.

— Господин Аврамов, поймите, что вся эта роскошь не даруется нам

123 Добрич — ныне Толбухин, город в южной Добрудже.

124 Бейлер-чифлик — название одного из турецких сел в северо-восточной Болгарии.

свыше — за нее надо платить миллионы левов; а имеем мы эти миллионы?.. Нет. Кто же их нам дает? Немцы! Иначе говоря, мы все больше и больше влезает в долги... Да, каждая новая улица, каждый дом или богатый магазин — это новое звено в цепи экономического рабства, которой нас опутали немцы и евреи; каждое платье, шкаф, безделушка, иголка, которыми нас снабжают бесчисленные гешефтмахеры, — это кусок хлеба, отнятый чужеземной эксплуатацией у бедного болгарского ремесленника и торговца, это — последний смертоносный удар по нашей умирающей промышленности. А все эти пышные балы и празднества, которые теперь в моде и разоряют нашу аристократию — праздную аристократию, — опустошают болгарскую кошницу, как эпидемии опустошают города... И все, все, что мы видим, что делаем и что называем прогрессом, — все это только обезьянье подражание, и ведет оно к нашему экономическому и моральному подчинению иностранцам... Вот какие дела, господин Балтов... Покорно благодарю за такую культуру... По мне лучше бы наша столица походила на Бейлер-чифлик, но болгарские миллионы оставались бы в Болгарии... Культурными мы можем стать и позже. А сейчас мы нищие...

Закончив эту горячую речь, Жорж сдвинул шляпу со лба и гневно постучал тростью по столику, призывая кельнера.

Аврамов все еще смотрел ему в рот, так он был удивлен и потрясен всем, что услышал.

— Прости, Жорж, — спокойно проговорил Балтов, — но ты, как всегда, экзальтирован и все преувеличиваешь или извращаешь... Все это крайности.

— Я говорю правду, Балтов! Ведь я не адвокат!

— Ты говоришь парадоксы, слегка сдобренные правдой...

— Я говорю всю правду и только правду — попробуй меня опровергнуть...

— Zwei Glässer Bier¹²⁵... и еще рюмку коньяку с закуской, — повернулся Жорж к кельнеру, явившемуся на его зов.

— Хорошо, предположим, ты говоришь правду, но все это очень старые истины, допотопные истины, и не ты их открыл — не считай себя Колумбом, — живо возразил Балтов. — Не в красноречии дело — что пользы в словах? — а в том, чтобы искоренить зло... найти лекарство от него... И если ты сделаешь это великое открытие, я тебе руку поцелую... Но на мой взгляд все, что происходит у нас, неизбежно должно происходить: мы будем подражать западноевропейцам, мы будем заимствовать у них моды и занимать деньги, пока сами не станем на ноги... Никто не смог выдержать напор времени, даже Китай, — и мы не выдержим... Мы все знаем, что это так... Но где лекарство, где лекарство, вот что ты мне скажи!

— Дай мне власть, дай мне силу, и я найду лекарство.

— Хорошо, предположим, что в твоих руках законодательная и исполнительная власть страны! Предположим, что ты всесилен. Как же ты помешаешь немецкому мусору засорять нашу родину?.. Да не забывай и о договорах¹²⁶.

125 Два стакана пива (нем.)

126 Договора. — Речь идет о договорах, в силу которых иностранные торговцы и промышленники ставились в привилегированное положение.

— Договоров я не касаюсь... А я издам такой закон: всех государственных служащих, и гражданских и военных, от рассыльного до министра, словом, всех тех, кто раз в месяц получает жалованье от казны, а также их семейных, обязать носить одежду из тканей болгарского производства. И армию тоже. Не выполняющий этого предписания не может состоять на государственной службе. Ты меня понимаешь? Предположим теперь, Балтов, что мой закон выполняется неукоснительно. Что же происходит? А вот что: самое меньшее сто тысяч человек, тратя в среднем по двести левов в год на поддержку болгарской промышленности, будут ежегодно оставлять в Болгарии двадцать миллионов левов, и это только покупая один вид товара — ткани! А теперь эти миллионы попадают в чужие карманы... Через пять лет Болгария будет преуспевающей и богатой, многочисленные города и селения расцветут, воспрянут к жизни; прялка, ткацкий станок, машины, фабрики предоставят работу и хлеб тысячам и тысячам честных семейств... Настанет благодать божия... Ну, что ты на это скажешь?.. А твои договоры пускай себе остаются в силе... Скажу больше: чтобы не раздражать венских и будапештских дипломатов, я буду беспощинно пропускать австрийские и венгерские ткани в столицу... И пусть эти ткани покупают боянские шопы и уволенные чиновники, что целыми днями сидят, голодные, в кофейнях, читая газеты, да девять сотен софийских метельщиков, что кричат «ура» по всякому поводу.

Жорж умолк и с видом победителя воззрился на Балтова, словно ожидая каких-то возражений и готовясь повергнуть их в прах. Но Балтов не отозвался и, зажав в зубах папиросу, молчал с насмешливым видом. Он понимал всю непрактичность идей Жоржа, но не пожелал ему возражать. Возможно, он и раньше слышал и от Жоржа и от других лиц подобные филиппики против зла и подобные планы борьбы с ним, не осуществимые и не исполнимые в настоящее время. Аврамов же не мог сдержать своего восхищения этими замечательными идеями и спросил:

— Но в таком случае почему у нас не примут этих разумных и правильных мер? Ведь это спасло бы наше отечество. Неужели у нас не хватает патриотизма! Вот, например, Народное Собрание...

— Народное Собрание, бай Аврамов?.. — перебил его Жорж, нахмурившись. — Если бы Народное Собрание, вместо того чтобы выносить целую кучу ненужных решений, издало во время последней сессии такой закон, это спасло бы Болгарию... И тогда Болгария обязана была бы воздвигнуть памятник каждому депутату при жизни... Но дело в том, что Народное Собрание... Впрочем, довольно; как говорится: «Не буди собаку, залает»... Вы сказали: патриотизм, отечество... Ах, бай Аврамов, сразу видно, что вы из провинции. Там, в Добриче, быть может, есть еще спрос на такие товары, как патриотизм и отечество; а в Софии еврей-старьевщики, и те не дадут за них ни гроша. Эх вы, провинциал, провинциал... Здесь каждый, кто может, дерет шкуры, пользуется своим положением, набивает карманы... И все за счет народного добра... Понимаете?

Тут Жорж внезапно прикусил язык, так как сидевший за соседним столиком очень важный господин с бакенбардами и черной толстой палкой в руке встал и повернулся в его сторону.

Господин, очевидно, собирался уходить; он посмотрел на Жоржа и протянул ему руку.

— Жорж, ты читал ноту? — спросил он, лукаво усмехаясь.

— Да, русские опять бросают слова на ветер... Пожалуйте к нам, присаживайтесь... Не угодно ли кружку пильзенского пива? — предложил Жорж чрезвычайно любезным тоном, подвигая стул важному господину.

— Спасибо, Жорж, мне пора на ужин... Кстати, ты тоже получил билет на завтрашний вечер?

— Получил и приду... Выпейте хоть рюмку коньяку...

— Мерси, мерси, я спешу...

Господин с бакенбардами стал пробираться между столиками сквозь уже редющую толпу посетителей и вскоре ушел.

Лицо у Жоржа внезапно стало тревожным. Он сказал Балтову шепотом:

— Балтов, как это мы его не заметили? Ведь он сидел у нас за спиной!

— Это Даскаров-то? А я его видел и думал, что и ты его заметил, — равнодушно отозвался Балтов. И, посмотрев на часы, он поднялся.

— Куда ты? — спросил его Жорж.

— Иду ужинать.

— Подожди, пойдем вместе.

— Да, да, пойдемте, — сказал и Аврамов, но только пошевелился, а с места не встал — болтовню Жоржа он, должно быть, предпочитал ужину.

— Но ведь мне по Родопской, а вам — в другую сторону, так что мы все равно расстанемся за порогом, — сказал Балтов и стукнул по столику, призывая кельнера.

— Как, неужели ты собираешься расплачиваться? Брось, это мое дело! — и Жорж отстранил руку Балтова, который уже сунул ее в карман, чтобы вынуть кошелек.

— Нет, я твоих денег не возьму... Я придерживаюсь немецкого правила: сам пил, сам и плати, — возразил Балтов.

— Черт побери эти немецкие правила и твоих немцев! Ты знаешь, что я терпеть не могу этих гешефтмахеров! Я стою за славянское гостеприимство! — крикнул Жорж и грубо оттолкнул приятеля от кельнера, явившегося на зов. Балтов бросил на него не то недовольный, не то удивленный взгляд.

— Прощайте... Прощай, Аврамов. Вверяю тебя попечению этого «гостя-краснобая на казенном пиру».

И Балтов, усмехаясь, направился к выходу.

II

К тому времени пивная уже почти опустела. Чиновники разошлись ужинать. Шум поутих; густые темные клубы дыма медленно плыли над столиками и над головами полтора десятков краснощеких чехов и немцев, которые мужественно сидели на своем посту перед батареей полных и пустых кружек. Усевшись поближе к свету, несколько болгарских дипломатов углубились в газеты; они читали «Нойе Фрайе Прессе»¹²⁷, стараясь угадать, к каким последствиям приведет нота России относительно нигилистов. Оставалось также человек десять болгар, но они

127 «Нойе Фрайе Прессе» — влиятельная австрийская буржуазно-либеральная газета.

не пили и не читали; разговор их вертелся вокруг балов и прочей злобы дня.

Жорж снова зажег папиросу и выпустил изо рта длинную струю дыма, но лицо его стало каким-то озабоченным, и Аврамов это заметил.

— Кто тот господин, который поздоровался с вами? — спросил он.

Жорж нахмурился и вполголоса объяснил, что Даскаров его сослуживец, а чин у него большой; он назвал также учреждение, в котором оба они служили.

— Он опасный зверь, — продолжал Жорж, — если подслушал что-то, немедленно пойдет с доносом к начальству, а я бранился громко... Верьте не верьте, но руку ему я подал с отвращением... А что если завтра — донос, интрига... останется только удивляться да голову ломать... Да! Вы счастливы, бай Аврамов, в своей благословенной провинции... там ничего подобного нет.

— Ну, и у нас все это есть; но в провинции, пожалуй, легче знать, кто тебе враг, а кто друг, — отозвался Аврамов.

— Да, да, — горячо проговорил Жорж, — тут повсюду разврат и лицемерие... Не ищите сильных характеров среди здешних чиновников, этих «крепких винтов в правительственной машине», так их называют некоторые; чиновники держатся тех взглядов, какие им предписывают, и кланяются тому богу, на какого им укажут. Стараясь сохранить за собой теплое местечко, они готовы пожертвовать всем тем, что делает человека человеком. Вы знаете, что и я чиновник; однако от своих убеждений я не отрекаюсь... Я в оппозиции... Убей меня, но я не назову черное белым — такая уж у меня натура. Правда, я не кричу о своих убеждениях на площадях... Впрочем, многие думают и смотрят на вещи так же, как я, но мысль свою они зарывают глубоко, так сказать, бросают ее в колодец, и хоть задуши их, все равно их не раскусишь. Встречаются также сотни политических хамелеонов, которым стыдишься подавать руку. И ведь они — важные птицы, влиятельные чиновники, все домов себе понакупили, благополучие свое устроили... А честные, независимые натуры голодают на улицах или прозябают в каких-нибудь глухих углах, всеми забытые и пренебрегаемые. Вот, например, наш Аврамов... ах, какой он честный малый, как добросовестно служит — редкий человек, говорю вам. Вы можете гордиться таким братом...

— Но он мне не брат.

— Да, простите, я и позабыл... он ваш однофамилец. Все равно. Он отличный чиновник, а ведь так и умрет на скромном посту архивариуса. Разве нет? Матушка Аврамова, когда родила его, не потрудилась сломать ему хребет; вот он и не может кланяться, а ведь это большой недостаток, не правда ли? Все это просто страшно.

Жорж заказал еще две кружки. Его распалили собственные слова, и, осуждая пороки общества, он все больше разгорался, становился все болтливее, ибо легче всего быть красноречивым, когда критикуешь — это подстегивает и возбуждает. Однажды заговорив на животрепещущую тему, Жорж уже не хотел с ней расстаться. Поощряло его и то, что в лице Аврамова он нашел внимательного слушателя. И он снова начал:

— Да, вот какое у нас общество, любезный Аврамов, вот какова наша столичная чиновничья интеллигенция — я имею в виду мужчин... А о

женщинах и говорить нечего! Что они такое? Куклы... Только о модах и думают... Загляните когда угодно в модные магазины — увидите, что они битком набиты нашими дамами... Платышка себе сшить не умеют, а знают названия разных дорогих тканей и нарядов, разбираются в качестве всяких там штофов, плюшей, парчи, лионского атласа и атласа-мервелье, всяких сорти-де-балей и ажурных мантилий и прочих парижских тряпок... Писарихи мечтают одеваться, как жены их начальников, жены этих начальников — как жены министров, жены министров — как майорши, а майорши привозят из Берлина такие платья, какие носит германская императрица... Безобразие! Не можешь удержаться от возмущения... А балы? Ну, там женщины в своей стихии... Там наглядно убеждаешься, как смешны эти создания, которые могут дышать лишь под грузом разных побрякушек, кружевцев, бантиков, вообще всякой мишуры и дряни. У нас самая ограниченная, самая пустая дамочка, понятия не имеющая о тысяче вещей, которые обязана знать каждая женщина, танцует все танцы, какие были в моде при дворе Людовиков XIV, XV и XVI: и польку, и кадрили-монстр, и лансье с его смешным кривлянием, которое называется «реверанс». И все это господин Балтов называет прогрессом и культурой!.. Впрочем, нетрудно объяснить, почему женщины — такие пустышки; ведь женщина — это смесь суетности, капризов и глупости... Она не настоящий человек, как сказал один ученый. Но мужчины, мужчины со своими фраками и шапокляками, в которых они появляются на балах!.. Жалкие кавалеры — срам да и только! И все это сходит за прогресс, за культуру болгарской столицы!

И Жорж яростно стукнул по столику кулаком и сдвинул шляпу на самый затылок.

— Ну, что вы на это скажете? — внезапно спросил он Аврамова, устремив на него глаза.

Аврамов покраснел, застигнутый врасплох этим вопросом, и раскрыл было рот, чтобы что-то сказать, хотя бы наобум — ведь он вовсе не собирался говорить сам, а хотел только слушать. Однако Жорж вывел его из тяжелого положения, ибо новый поток мыслей хлынул в его разгоряченную голову, и он снова начал говорить, только перенес свои нападки на другие области болгарской жизни. Но фразы его теперь уже звучали устало, мысли обрывались, становились бессвязными, а пылавшую в его груди ненависть ко всему дурному и пошлому он выражал уже без всякого воодушевления... Беседа, вернее, монолог Жоржа, быстро увядала, теряла живость... И вот он положил конец своему красноречию откровенным зевком и встал, чтобы расплатиться. Тут ему снова пришлось поспорить, теперь уже — с Аврамовым; но Жорж и на этот раз одержал победу.

Когда собутыльники вышли из «Красного рака», на улице уж совсем стемнело. Холодно было по-прежнему, но ветер стих и сыпался мягкий снежок. Несколько минут спутники шли молча, находясь под впечатлением чувств и мыслей, которые пробудила в их душе беседа в пивной. Аврамов все еще был взволнован; перед ним открылись новые горизонты; сейчас он другими глазами смотрел на все то, что еще сегодня приводило его в восторг. Вот что значит бросить свое уютное провинциальное гнездышко и развлекаться в столице, думал он... Тут встречаешься с такими людьми, как

Жорж, с людьми просвещенными, которые умеют судить и критически относиться ко всему тому, что отличается лишь внешним лоском. Золотые слова сказал Жорж. И он еще больше возвысился в глазах Аврамова... Вскоре оба они исчезли из виду на погруженной во мрак Александровской площади перед дворцом,

III

Наутро, ровно в девять часов Жорж пришел в канцелярию и сел за свой письменный стол. Кто встречал Жоржа в «Красном раке» или на улице, а потом увидел бы, как он сидит за работой перед ореховым письменным столом, покрытым зеленым сукном, тот не поверил бы своим глазам и не признал бы, что это один и тот же человек. Лицо у Жоржа было все такое же упитанное, румяное, довольное; но каким оно стало сосредоточенным и серьезным, когда склонилось над кипой канцелярских бумаг! Оно было покрыто маской холодной задумчивости, а глаза смотрели строго и бесстрастно, как у человека с сильно развитым чувством долга, для кого служба — это священнодействие. Можно было подумать, что эти глаза никогда не улыбались, что им чужда веселость, а их обладатель вырос за письменным столом и жизнь его слилась с лежащими на нем бумагами.

Словом, Жорж сейчас ничуть не походил на самого себя.

Но вдруг лицо его омрачилось. К его деловой служебной серьезности примешалась какая-то тайная личная забота. Жорж только что вспомнил о том, как неосторожно вел себя вчера и сообразил, к каким роковым последствиям это может привести.

Ему неудержимо захотелось увидеть Даскарова, чтобы узнать, как обстоят дела и успокоиться.

«Ах, уж этот Даскаров, неужто он что-нибудь слышал!» — думал он.

И Жорж вполголоса спросил рассыльного, не пришел ли Даскаров.

— Пришел и направился к господину министру, — ответил тот.

Жорж вздрогнул.

— К господину министру?

— Да.

— Сразу после того, как пришел?

— И сейчас еще там сидит!

— И сейчас еще...

Жоржа обуяли дурные предчувствия. «Зачем Даскаров так поспешил к министру?» — спрашивал он себя. Должно быть, чтобы донести на него, Жоржа... Правда, Даскаров и раньше не раз являлся к министру сразу же после прихода на службу и даже сидел у него целыми часами, но Жоржу казалось, что сегодня это случилось впервые и что это грозит ему гибелью. Обуреваемый мрачными мыслями, Жорж положил перо и в изнеможении откинулся на спинку стула. Он устремил на стену рассеянный взгляд, но в этой рассеянности таились тяжкая забота и тревога; губы его машинально и неслышно шептали: «уволен», «уволен», «уволен»! Румянец внезапно покинул его щеки, лицо его осунулось. «Уволен», «уволен», «уволен», — шептал ему кто-то на ухо.

Открылась дверь, и вошел другой рассыльный.

— Господин министр просит вас пожаловать к нему, — почтительно проговорил он и, вытянувшись по-солдатски, стал ждать ответа.

— Меня? — выдавил из себя Жорж прерывающимся голосом.

И он впился глазами в рассыльного, словно стараясь узнать по его лицу какую-то страшную тайну,

— Да, — ответил рассыльный.

Жорж мгновенно вскочил со стула, поправил галстук, оглядел свой костюм и вышел.

В кабинет министра он вошел бледный как полотно.

Министр что-то писал, сидя за своим огромным письменным столом в углу просторного кабинета, устланного дорогими разноцветными коврами. Дрова весело трещали в большой венской печке,

У письменного стола стоял Даскаров.

Жорж низко поклонился.

Но вопреки всем ожиданиям, начальник взглянул на Жоржа благосклонно и попросил его дать некоторые сведения по какому-то делу. Жорж дал эти сведения и, чувствуя большое облегчение, собрался было уходить.

— Нет, подождите, — снова обернулся к нему министр.

Жорж насторожился.

— Какого вы мнения об Авраамове? — спросил министр.

— О нашем архивариусе?

— Да, о нем, — министр снова наклонился над бумагами.

— Он добросовестно работает, господин министр, это хороший чиновник, — ответил Жорж. И сразу же заметил, что Даскаров смотрит на него чем-то недовольный.

Министр тоже слегка нахмурился.

— Да, работает он добросовестно, но еще усердней занимается политикой, — с досадой и раздражением проговорил Даскаров, бросив на сослуживца строгий, почти злой взгляд.

Услышав эти слова и посмотрев в лицо Даскарову, Жорж убедился в том, что сам он вне опасности, но что она грозит бедному Авраамову. Уверенность эта сразу придала ему бодрости, и он пришел в себя. Он подумал даже, что надо бы заступиться за приятеля и опровергнуть слова Даскарова, но эта мысль молниеносно исчезла; чувство самосохранения взяло в нем верх над всеми прочими душевными побуждениями, и он не решился возражать.

«Если я даже и скажу что-нибудь, разве это ему поможет?.. Только восстановит Даскарова против меня», — подумал Жорж.

— Он действительно занимается политикой? — спросил министр.

— Ничего не могу сказать наверное, господин министр... Я вижу его только в канцелярии... туг он работает на совесть... Но что он делает после службы, об этом я ничего не знаю и ни за что ручаться не могу...

Этот уклончивый ответ косвенно подтверждал клевету Даскарова. Так был подписан смертный приговор бедняге архивариусу,

Министр многозначительно покачал головой и посмотрел на Даскарова, лицо которого приняло самодовольное выражение.

Благосклонно кивнув Жоржу, министр снова принялся за работу. Жорж поклонился и пошел к себе в канцелярию. Глаза его сияли; лицо сразу же стало таким же самодовольным, гладким, округлым и симпатичным, как и раньше. После сильного испуга и потрясения в душе его наступил полный

покой. И Жорж с суровым видом снова склонился над своими бумагами.

В полдень Жорж вышел из министерства. Он шел домой, то и дело здороваясь со знакомыми и улыбаясь. Маска канцелярской серьезности спала о его лица, и оно опять стало приятным и счастливым.

Выйдя на бульвар Дондукова, он заметил на стене объявление о чьей-то смерти. Жорж подошел и прочел имя умершего.

— Рачев, — пробормотал он, пораженный.

Потом прочел несколько строк, начертанных под именем покойного.

— Похороны в три часа... Надо будет попросить, чтобы меня отпустили на вторую половину дня, — сказал он себе. И снова зашагал домой.

Но вот кто-то окликнул его из бакалейной лавки. Жорж повернулся и увидел Балтова.

— Здравствуй, Балтов!

— Здравствуй, что нового?

— Ничего... Да, — с нашим Аврамовым стряслась беда: отчислили его.

И Жорж вполголоса рассказал Балтову, как было дело.

— И, можешь себе представить, — на его место назначен Ходжов, двоюродный брат Даскарова... Понимаешь, какая интрига?

— Несчастный Аврамов! — с состраданием проговорил Балтов.

— Мне тоже ужасно жаль его... Я сделал все, что мог... Но... А ты что тут покупаешь? Швейцарскую колбасу? — и Жорж повернулся к лавочнику: — Отрежь и мне, надо принести закуски к обеду.

IV

Бал был в разгаре. В просторном зале, ярко освещенном множеством ламп и хрустальной люстрой, гремела музыка оркестра, танцевала группа дам в легких бальных туалетах, кто — с большим декольте, кто — с маленьким. Дамы грациозно кружились со своими кавалерами, облаченными в черные фраки; под мышкой левой руки каждый держал сложенный шапокляк. Как только эта группа перестала танцевать и отошла к стене, другие пары закружились и заскользили по гладкому блестящему паркету; в зале слышался легкий приятный шорох, издаваемый ножками, обутыми в атласные туфельки.

Танцевали кадрили-монстр.

Аврамов, стиснутый в толпе зрителей, не мог оторвать глаз от этого восхитительного зрелища, — ведь он впервые присутствовал на таком балу. Все здесь — и звуки музыки, и яркий свет, и дорогие разноцветные туалеты, и обнаженные плечи и шеи, и ароматы, и утонченные манеры, и грациозные движения дам и кавалеров — словом, весь этот столичный блеск взбудоражил его провинциальную душу. Все было для него так ново, все казалось ему таким блестящим, таким не болгарским, таким удивительным... Но вот он вспомнил слова Жоржа, сказанные вчера вечером, и горький пессимизм отравил ему все впечатление от бала. Он нахмурился и повернулся к Балтову.

— Ну, как? Нравится тебе? — с усмешкой спросил его приятель.

— Я тебе очень благодарен за то, что ты привел меня сюда — полюбоваться на бал в столице... Великолепное зрелище!.. И тем не менее твой Жорж был прав. Эта «культура» не годится для Болгарии...

Балтов взглянул на него насмешливо.

— Ты послушал его проповеди и заразился его идеями?

Аврамов серьезно посмотрел на него и ответил убежденным тоном:

— Да, заразился, когда увидел, что он прав... И все, что он говорит — правда... Каждый патриот должен разделять взгляды Жоржа и бороться со столь разорительными модами... Мы должны объявить беспощадную войну этой заразе.

— Ты глубоко заблуждаешься, Аврамов. Жорж говорит парадоксы; не слушай его... К тому же мы и не можем вернуться к старому.

— Все равно, новое мне не нравится.

— А ты поговори с Жоржем сегодня... Жаль, что его нет.

Этот разговор происходил во время краткого антракта между кадрилию-монстр и лансье. Но вот оркестр заиграл снова, и танцующие пары образовали с десяток каре... При всем своем дурном настроении Аврамов пришел в восторг от этого нового танца, во время которого дамы изящно делали реверансы. Когда танец окончился, разговор между нашими приятелями возобновился.

— Обезьянничанье, болгарское обезьянничанье, вот и все. Правильно говорил Жорж, — сказал Аврамов.

— А ты с ним и сегодня виделся? — спросил Балтов.

— Нет, но вчера вечером, после того, как ты ушел, мы еще долго говорили и о софийских чиновниках и о балах... И я теперь своими глазами вижу все то, о чем он мне рассказывал... Ах да, вспомнил — я сегодня видел Жоржа после обеда; он тогда шел на чьи-то похороны.

— Да, скончался Рачев... Они с Жоржем были большие приятели, друзья детства.

Тут дирижер танцев подал знак оркестру. Снова зазвучала музыка.

По гладкому полу вихрем закружились черные фраки и полувоздушные шелковые платья.

— Это вальс, его танцуют самые искусные танцоры, — шепнул Балтов Аврамову менторским тоном.

— И много других танцев еще будет?

Балтов вынул из наружного кармана сюртука зеленую бумажку.

— После вальса будет котильон, и на этом программа закончится.

— А что такое котильон? — полюбопытствовал Аврамов.

Балтов описал ему этот танец.

— Ордена и подарки для котильона привезены из Вены, — закончил он свои объяснения.

— А ты почему не танцуешь до сих пор?

— Котильон буду танцевать... Видишь вон ту барышню в голубом платье? Я ее пригласил на котильон.

Но тут Аврамов сильно толкнул его локтем и, устремив глаза на дверь, воскликнул:

— Смотри, смотри!

— Что такое?

В зал входила богато разряженная дама под руку с кавалером, грудь которого была украшена трехцветной лентой.

За ними следовал высокий, элегантный господин во фраке, белом галстуке и перчатках. То был Жорж.

Не успел Аврамов оправиться от изумления при виде Жоржа в этом месте и в этом наряде, как Жорж заметил приятелей и бросился к ним.

— А, и вы здесь? Очень хорошо! Прекрасно, прекрасно. А я нынче, знаете, опоздал, хоть и по уважительной причине... Но все-таки мы с женой успели... А что, Балтов, котильон еще не танцевали?

— Будут танцевать сейчас, после вальса.

— Слава богу, — радостно и быстро проговорил Жорж, — а то я чуть было не оказался обманщиком: ведь я еще в прошлую субботу, на вечеринке, пригласил на сегодняшней котильон госпожу N. Ну вот, надо мне пойти с ней поздороваться, — пусть убедится, что я сдержал свое слово.

И, легко подлетев к одной декольтированной даме, Жорж низко поклонился ей.

V

Аврамов потянул Балтова за рукав, и они пошли в буфет. Там Аврамов отвел приятеля в уголок.

— Объясни мне ради бога, что это такое? Я ничего понять не могу, — воскликнул он, в недоумении разводя руками.

Балтов угадал, чем смущен его приятель.

— Ты удивляешься, что Жорж здесь? — спросил он, спокойно улыбаясь.

— Что он за странный человек? Вчера вечером возмущался этим обезьянничаньем, этой комедией, а сейчас сам принимает в ней участие. Значит, он забыл свои собственные слова; как говорится: «лука не ел, луком не пахнет». Только что он похоронил своего лучшего друга, а сейчас идет танцевать котильон... Согласись, что это безобразие, бесхарактерность. Я одному удивляюсь: как можешь ты дружить с подобной личностью?

— Ты не прав, Жорж хороший человек.

Лицо у Аврамова покраснело от негодования:

— Ты смеешься? Вот сейчас я вспомнил, как он вчера заискивал перед этим Даскаровым! А еще говорил, что он в оппозиции!

— Слушай, Аврамов, ты действительно провинциал с головы до ног, настоящий провинциал. Под первым впечатлением составишь себе окончательное мнение о ком-нибудь, а потом падаешь с облаков на землю, удивляешься и ахаешь... Жорж — хороший человек, говорю тебе, его нельзя назвать низким или бессовестным, и он ничем не хуже других хороших людей... Только он поумнее и посмекалистее многих... В душе Жорж действительно оппозиционер, но он не лезет на стену и не бросается со скалы. Какая польза от подобных безумств? Несколько угодливых фраз, сказанных Жоржем Даскарову или своему начальнику, ничего ему не стоят, но они — крепкий щит, которым Жорж защищает свое положение, свой дом, свою жену, свой покой... Геометрическая прямолинейность быстро выбрасывает человека на улицу... Лавированье между подводными камнями — вот в чем житейская философия. Ты говоришь, Жорж нападает на чиновников? И как еще! А ведь Жорж сам не маленький чиновник, и, надо тебе сказать, служит он с тех пор, как в Болгарии раздался первый выстрел русской пушки... и служит по-настоящему. У него уже два ордена, и он представлен к третьему. Он служил при всех правительствах, и все правительства считали его своим человеком... По его мнению, он принесет родине больше пользы, состоя на службе, чем если допустит, чтобы его

уволители, и останется не у дел. И все свое поведение он соотносит с этим практическим принципом... Что пользы лезть на рожон, донкихотствовать, дожидаясь, пока тебя раздавят, а потом корчить страдальческие гримасы, скулить, засыпать газеты телеграммами — словом, всячески мутить воду, чтобы поправить свои дела? Право же, это глупо... А ты слышал про Аврамова, архивариуса? Сегодня его отчислили!

— Как? А Жорж его так расхваливал!

— Да, отчислили, чтобы освободить место для кого-то из даскаровских родственников. Его погубили интриги Даскарова. Жорж восхищался Аврамовым, но не посмел, — в этом я убежден, — стать на защиту сослуживца, зная, что все равно не спасет его, раз уж министр решил его уволить. Аврамов, знаешь ли, немножко остер на язык, а по характеру — полная противоположность Жоржу. Зачем же рисковать собой? Сам знаешь: «Своя рубашка ближе к телу»... Но Жорж искренно и глубоко скорбит за Аврамова... Мы с ним сегодня виделись.

— Скорбит? — с насмешкой проговорил Аврамов. — Вот так же он скорбит и о своем друге, которого хоронил сегодня... от великой скорби не мог забыть про котильон... Оставь меня, Балтов!

И Аврамов с отвращением отвернулся, словно стараясь не видеть что-то неприятное.

Балтов подождал, пока он снова не повернулся к нему лицом, и продолжал:

— И нечего удивляться его поведению; оно в духе его житейской философии... Что пользы досадовать и огорчаться, сетуя на непоправимое зло? Аврамова, сослуживца его, уволили; Рачева, друга его, сегодня похоронили... Но Жорж выполнил свой нравственный долг: Аврамова он пожалел в душе, Рачева проводил в последний путь. А сейчас он выполняет свой долг по отношению к жизни: ест, пьет, работает, танцует, ибо из подобных противоположностей состоят все звенья в цепи человеческой жизни... Жизнь коротка, почему же нам не пользоваться ею?

Аврамов смотрел на приятеля со все возрастающим изумлением; он не мог понять, серьезно ли говорит Балтов, стараясь оправдать в его глазах поведение Жоржа, или же смеется над ним? Глаза у Балтова сейчас, как всегда, смотрели спокойно и насмешливо. Это раздражало Аврамова, и он сказал язвительным тоном:

— А чем ты объяснишь, что этот Жорж вчера обливал грязью и Австрию, и немцев, и моды, а сегодня тащит на бал свою жену, разодетую, как герцогиня, в немецкие тряпки, а сам тоже расфрантился, напялил фрак и шапокляк? Ругает иностранную эксплуатацию, а сам поддерживает ее!.. Где же тут логика?

— Все это очень просто, — ответил Балтов. — Он говорит правду и, как любой человек с сердцем, возмущается злом, но живет, как все люди. Ведь он не может переделать мир... Бери его таким, каков он есть. Кто против общества, тот от него бежит в горы. А Жорж не чудак и не дикарь. Он любит пожить, он эпикуреец и хочет пользоваться всеми развлечениями, какие ему предоставляет общество... Волей-неволей мы подчиняемся законам, мы выносим гнет тирании, мы опустошаем свои кошельки, тратясь на дрянные австрийские товары и всякий мусор, но зато сохраняем за собой право ругательски ругать и все это, и немцев, и моды,

и общество... Чего ты хочешь? Ведь Жорж обитает в столице, а будучи столичным жителем, он и живет по-столичному. Здесь его среда, его атмосфера. Что же ему делать? Коли на то пошло, твой покорный слуга — птица того же полета.

— Да, но ты, Балтов, не проповедуешь в «Красном раке», ты по крайней мере последователен.

Балтов пристально посмотрел на приятеля, положил ему руки на плечи и сказал:

— И он последователен, говорю тебе — он поступает так, как поступает весь свет, и не отделяет себя от толпы. Он придерживается здоровых принципов: оппозиционерствует, когда возможно; ломает шапку перед кем следует; прикидывается слепым дурачком, когда это разумно; ругает Австрию потому, что все болгары ее ненавидят; с жаром разглагольствует против мод, потому что это в моде; следует моде по той же причине... Словом, скажу тебе, что Жорж — это человек девятнадцатого века. Он болгарский оппортунист — со всеми хорош, всем приятен, всегда доволен. Коротко говоря, это очень умный и обаятельный человек!..

Аврамов, пораженный, пристально вглядывался в лицо Балтова. Но он не видел в этом лице ни насмешки, ни негодования — оно неизменно носило свою ехидно-спокойную маску. Возможно ли, думал Аврамов, что Балтов и правда находит естественным, правильным и даже достойным уважения образ действий Жоржа, этого непонятого, бесцветного и беспринципного человека?

— А как его фамилия, этого Жоржа? — спросил Аврамов. — Я хочу ее запомнить.

— Я же познакомил нас вчера вечером!

— Да, но он не назвал себя, а сразу заговорил о чем-то другом, болтун, и я так и не узнал его фамилии. А потом ты все время называл его просто Жоржем... Так как же его имя, этого ловкача чиновника?

— Имя ему легион! — с усмешкой проговорил Балтов.

И он перешел в бальный зал, где уже звучала музыка котильона, оставив в буфете своего приятеля, погруженного в глубокое раздумье.

Март, 1891 г.

Подоженные снопы

(Сцена, не описанная Тургеневым)

Было время жатвы.

На полях, на пожелтевшей стерне, куда только хватал глаз, рядами лежали снопы, ожидавшие отправки на гумна, где их ждали уже кремневые зубья диканей¹²⁸. Эти длинные ряды снопов напоминали тела воинов, усеявших поле после жестокой битвы. Но здесь была совсем другая битва: радостная, благодатная. И победа была добыта не огнем и мечом, а честным трудом старательных рук работающего крестьянина.

И картина была спокойная, веселая. Но доктора М., знаменитого софийского охотника, привлекала совсем не она. Шагая по стерне,

¹²⁸ Дикан — примитивное сельскохозяйственное орудие для молотбы.

переступая межи, он высматривал добычу. Зрение и слух его были напряжены до крайности: не взметнется ли откуда перепел, не выскочит ли заяц, которых можно сразить метким выстрелом?

Вдруг из-за соседней копны выскочил косой. Грохнул выстрел, но зверек, целый и невредимый, не задетый дробью, юркнул обратно и скрылся с глаз собаки и охотника. Пес, потеряв след жертвы, с сердитым и жалобным лаем заметался во все стороны.

Видя, что дичь ушла, доктор подозвал собаку и сел в тени одной из копен отдохнуть.

Достал папиросу, чиркнул спичкой, закурил.

С наслаждением затянувшись разок-другой, он вдруг почувствовал запах гари.

— Ах! — воскликнул он при виде снопа, подоженного неосторожно брошенной горящей спичкой.

Он вскочил и принялся затапывать огонь. Но языки пламени быстро ползли, разбегаясь по сухим колосьям, вспыхивавшим, как трут. Он начал было сбивать пламя прикладом, но от этого оно только разгоралось сильнее. В несколько секунд огонь охватил всю копну и перекинулся на соседние. Весь ряд запылал, зловеще потрескивая, окутанный густым дымом.

Доктор выбивался из сил, стараясь погасить раздуваемый легким ветром пожар. Огонь алчно и безжалостно пожирал богатство, созданное крестьянским трудом, распространяясь по стерне и охватывая все новые копны.

В конце концов у доктора руки опустились, и он поспешил прочь от этой неожиданной беды.

Со стороны села показались крестьяне. Они бежали к горящим копнам, крича ему, чтоб он остановился. Кое у кого в руках были палки. Лица у всех были злые, свирепые.

Доктор понял всю безнадежность своего положения и невозможность спастись бегством от разъяренных крестьян. Сейчас они жестоко расправятся с ним. Тут ему пришел в голову единственный способ избежать роковой участи. Он решил подождать крестьян.

— Это ты пожар устроил, господин? — крикнул ему старый шоп с небритым, черным от загара, грубым, а теперь еще озверелым лицом.

— Зачем копны запалил? — дико вращая глазищами, гаркнул другой — белобородый, низкорослый, хромой — и замахнулся на него чекой.

— Я франк консул! — крикнул в ответ доктор и, коверкая самые употребительные болгарские слова попеременно с французскими, энергично жестикулируя, стал оправдываться, объясняя крестьянам, что поджег снопы нечаянно.

Низкорослый шоп вырвал у него из рук ружье. Возмущенный этой дерзостью, доктор, продолжая разыгрывать роль гордого иностранца, бросился отнимать.

— Он, видно, не болгарин!

— А нам какое дело! — крикнул старый шоп с зверским лицом и, ругаясь, схватил доктора за руку.

Стали подбегать новые шопы.

— Вот этот и есть, который снопы мои запалил? — яростно завопил,

обливаясь потом, худой крестьянин без шапки.

— Этот, этот самый!

— Держите крепче, так его мать!

— Поучить его надо. Будет знать, как чужое добро палить!

На доктора пахло винным перегаром. «Они пьяны!» — с ужасом подумал он и, стуча себя кулаком в грудь, опять громко крикнул:

— Франк консул!

Но крестьяне не понимали или не хотели понять, какой перед ними важный господин. Осыпая доктора бранью и сердитыми вопросами, меча в него злобные взгляды, они с угрожающим видом все теснее обступали его.

При виде их искаженных гневом лиц доктору показалось, будто он попал в руки людоедов на каком-нибудь тихоокеанском острове... Он с изумлением обнаружил странное сходство одного из крестьян с Фридрихом Великим, портрет которого, вместе с портретами других знаменитостей, был у него дома в альбоме, — те же угловатые черты, заостренный нос, пронзительный ястребиный взгляд. А вырвавший ружье был удивительно похож на Виктора Гюго, только на Виктора Гюго в диком состоянии, злобного и неукротимого. Третий — особенно разъяренный, чернолицый, с толстыми губами и с головой, почему-то повязанной платком, напоминал Менелика... Только гремевшая вокруг него буря мешала доктору полюбоваться шопскими копиями великих людей, и он, энергично жестикулируя, снова принялся объяснять, что вызвал пожар по оплошности. Для наглядности он показал им спичку и кинул ее на землю.

— Аа! Вон как!.. Сам признается: спичкой сноп поджег! — воскликнул двойник Фридриха Великого.

— Чтоб тебя! — воскликнул владелец сожженных снопов. — Спросите, зачем он хлеб спалил! Может, погреться вздумал?

Но Виктор Гюго неистовствовал:

— Руку ему отрубить! Вот так, так, кусками!

Владелец со слезами на глазах глядел на догорающие копны.

Подошла новая группа крестьян.

— Кто такой?

— Инженер, говорят; я ему в Софии молоко продавал.

— Чего ему здесь надо? Сидел бы с бабой своей... миловался бы с нею...

— Давайте бороду ему подпалим, — предложил Фридрих Великий.

— В село отвести его надо!

— Связать бы прежде!

Доктор сделал вид, будто отсчитывает деньги, давая понять, что готов возместить убытки. Он хотел сказать, что согласен уплатить вдвое, втрое дороже против того, что потребует владелец, но, решив притворяться не знающим болгарского языка, был вынужден ограничиваться невразумительной для них жестикуляцией.

— Бен франк консул! — наконец, решительно крикнул он в третий раз.

— Он вроде консул, — сказал один, понявший это слово.

— Да хоть ты сборщик налогов, хоть сам князь будь, все едино: наши пот и кровь палить не смей!

— Ох, мои снопы, пропали, в пепел превратились, — причитал хозяин поля.

Виктор Гюго стал было вязать доктора, но тот, размахнувшись, изо всех сил ударил его по локтю. Виктор Гюго, остервенившись, толкнул его и схватил за грудки.

На консула посыпался град ударов и тумачков.

— Держи его!

Доктору мигом загнули руки за спину. Один крестьянин связал их своим поясом.

— В село ведите! — скомандовал Фридрих Великий.

— Пойдите, вон стражник идет!

При виде запыхавшегося сельского стражника крестьяне выпустили пленника. Заметив в поле дым и толпу, стражник спешил выяснить, в чем дело,

— Выручай, голубчик! — чуть не плача крикнул ему доктор. — Сам не знаю, где я: в окрестностях болгарской столицы или в дикой Дагемее?

По приказанию стражника крестьяне развязали доктору руки, и тот, обессиленный, повалился на землю.

— Чего вы к господину доктору привязались? — строго спросил стражник.

— Он мой хлеб спалил! — воскликнул владелец поля.

— Я нечаянно, братец! — И доктор, уже на чистом болгарском языке, объяснил стражнику, как произошло несчастье. — Втолкуй ему, — продолжал он, указывая на пострадавшего, — что я согласен заплатить за сгоревшие копны. Пусть назначит цену. Я уплачу втрое. Сколько ему левов?

— На кой мне твои левы! — крикнул безутешный Стоян. — Ты мне мой хлеб подай. Я добро свое видеть желаю, ради которого спину гнул, потом и кровью обливался. Нешто господь бог для того мне урожаю послал, от суши и града нас уберег, для того я сеял и жал, чтоб теперь, когда только б радоваться благодати господней, твоя милость весь мой урожай огнем спалила?

И Стоян, сквозь слезы, поглядел на догорающие снопы.

В конце концов стражник заставил его взять предложенное доктором щедрое вознаграждение. Сунув деньги за пазуху, крестьянин долго еще ворчал, охал и ахал.

— Это идиот какой-то. Получил вдвое против того, что имел, и скулит! — заметил доктор, удаляясь со стражником.

— Уж вы простите их, господин! — с улыбкой ответил стражник. — Простой народ, неученый. Хотят полюбоваться на труды свои, снопы на гумно отвезти, обмолотить их, да заодно ребятишек на молотилке покатавать; потом отвезти хлеб в город на базар и продать его там, как полагается; потом выпить в корчме, похвалиться друг перед другом, у кого как земля уродила, да сколько кто за хлеб выручил... Вот в чем самый вкус денег для них. А тут что получилось? Приходит крестьянин на поле свое, видит — пепел один, — добродушно объяснил умный стражник, сам бывший земледельцем и хорошо знавший психологию болгарского крестьянина.

София, 1903 г.

У Ивана Гырбы

Вот что рассказывал мне престарелый, не по годам разговорчивый и смешливый учитель-пенсионер Г., скончавшийся в позапрошлом году в своем родном Сопоте.

Все его звали «Иван Гырба». Прозвище это досталось ему по праву: он был горбатый, можно сказать, от рождения. Хотя это не совсем точно: он был не горбат, а сгорблен, словно переломлен в пояснице. От ступней до пояса тело его, прикрытое штанами с порядочной мотней, держалось прямо, а в поясе вдруг сгибалось и принимало горизонтальное положение, нависая над землей. Фигура его имела сходство с буквой Г, которой начиналось его прозвище; при ходьбе он опирался руками на два костыля, с помощью которых поддерживал верхнюю, висячую половину тела, утратившего равновесие. У этого, судя по внешнему виду, несчастного человека, столь жестоко обиженного природой, как ни странно, были жена и дети, а к тому же, — что еще более удивительно! — жена его была молода и пригожа.

Всех огольцов у Ивана Гырбы было около тридцати пяти. Что вы так тарашите глаза? Я хочу сказать: всех учеников. Однако шесть десятков лет тому назад это слово еще не было в ходу у нас в Сопоте.

Стало быть, Иван Гырба там учительствовал.

Среди этих огольцов был и я.

Учебное заведение Ивана Гырбы тогда не называлось ни училищем (слово это также было неведомо), ни школой, как именовались подобные заведения в иных местах.

Вместо этого говорилось: «У Гырбы». «Иду к Гырбе». «Учился у Гырбы». «Прошел у Гырбы псалтырь».

А церковнославянские буквы назывались «гырбовскими»!

Пройти у Гырбы псалтырь было все едино, что кончить седьмой класс классической гимназии; пройти месяцеслов (святцы) — все равно что кончить университет. Месяцеслов был завершением, омегой, венцом науки; им исчерпывался кладезь человеческой премудрости.

Школа размещалась в доме Ивана Гырбы, в той самой комнате, где он занимался своим портняжным ремеслом. Помещение было темноватое, с двумя оконцами, выходившими во двор; свет проникал в них сквозь бумагу, заменявшую стекла, и сквозь дырки в бумаге, безмилостно изрешеченной нашими пальцами; потолок был низкий, посередине провисший, задымленный, засиженный мухами двух столетий, испещренный чертами и цифрами, поскольку он еще служил для хозяина и книгой для записей. Вдоль стен стояли недвижимые шкафы, набитые домоткаными одеялами, овечьими и козьими подстилками, — по ночам комната служила семейной спальней, — а на шкафах громоздились груды высушенных козьих шкур, сломанное мотовило, безмен, глиняные миски, свитки печатных икон, куски домотканой шерстяной материи и прочая утварь; все эти трофеи были покрыты слоем вековой пыли, а с краешку сидела, мурлыкая, большая кошка.

Как сейчас помню: мы все до одного располагались прямо на дощатом полу (дело было зимой) и в густой атмосфере нашего дыхания, запахов лука, чабера, квашеной капусты и других благовоний, составных и

безымянных, заучивали свои уроки под недремлющим оком нашего профессора, который, сидя по-турецки в углу возле окна и склонив голову в черной бараньей шапке, тачал из грубого домотканого сукна нехитрую домашнюю обувь, латал потуры¹²⁹, подшивал к антерии¹³⁰ подкладку, пристегнутую обойными иглами. Ученики же в это время читали вслух.

Начальные, средние, гимназические классы, высший курс — все здесь перемешано на почве полного демократического равенства: один читает часослов, а сидящий с ним рядом долбит псалтырь или приступает к часослову, третий уже углубился в святцы, в то время как двое новичков впереди него истово вопят: «Аз, буки», — водя пальцами по панакидам¹³¹.

Непрерывный шум, неопишное жужжание, в котором сливаются воедино все звуки, все ноты — от самой низкой до самой высокой, — нестройные залпы шмыганий носом, покашливаний, и многие другие шумы: гармония гудящего концерта.

Гырба сидит в углу, шьет; он весь поглощен своим важным занятием. Но эта поглощенность коварна. Стоит кому-нибудь перестать гудеть, как его привычное ухо тотчас улавливает это. Не поворачивая головы, он поводит глазом на ленивца, достает незаменимое педагогическое пособие — прут, длина которого рассчитана на то, чтобы можно было достать до самых отдаленных мест, и, замахнувшись, бьет провинившегося по чему попало: по спине, плечам, по голове, не проронив при этом ни слова.

Это веское замечание заставляет неприлежного вспомнить о чувстве долга и присоединить свой голос к общему хору...

Изредка взмаху прута сопутствует весьма энергичное выражение. В таких случаях обычно достается родительнице нерадивого ученика... За науку приходилось платить натурой: столько-то мер зерна, плюс столько-то ок оливкового масла и столько-то поленьев дров — по уговору.

Гырба был запальчив, лют.

Главным и, по его понятиям, спасительнейшим наказанием была фалага, которой стягивали ноги при наказании. Он пускал ее в ход при уличении в самом страшном грехе — курении табака, а все мы курили тайком, правда, курили не табак, а сухие измельченные листья ореха, столь же едкие, как и табак. Я всего дважды подвергался жестокому наказанию за это запретное удовольствие...

Бай Иван прибегал к палочному наказанию по десятку раз на дню; это доказывает, что родоначальники данного вида экзекуции появились отнюдь не в наше время, как думают некоторые...

Однако Иван Гырба, как добрый педагог, понимал, что чересчур долгое учение наносит вред, ведет к притуплению умственных способностей; он знал, что мальчишки нуждаются в физических упражнениях и развлечениях. Для этой цели он давал своим питомцам передышку, по очереди посылая их на двор — нарубить дров, принести воды из колодца, когда жена затевала стирку, вынести за ворота

129 Потуры — мужские штаны из домотканой ткани.

130 Антерия (турец.) — теплая мужская одежда на вате.

131 Панакида (греч.) — намазанная воском дощечка, на которой дети в эпоху национального Возрождения учились писать.

накопившийся сор. В знак особого благоволения он посылал кого-нибудь окапывать виноградник... Такие поручения были для нас, истосковавшихся по чистому воздуху, великой радостью, и счастливы, те, на кого падал выбор нашего профессора, вызывали у остальных зависть.

Когда я дошел до середины университетского курса, до акафиста Иисусу в святцах (мне и сейчас помнится его начало: «Разум недоразуменный разуметн еще Господи, покажи нам отца глаголеше»), отец взял меня из учебного заведения Гырбы и послал учить алфавит¹³² в эллинскую школу, открытую Райно Поповичем¹³³ в Карлово.

Вот что поведал мне старый учитель Г., вечная ему память, о системе преподавания в академии Гырбы в Сопоте шестьдесят лет тому назад.

Так было почти повсеместно в Болгарии до той поры, пока введение курса светских наук не отменило «гырбовскую» методу, заменив ее аллелодидактическим методом взаимного обучения.

Эта благотворная учебная реформа, в несколько лет преобразившая болгарскую школу и давшая мощный толчок развитию народного образования в новом, плодотворном направлении, была порождена вдохновенной мыслью Априлова, открывшего в 1848 году первое светское училище в Габрово.

1902 г.

Апостол в опасности

Там, где теперь красуется княжеский дворец, в 1871 году стоял старый конак¹³⁴ валии¹³⁵: несколько дрянных, скученных строений с покосившимися кривыми стенами и ветхими галереями, выходящими на тесный мощеный двор. С западной стороны во двор вели большие деревянные ворота, у которых всегда стояло два жандарма. Слева от ворот возвышалась мечеть, а справа зеленела большая плакучая ива со свисающими до земли ветвями — единственная отрада для глаз в тех местах.

Как-то раз, в погожий июньский день, из ворот вышла группа жандармов; остановившись на маленькой площади и о чем-то потолковав шепотом, они разошлись в разные стороны.

Один из них, знакомый нам Али-Чауш, темнокожий бородатый турок с грубым опухшим лицом, пошел вдоль торговых рядов (где теперь Торговая улица), расталкивая шумную толпу, которая запрудила заставленную жмущимися друг к другу лавками и лавчонками узкую улицу, и пристально всматриваясь в лица некоторых прохожих. Дойдя до постоянного двора

132 ...учить алфавит... — в данном случае имеется в виду греческая азбука.

133 Райно Попович (1773–1858) — выдающийся просветитель и литератор, в 1828 г. основал эллино-греческое училище в Карлово, в котором учились видные деятели эпохи национального Возрождения Г. С. Раковский, Г. Крыстевич и др.

134 Конак (турец.) — здание турецкого городского или сельского управления во времена турецкого ига.

135 Валия — правитель вилайета (области).

Трайковича, он внимательно оглядел двор и корчму, машинально пощупал, на месте ли револьвер в кобуре, и хотел было войти в помещение.

В это время вдали показался жандарм. Али-Чауш остановился в ожидании у порога.

— Ну, что узнал? — спросил он, понизив голос.

— Все осмотрел, но такого не нашел, — ответил жандарм, отирая платком вспотевший бритый затылок.

— А ты хорошо смотрел? Запомнил приметы? Лет двадцати пяти, русый, сероглазый, худой, среднего роста и в черной куртке. Иди на другой постоялый двор! Главное — на глаза смотри: серые, совсем серые, — строго напомнил Али-Чауш, озираясь по сторонам, чтобы не упустить никого из прохожих.

— Слушаюсь, Али-Чауш!

И жандарм ушел.

* * *

Речь между двумя жандармами шла о Василе Левском¹³⁶, которого выслеживала полиция.

В то время бесстрашный апостол находился в Софии, куда приехал из Пловдива под видом торговца шерстью; здесь он организовал революционный комитет, впоследствии получивший всеобщую известность в связи с захватом турецкой казны на Арабаконакском перевале¹³⁷. Софийская полиция, предупрежденная из Пловдива по телеграфу, была на ногах. Целые стаи жандармов были пущены по следу Левского. Самый толковый и расторопный из них, Али-Чауш уже несколько дней руководил розыском, наставляя подчиненных, подробно описывая каждому из них наружность и одежду революционера.

Таким образом, дьякону грозила большая опасность. Он был уверен в себе, бесстрашен и дерзок до безрассудства, презирал тупую турецкую полицию и, видимо, верил в свою звезду, потому что ему десятки раз удавалось ускользать из когтей врагов. Ни он, ни его софийские друзья не подозревали, что турецкая полиция гонится за ним по пятам, и не приняли необходимых мер предосторожности.

* * *

Колючий взгляд Али-Чауша остановился с подозрением на кофейне Илчо, прилепившейся к корчме Трайковича; турок решил прежде

136 Васил Левский. — Васил Иванов Кунчев; Апостол, Дьякон (1837–1873), революционный демократ, один из выдающихся руководителей и самых последовательных идеологов болгарского национально-революционного движения. Выдвинул идею необходимости перенесения центра подготовки национально-освободительной революции в Болгарию. В 1870–1872 гг. создал в Болгарии сеть местных революционных комитетов, которые он объединил в стройную революционную организацию с руководящим центром в г. Ловеч. Погиб на турецкой виселице, выданный предателем священником Н. Крыстевым.

137 ...захватом турецкой казны на Арабаконакском перевале... — Речь идет о нападении на турецкую правительственную почту, организованном Д. Обштим — помощником В. Левского, 22 сентября 1872 г. без согласия последнего. Организаторы и участники этого нападения, завладевшие значительными суммами, были вскоре обнаружены турецкой полицией, что в конце концов вызвало провал революционной организации и привело к аресту и гибели самого В. Левского.

наведаться туда.

В кофейне было четверо: один посетитель, рослый полный болгарин в европейском костюме, сидел на лавке, потягивая кальян; хозяин правил бритву на оселке; а перед зеркалом подмастерье брил какого-то светловолосого клиента в черной куртке грубого сукна; сидевшего спиной к двери.

Это был Васил Левский.

Али-Чауш поздоровался с болгаринном, курившим кальян, с которым был знаком, подошел к хозяину и с притворным равнодушием, но тихо спросил:

— Скажи, Илчо, в корчме у соседей не останавливался один... торговец?..

Тут он описал внешность и одежду дьякона.

— Не знаю, Али-Чауш. Я постоялого двора не касаюсь, — ответил хозяин, продолжая спокойно заниматься своим делом.

Он не знал Левского и совершенно не интересовался, почему Али-Чауш его разыскивает.

— Сероглазый, худой... — повторил Али-Чауш, машинально скользя взглядом по спине Левского.

Хотя оба говорили тихо, все находившиеся в кофейне слышали их разговор.

У подмастерья задрожали руки; он чуть не выронил бритву. Лицо его пожелтело от страха: бедный мальчик знал, что бреет Левского.

Но еще больше изменился в лице высокий болгарин, сидевший на скамье и куривший кальян: он побелел как полотно. Это был г-н Хр. Ковачев¹³⁸, друг Левского. Он подумал, что дьякон погиб.

Но лицо Левского, смотревшее из зеркала, оставалось невозмутимо спокойным. Ни один мускул не дрогнул, ни тени волнения не мелькнуло на этом каменном лице. Нечеловеческое самообладание не покидало Левского в самые опасные минуты, которыми была так богата его бурная, легендарная жизнь.

* * *

Али-Чауш сел на скамью и закурил.

— Что с тобой, Христо-эфенди? Ты, кажется, болен? — спросил он полного болгарина, глядя на его побледневшее, расстроенное лицо.

— Э-э... Али-Чауш... Да... То есть нет... жара страшная, — растерянно пролепетал Ковачев.

— Эй, парень! Держи бритву как следует, а то меня порежешь! — прикрикнул Левский на мальчика.

Турок невольно оглянулся на черную куртку апостола и продолжал начатый пустячный разговор с Ковачевым.

«Ждет, окаянный, пока дьякон побреется, чтобы в лицо ему заглянуть... Все пропало!» — подумал Ковачев. Но в эту критическую минуту спокойствие и хладнокровие Левского заставили Ковачева тоже

¹³⁸ Ковачев — Христо Ковачев (1845–1911), педагог и революционный деятель; в 1870–1872 гг. учительствовал в Софии, был секретарем основанного В. Левским революционного комитета; после провала сослан в Диарбекир.

взять себя в руки. Вдруг его осенило: да ведь у Али-Чауша есть слабость. Он любит выпить!

— Выпьешь ракии, Али-Чауш? — предложил он турку. Тот не отказался. Опрокинув двадцать пять драмов, причмокнул мокрыми губами и с посветлевшим взглядом кивнул в ответ на приветственное пожелание Ковачева.

— Ракия в жару прохладу дает, — заметил Ковачев. — Не угодно ли еще одну?

И, не ожидая ответа, снова заказал еще двадцать пять драмов. Турок выпил и их, после чего шумно прополоскал рот водой.

Чтоб окончательно отвлечь внимание жандарма, Ковачев с лукавой улыбкой стал ему рассказывать скабресную историю про одну софийскую турчанку, славившуюся легким поведением. Глаза сластолюбивого турка стали масляными, и он, не моргнув, проглотил еще двойную порцию ракии.

«Сейчас самая подходящая минута незаметно испариться», — подумал Ковачев, бросая Левскому быстрый и многозначительный взгляд. Тот уже встал и поправлял галстук перед зеркалом.

Но дальше Ковачев с ужасом увидел, что Левский, вместо того чтоб незаметно исчезнуть, повернулся лицом к турку, отряхнулся и стал расплачиваться с мальчиком. Али-Чауш невольно обернулся и поглядел на него. Ясные и спокойные глаза апостола встретились с глазами Али-Чауша.

У Ковачева волосы встали дыбом.

Но он сдержался.

— Будьте здоровы! — учтиво приветствовал он Левского, как требует обычай.

— Будьте здоровы, эфенди! — кинул и Али-Чауш с небрежным поклоном и опять повернулся к собеседнику, чтобы продолжать интересный разговор.

Левский ушел.

Через полчаса Али-Чауш, вспомнив о своих служебных обязанностях, простился с Ковачевым и отправился на постоялый двор — смотреть постояльцев.

В это время трое жандармов, с победоносным видом наставив штыки в спину арестованных, провели по улице пятерых задержанных на разных постоялых дворах испуганных болгар.

Все они были русы и в черных куртках!

Ковачев, стоя в дверях кофейни Илчо, печально смотрел на эти жертвы дикого турецкого произвола.

Вдруг показался оборванный шоп, ведя в поводу навьюченную углем лошадь.

— Угля не надо ль? Дешево отдам! — крикнул он Ковачеву.

Тот взглянул и остолбенел.

— Левский! — промолвил он, боязливо оглядываясь по сторонам.

— Много не просим! Не желаешь?.. Воля твоя, господин!

И шоп медленно повел лошадь дальше...

Чистый путь

Эпизод из жизни Василя Левского

Однажды у нас в комиссии по открытию памятника Левскому в Софии зашел разговор об этом великом проповеднике свободы. Все члены комиссии так или иначе лично знали Левского, и поэтому не было недостатка в рассказах о его смелости и бесстрашии в самых трудных обстоятельствах, сметливости и хладнокровии перед лицом опасностей, угрожавших его скитальческой жизни на каждом шагу. Все эти рассказы, один другого изумительней и невероятнее, бросали новый свет на моральную силу дьякона, прибавляли новые лучи к ореолу, окружающему в нашем воображении этот таинственный, почти легендарный образ. Из всех наших первых революционеров только Левский выигрывает от знакомства с каждой новой подробностью его жизни. Остальные представляют из себя сочетание света и тени; у каждого есть своя обратная сторона; их обаяние неизбежно меркнет под нескромными взглядами толпы. Приходится набрасывать покрывало на некоторые стороны их характера, некоторые моменты их мятежной жизни. Нелегка задача биографа, который решился бы описать их жизнь с фотографической точностью. Мы видели, насколько неудачной оказалась попытка Захария Стоянова¹³⁹ составить биографию Христо Ботева.

Только Левскому не страшно такое фотографирование. Каждая черточка его общественной и личной жизни, освещенная биографом, полней раскрывает нам его величие. Васил Левский — пример нравственной чистоты. Он не только доблестен: он добродетелен. Его жизнь — победоносное опровержение распространенной у нас теории о том, будто честность несовместима с революционностью. Васил Левский напоминает подвижников раннего христианства; не даром народ прозвал его «апостолом». Более меткого прозвища не давалось еще никому: апостол по призванию и по фанатической вере в своего бога — свободу Болгарии, он и по образу жизни похож на учеников Христа: трезвостью, нравственной чистотой и, несмотря на свой скептицизм, безупречной, подлинно христианской моралью. Левский не пил, не курил, не брал чужого и, подобно Карлу XII, не знал женщин. Вечный скиталец, бродяга, босьяк, часто голодный, он был воплощением идеальной честности. Но подробная характеристика его личности — дело будущих биографов, а я хочу только рассказать об одном из многочисленных примеров его вошедших в поговорку хладнокровия и находчивости в минуту опасности.

Вот что рассказал нам один из членов комиссии, г-н И. Грозев.

В 1870 году И. Грозев, живя в Пловдиве, ездил по делу в свой родной город Карлово. Еще до его отъезда из Пловдива до него дошли весьма тревожные слухи о Василе Левском. Говорили, что дьякон находится в Карлове, что правительство об этом пронюхало и отправило туда кавалерийский отряд в сорок пять сабель под командой страшного Хаджи Исмаил-аги, которому приказано перетряхнуть все Карлово и добыть Левского живым или мертвым. Одновременно все местные власти получили

139 ...насколько неудачной оказалась попытка Захария Стоянова составить биографию Ботева. — Захарий Стоянов (1850/51—1889) — участник национально-освободительного движения, общественный деятель, писатель; автор широко известного произведения — «Записки о болгарских восстаниях», биографий болгарских революционеров В. Левского, Филиппа Тотю, Хаджи Димитра, Христо Ботева и др. Впоследствии Вазов оценивал подход Захария Стоянова к составлению биографии Х. Ботева положительно.

Часть примечаний принадлежит К. Державину.

приказ быть начеку и смотреть в оба. Каждая дорога, каждый постоянный двор, каждый подозрительный прохожий и проезжий попали под бдительный надзор жандармов. Узнав об этих чрезвычайных мерах турецкого правительства, решившего во что бы то ни стало разделаться с неуловимым и опасным революционером, Грозев стал беспокоиться не на шутку. Достигнув Средна-Горы и миновав село Чукурли, он увидел на противоположном склоне в клубах пыли скачущих по шоссе навстречу ему всадников. Он сразу понял, что это возвращающийся обратно конный отряд Хаджи Исмаил-аги. Грозев содрогнулся при мысли, что, быть может, эти турки конвоируют Левского. Но когда он поравнялся с ними, у него отлегло от сердца: дьякона среди них не было. Хаджи Исмаил-ага, который был знаком с Грозевым, остановил его; они поговорили о пустяках, выкурили по папиросе; потом турок пожелал Грозеву счастливого пути и поскакал со своим отрядом дальше.

Тут Грозев увидел, что шагах в пятидесяти позади них едет верхом на лошади какой-то болгарин в крестьянских шароварах и фесе. Было очень жарко, и всадник держал над самой головой черный зонтик, скрывавший его лицо. Да Грозев им и не интересовался. Когда они поравнялись и Грозев как ни в чем не бывало продолжал свой путь, он вдруг услышал оклик проезжего:

— Бай Грозев, счастливого пути!

Грозев обернулся и поглядел на незнакомца. Каково же было его удивление и ужас, когда он узнал в нем Васи́ла Левского!

Они поздоровались, и Грозев тотчас стал бранить Левского за его безумную выдумку: пристроиться к преследователям и ехать с ними, каждую минуту рискуя головой! Не было конца горячим дружеским пеням и укорам, которыми Грозев осыпал любимого народом апостола.

— Не беспокойся: сейчас путь чист, как никогда, — с улыбкой возразил Левский.

— Это сейчас-то путь чист? Ты спятил, дьякон? — рассердился Грозев, показывая на удаляющихся преследователей.

— Я еду все время за ними, и мне нечего бояться... Кому придет в голову меня заподозрить! Все уверены, что Левский забился в нору как мышь... Слезай, слезай!

Левский сам соскочил с лошади и заставил спешиться Грозева, который никак не мог прийти в себя от страха. Они уселись под большим вязом у дороги.

Левский подробно рассказал ему, какую тревогу подняли турки в Карлове, в каких домах искали его, где и как ему пришлось скрываться, и о том, что жизнь его не раз висела на волоске.

— А я торопился в Пловдив. Этого требует дело. Только отряд выступил из Карлова, — как видишь, и я за ним. Если бы я ехал один, каждый жандарм пучил бы на меня глаза... А сейчас я спокоен.

— Ты и в Пловдив думаешь въехать вместе с хаджи Исмаил-агой? — спросил Грозев.

— Непременно. Даже больше того: там я вотрюсь в самый отряд. Но прощай, мне надо поторапливаться — мои попутчики уже далеко отъехали, — сказал Левский с улыбкой и, простившись с Грозевым, тронул свою крепкую лошадку.

Через несколько минут, поднявшись на высокий холм, Грозев оглянулся назад и увидел, что в селе Чукурли турецкие солдаты прогуливают расседланных лошадей. Среди них был болгарин в крестьянских шароварах и с зонтиком в руке, который тоже водил под уздцы свою лошадь.

София, май 1895 г.

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

**Редактор Мая Качаунова
Художник Иван Кьосев
Технический редактор Магардич Моралин
Корректор Нелли Василева**

**Формат 84X108X32. Печ. л. 38. Уч.-изд. л. 31,91, тираж 75150
Код 13/953617961/5506-65-83
Цена 3 р. 90 к.**

**Государственное издательство «Святъ», София
Государственная типография им. Д. Благоева, София
Издано в Болгарии**